АЛЕКСАНДР
ПРОЗОРОВ
ЧЕСТЬ ПРОКЛЯТЫХ
БАСАРГИН ПРАВЕЖ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Продолжение нового цикла Александра Прозорова, автора легендарного «Ведуна» и цикла «Ватага»!

Женю Леонтьева, скромного аудитора Счетной палаты и отдаленного потомка боярина Басарги, мучают странные сны. Он видит себя сражающимся с польскими гусарами в далеком шестнадцатом веке. Причем на стороне поляков бьются казаки, а на стороне русских – шведы и французы. Сон оказался в руку. Подруга Жени, красивая и умная девушка Катя, открывает ему глаза на историческую правду, вот уже сотни лет скрываемую орденом иезуитов. Многовековая схватка за обладание убрусом – полотенцем с отпечатком лика Христа – продолжается…

- Александр Прозоров
  - Война школ
  - Старший брат
  - Война школ
  - Басаргин правеж
  - Монастырская наставница
  - Митрополит всея Руси
  - Братчина
  - Заговорщики
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19

- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36

Александр Прозоров
Честь проклятых. Басаргин правеж

Война школ

Под низкими черными тучами, в жаркой июльской духоте полки медленно выстраивались в виду высоких каменных стен Твери. Кованая конница вялым неспешным шагом шла на левый край широкого наволока, стрельцы выкатывали гуляй-город на правую сторону, к самой речушке, прикрываемые пятью сотнями детей боярских под рукой опытного воеводы Щербы Котошикина. В центре же стояла уже правильным, ровным прямоугольником мрачная свейская пехота графа Якоба Делагарди, закованная в латы и ощетинившаяся длинными копьями с узкими гранеными наконечниками.

– Епанчу бы накинул, боярин! Не ровен час, моросить начнет… – посоветовал Карасик, попытавшись всучить хозяину выцветший суконный плащ, навощенный для пущей непромокаемости, но воевода лишь недовольно повел плечами:

– Отстань, без того весь в поту! К полудню, мыслю, и вовсе упаримся… – Воин отер ладонью лицо, влажную рыжую бородку, подтянул ремешок шелома вверх, на подбородок, оставив под верхней губой. Уж очень скулы натирал, ровно наждак.

Из-под войлочного подшлемника на брови одна за другой стекали соленые капли, частью застревая в них, частью добираясь до век, отчего глаза тут же начинало щипать. Привкус пота постоянно держался на губах, рубаха неприятно липла к спине, седло промокло насквозь. И немудрено, коли посреди лета приходится толстую войлочную куртку носить, да шаровары стеганые, да шапку из конского волоса. А как без них в походе обойтись? Без поддоспешника и подшлемника от самой прочной брони никакого толку не будет. Железо – оно ведь только от порезов бережет. Сам удар меча или топора войлок и стеганки гасят, именно они кости поломать не дают.

Словно снисходя к людским страданиям, небеса внезапно разверзлись густым холодным ливнем, омывая прохладой лица и руки, но вместе с тем стремительно размягчая землю, напитывая одежду, делая стеганые доспехи втрое тяжелее, затекая в сапоги и за шиворот.

– Вот, проклятье, что же за напасть такая! – Боярин Щерба выхватил епанчу из рук холопа, накинул на плечи, натянул на голову капюшон, быстро стянул перед горлом завязки. – Не будет сегодня дня. Одни мучения. Как началось, тем и…

По ту сторону поля внезапно запели трубы, послышались испуганные вопли и влажное чавканье тысяч копыт по жирной глине. Польской конницы было так много, что ее вой казался

оглушительным даже отсюда, с удаления версты. Казаки, шляхта, крылатые гусары вперемешку понеслись на русскую армию дикой визжащей толпой.

– Проклятье! – снова выругался воевода правой руки и, привстав в стременах, что есть силы закричал: – Торопись, православные!!! Быстрее, быстрей гуляй-город ставьте! Не ровен час, ляхи на подходе смять успеют!

Стрельцы, понимая опасность, и без того поспешали как могли: толкали вперед возки со щитами, скидывали, подпирали слегами, выставляли в промежутки между бревенчатыми укреплениями тюфяки и пищали, разбирали стволы и бердыши, распрягали и уводили лошадей…

Однако лавина из нескольких хоругвей[1] атаковала не их – всей своей многотысячной массой ляхи врезались в кованую конницу полка левой руки, не успевшую еще выстроиться для сечи, и буквально отшвырнули ее со своего пути, опрокинув первые ряды, растолкав средние и решительно врубившись в задние. В считаные мгновения лишились жизни многие сотни воинов – казаков и гусар, напоровшихся на копья конницы, кирасиров и бояр, наколотых на пики, выбитых из седел, опрокинутых на землю и затоптанных лошадьми в кровавое безобразное месиво.

– Проклятье! – уже в третий раз за четверть часа выругался Щерба Котошикин и рванул завязки плаща, сбрасывая его на круп скакуна. – Карасик, рогатину! Сумки долой!

Холоп, только-только закрывший клапан чересседельной сумки, замялся, явно жалея расставаться с добром, спохватился, вытянул из петли копье, передал боярину. Тот перехватил ратовище за середину, привстал в стременах, громко окликая воинов конной полусотни:

– К оружию, бояре! Щиты в руки, рогатины к бою готовьте! Судьбу сечи Господь в наши руки отдает! Так не посрамим чести предков наших, звания русского, доверия царского! За мной, православные! Втопчем погань крылатую в землю отчую! Вперед! Ур-ра-а-а!!!

Он дал шпоры скакуну и послал его вперед, в стремительный разгон за спинами свейской пехоты, не оглядываясь, но всей спиною чувствуя, как сзади, совсем рядом, не жалея лошадей, разгоняются для копейного удара десятки боярских детей со своими верными холопами.

Ляхи, наконец, добили последних храбрецов, пытавшихся устоять перед пришедшими с запада нехристями, не пропустить их в тыл главным силам – большая часть полка левой руки уже бежала, погоняя лошадей и не оглядываясь, страшась столь

близко дохнувшей в лицо смерти. Многие сотни из этих воинов даже не вступили в битву, не дотянулись до врага своими копьями и клинками, – однако, потеряв строй, ощутив силу слитного удара вражьей конницы, вытолкнутые со своих мест, они решили, что поражение уже свершилось, шансов уцелеть больше нет, и поддались панике.

Хоругви, казацкие и гусарские, вырвались было на открытое пространство… Вот тут-то в них и врезался стальной кулак щербинской полусотни.

Боярин Котошикин, летя первым, выбрал для себя целью явно знатного шляхтича в золоченых доспехах, с высокими «ангельскими» крылышками, присобаченными к задней луке седла.

– Лови, гусак!!! – нацелил он рогатину ляху в самое сердце.

Тот, дернув поводья, довернул скакуна навстречу, саблей успел отвести наконечник в сторону, но воевода, налетая, вскинул щит, окантовка которого врезалась поганому в лицо, вминая защитную, в виде сердечка, пластину шлема глубоко в кости черепа. Гусар вылетел из седла, а рогатине тут же нашлась другая цель: седобородый крупнотелый казак в нарядном зипуне с нашитыми железными полосками. Копье пробило его насквозь, да еще и в шею скакуна позади угодило. Щерба отпустил ратовище, выхватил саблю, рубанул по голове спрыгнувшего с убитого коня казачка, отбил выпад другого, резанул по животу, принял на щит укол, рубанул в ответ…

– Москва! Москва-а!!! – Боярские дети кололи ляхов и казаков, выбивали из седел, опрокидывали, как еще недавно сами гусары стаптывали полк левой руки. Ведь из своей победной, но жестокой схватки хоругви вышли уже без копий, уже потеряв скорость, заметно устав, оставшись частью без щитов, а то и без мечей, взявшись за кистени и топорики. Казаки доспехов не носили вовсе, гусары своими кирасами и пластинами были прикрыты лишь частично. Свежая полусотня, закованная в кольчуги и бахтерцы, приняв врага сперва на рогатины, а затем на сабли, прошла рыхлую массу из перемешанных в толпу врагов, как раскаленный нож подтаявшее масло, оставив позади широкую кровавую полосу и не потеряв почти ни одного бойца. «Почти» – потому, что полтора десятка бояр лишились скакунов и теперь медленно отступали к шведскому полку, отмахиваясь от наскоков отдельных шляхтичей.

Удар воеводы Котошикина большого урона ляхской коннице не нанес – что такое две сотни убитых для многотысячной рати? Однако наступательный порыв пригасил и настроение победное испортил. Преследовать разбитый полк хоругви не стали, а

повернули на воинов отважной полусотни, надеясь задавить если не мастерством и превосходством оружия, то хотя бы подавляющим числом.

Воевода Щерба безнадежной схватки не принял – срубив двоих вырвавшихся вперед чубатых усачей в расстегнутых на груди рубахах, он отступил в заросли ивняка, где всадники буквально завязли, как птицы в силках, не в силах ни быстро развернуться, ни ускакать. Однако ляхи и казаки в сию ловушку за смертью не полезли, предпочтя повернуть в сторону русского лагеря с его богатым обозом: шатрами, припасами, запасным снаряжением…

Отсюда, из кустов, боярин Котошикин в бессилии наблюдал, как пан Зборовский, продавшийся Тушинскому вору за диплом полковника, собрал хоругви, отступившие после нападения русской полусотни, и, усилив их свежими полками, послал в яростную атаку на полк правой руки, оставшийся без своего скромного прикрытия. Конная лава помчалась через поле на крепость гуляй-города, навстречу своей неминучей гибели и… И вместо плотного пушечно-пищального залпа, что должен был разметать ляхов свинцовым вихрем, прогрохотало всего несколько десятков выстрелов.

– Чертов дождь! – выдохнул Карасик. – Порох отсырел!

Потеряв всего лишь считаных казаков, конная толпа врезалась в щиты, некоторые попытавшись опрокинуть, некоторые перемахнуть – но по большей части прорываясь в оставленные для пушек промежутки и затевая со стрельцами жестокую рубку. Не ожидавшие такого сильного напора воины, больше привыкшие полагаться на свои пищали, стали медленно пятиться, сбившись в несколько плотных отрядов и выставив бердыши.

Страшное русское оружие позволяло и колоть, и рубить, и прикрываться, словно щитом, – а потому за каждый свой наскок на эти отряды казаки и гусары платили десятками погибших. Увы, отступающие к дороге на Торжок стрельцы тоже оставляли за собой на поле немало безжизненных тел.

Впрочем, если бы защитники гуляй-города бежали в панике – ляхи порубили бы всех до единого. А так – отступали с малой кровью. Тем более что преследователей оставалось все меньше. Опрокинув полки правой и левой руки, пан Зборовский замкнул в окружение большой полк русской армии и теперь направлял всех своих воинов, что еще сохранили остатки дисциплины, на уничтожение главной силы русской армии – десятитысячного полка свейских копейщиков.

– За мной, за мной… – поторопил боярских детей воевода

Котошикин и стал выбираться из зарослей. Про полусотню в горячке битвы все успели забыть, и потому воины смогли без помех выйти обратно на открытое место, подняться в седла и галопом помчаться вслед отступившей коннице.

Настичь улепетывающих вдоль Тверцы витязей боярину удалось часа за два. Не видя преследователей, кованая конница сперва перешла на рысь, потом на шаг. Разумеется, нашлись трусы, что неслись без оглядки, загоняя лошадей насмерть, но большинство воинов, постепенно успокаивались, натягивали поводья, вспоминали о чести и совести… Их-то, самых последних, уже устыдившихся своей внезапной трусости, и нагнал первыми воевода Щерба:

– Что же вы делаете, христиане?! – осадив взмыленного скакуна, закричал кирасирам боярин. – Там братья ваши, други, соратники кровь свою проливают, а вы, ровно зайцы, по кустам прячетесь?! Тени своей боитесь, от шорохов бегаете! Что отцы ваши седовласые скажут, о позоре таком сыновей своих узнав?! Как дети имя свое называть смогут, таким позором покрытое?! Как домой вернетесь, чем перед женами и матерями оправдываться станете?! И был бы враг пред вами какой – а то ведь ляхи вороватые, сброд подзаборный, токмо на крики и способный! Ну же, воины, вспомните о звании своем, о предках своих славных, о детях, что гордиться вами должны, а не стыдиться отцов подобных. За мной, воины! Покажем ляхам, кто на поле бранном настоящий хозяин! Ко мне! Сюда собирайтесь! Сюда! Вернем полку своему славу достойную!!!

Беглецы послушались, стали подтягиваться на его призыв, и вскоре возле Щербы Котошикина собралось уже несколько сотен закованных в броню ратников. Увы, при всем своем желании вернуться назад как можно скорее, воевода не мог просто развернуться и поскакать обратно. Его выдохшийся после долгой скачки скакун просто упал бы от усталости. Да и у остальной полусотни лошади выглядели не лучше. Пришлось вести собранный отряд шагом, давая коням отдых. Но сейчас эта неторопливость была только на руку сбежавшему с поля боя полку левой руки. Неторопливая, уверенная поступь успокаивала тех, кто отозвался на призыв воеводы вернуться под русские знамена, давала время другим усовестившимся ратникам нагнать свой полк и примкнуть к его рядам. Всех кирасиров Щерба Котошикин собрать, конечно, не мог, но где-то тысячи две вернуться на поле брани убедил – больше половины разбежавшегося полка.

Погоня за беглецами заняла два часа, возвращение назад – почти четыре. Поэтому воевода всерьез опасался найти возле

Тулы только залитое кровью, заваленное телами убитых поле и веселящихся победителей. Однако, когда за излучиной открылся просторный наволок, на котором началось сражение, – то боярин Щерба с облегчением и некоторым удивлением увидел на нем, в окружении конной толпы ляхов, хмурый свейский прямоугольник: копейщики упрямо стояли на прежнем месте, словно скала посреди бушующего моря. Гусары то и дело пытались наскакивать на плотный строй то с одной, то с другой стороны – но только понапрасну теряли лошадей и воинов. Воины графа Делагарди стояли твердо, не поддаваясь ни на угрозы, ни на лесть, ни на посулы золота, ни на соблазны перейти на службу королю Владиславу.

Стрельцы тоже уцелели – отступив до самой дороги на Торжок, они перекрыли тракт и укрепились там, ощетинившись бердышами. Перед ними валялись десятки мертвых казаков и немало убитых лошадей. Уцелевшие ляхи держались поодаль, ограничиваясь обидными выкриками. Все, чего удалось добиться за день пану Зборовскому и его многотысячной армии – так это дотла разорить пустующий русский лагерь и захватить пушки… совершенно бесполезные из-за незатихающего ни на миг дождя. Порох отсырел у всех, и над полем брани не слышно было ни единого выстрела и не видно ни одного белого дымного облачка.

– Москва! Москва! – Воевода Котошикин, пользуясь нежданностью своего появления, задерживаться на краю поля не стал, сразу повел собранные сотни в атаку, для стрельцов и свеев обозначив свою принадлежность громким и понятным кличем: – Москва-а-а-а!!!

Казаки, не дожидаясь сшибки, тут же прыснули в стороны, словно стая спугнутых с поля воробьев, во весь опор помчались к своему лагерю. Хуже пришлось грабителям, что тащили из русского лагеря мешки и узлы, скрученные ковры и охапки оружия. Они были пешими…

Русские сотни рассыпались по всему полю широким полумесяцем, понеслись через чавкающую глину. Сверкнули серебром обнаженные клинки, соскучившиеся по крови поганцев…

Боярин Щерба, как вел сотни, так и в атаку помчался первым, прикрыв левый бок и колено щитом, в правой сжимая саблю и управляя скакуном одними ногами. Грабители улепетывали, поминутно оглядываясь и бросая поклажу, – но далеко ли ногами от всадника-то убежишь?

Налетев на отстающих, не придерживая коня, воевода рубанул каракулевую шапку справа, тут же махнул налево, рассекая овчинную безрукавку, опять ударил вправо. Тать успел

отреагировать, резко наклонился, уворачиваясь от грозно свистнувшего в воздухе клинка, – но потерял равновесие, взмахнул руками, разбрасывая монеты, рухнул в грязь, и по распластавшемуся телу тут же прошли копыта кирасирского коня, скачущего почти стремя в стремя с воеводским.

Очередной тать, повернувшись, вскинул над головой тюк, закрываясь от отточенной сабли, но боярин лишь поддернул оружие выше и, промчавшись мимо, хлестко рубанул его кончиком клинка чуть ниже лопаток. Двух самых шустрых из мародеров Щерба Котошикин просто сбил грудью коня и вырвался на открытое пространство. Ненадолго открытое – ибо навстречу новому врагу уже поворачивали крикливые крылатые гусары.

Две конные лавы. Обе – уже давно растерявшие пики и рогатины, обе – порядком уставшие за долгий день, обе – забывшие про правильный строй и плотный таранный удар. Клинки в клинки, глаза в глаза, отвага против отваги.

Воевода опять выбрал для себя самого знатного из ляхов – в вороненых доспехах с вычурным, наведенным золотом рисунком. Но в последний миг путь ему заступил плечистый рыжеусый всадник на крупном скакуне, оказавшийся на две головы выше. Пользуясь ростом, враг рубанул Щербу из-за головы, еще и привстав на стременах, – однако опытный боярин вскинул щит только до уровня глаз и потому заметил, как в последний миг лях слегка подправил удар, метясь уже не в голову, а по колену. Щерба толкнул левую руку вперед, подставляя лезвию умбон[2], и тут же, под прикрытием деревянного диска, уколол врага под мышку, благо гусарские доспехи прикрывали плечи только сверху. Великан повалился – но знатного ляха за ним уже не оказалось, вместо богатого пана там обнаружился безусый юнец с испуганно округлившимися голубыми глазами. Тем не менее палашом он взмахнул весьма рьяно – воевода едва успел прикрыть лицо саблей, тут же ударил щитом вниз, самым краем, в выставленное колено, а когда юнец запоздало дернул вниз щитом – быстро и точно кольнул его в горло.

Ненадолго слева стало свободно – три лошади без всадников отгораживали воеводу от жаждущих боя гусар. Посему боярин всем телом повернулся вправо, уколол саблей ляжку шляхтича, дерущегося с кирасиром, окантовкой щита ударил в плечо казака, увлеченного схваткой с холопом в панцирной кольчуге, отбил меч другого, кольнул под локоть…

Слева надвинулась тень – Щерба повернулся навстречу, ударил щитом по щиту, попытался уколоть сбоку, ощутил, как вражеский клинок скребнул по плечу его самого. Однако кольчуга

выдержала, и они с ляхом разъехались, не причинив друг другу никакого вреда. Гусар попытался развернуться – но его цапанул за окантовку топор Карасика, и тут же в горло воткнулся нож…

А на воеводу налетел чубатый и брюхатый казак с пышными усами, взмахнул шестопером[3]. Боярин прикрылся щитом, понизу нанес сильный укол в живот, ощутив в руке сопротивление рассекаемой плоти, приоткрылся – и успел заметить пластины стремительного шестопера только возле самого лба.

– Боже… – Все, что он успел сделать, так это чуть наклониться, подставляя вместо лица край шлема, и в тот же миг его голова взорвалась…

– А-а-а, черт!!! – дернулся от боли Женя, резко приподнялся в постели и торопливо отполз назад, все еще видя перед собой летящее прямо в глаза оружие, чувствуя боль от жестокого удара.

– Чего орешь, будто оглашенный-то? – широко зевнув, приподнялась на тахте Катя. – Волки за бок укусили?

– Опять примерещилось… – тяжело перевел дух молодой человек.

Женя Леонтьев умирал во сне уже не в первый раз, однако привыкнуть к этому никак не мог. Слишком уж явственно, натуралистично все происходило. Запахи, тяжесть брони, усталость, страх и ярость, боль от ударов – все было ярким, живым, настоящим.

Вот и сейчас, все еще ощущая место, куда врезался шестопер, он невольно ощупал голову с левой стороны.

– Опять клад? – живо заинтересовалась девица, спустив ноги на пол.

На два месяца к себе в квартиру Евгений заезжую «лимитчицу» все-таки пустил. Проиграл в споре – значит, проиграл, нужно быть честным. Однако спал отдельно, стеля себе на полу туристический матрасик.

– Нет, какая-то бредятина, – покачал головой молодой человек. – Будто я вместе со шведами и какими-то кирасирами против поляков возле Тулы сражаюсь. Я даже фамилию польского воеводы откуда-то знал… Пан Зуб… Зборский…

– Зборовский? – закончила вместо него Екатерина. – А шведами командовал граф Якоб Делагарди?

– Откуда ты знаешь?

– Господи, ну почему ты посылаешь такие сны не мне, а какому-то безграмотному олуху?! – вскинув руки к потолку, простонала девушка. – Он даже не слышал про Тверскую битву тысяча шестьсот девятого года! Битву, в которой французы в первые же часы бежали, а русские отступили, и только шведы-то дрались против шляхты весь день в полном окружении, до самого

возвращения союзников, после чего поляков успешно вырезали чуть не до последнего человека.

– Французы? – не поверил своим ушам Женя.

– А чего, в твоем сне их не было? – ехидно прищурилась девица.

– Ну… Какие-то кирасиры в полку левой руки стояли… – признал Леонтьев, почесав в затылке, и тут же застонал от боли: от резкого движения сильно заболела голова, садня в месте удара.

– Ага, ага! – обрадовалась Катя.

– Чего «ага»? – поморщился Женя. – Это ведь Смутное время, правильно? Но ведь тогда шведы в Россию вторглись вскоре после поляков! Почему же они вместе со мной на одной стороне сражались?

– Это ты со школы про агрессию Швеции помнишь? – вскинув брови, поинтересовалась Катя. – Прими мои соболезнования.

– Давай поменьше гонору, красотка, – не выдержал Женя. – Или я перестану быть добрым и честным, а ты через десять минут перестанешь жить в моей квартире.

– Да ладно, не кипятись, – примирительно проговорила девушка. – Ты не виноват, что у нас девяносто процентов населения знают о своем прошлом на уровне школьной «фолькс-хистори». Просто в России так сложилось, что историй существует целых три. Первая – официальная. Этакая залипушка для бедных, чтобы мозги зря себе не забивали. Немножко мусора в голове для галочки в аттестате. Вторая история – научная, и официальной истории до нее – как из Саранска до созвездия Гончих Псов. Ты про Фоменко-то с Носовским когда-нибудь слышал?

– Еще бы…

– Так вот, если бы они поинтересовались, что русская научная история говорит про историю официальную, у них даже на ногах-то волосы встали бы дыбом от ужаса. Например, по официальной истории, Москва основана в двенадцатом веке, а по научной – в восьмом веке до нашей эры. По официальной истории, в тринадцатом веке было монгольское нашествие, а по научной – никакого государства у монголов отродясь не появлялось. В официальной истории Русь основана скандинавами, а в научной эта версия считается бредом умалишенных. Причем акт научной экспертизы с этим утверждением опубликован Академией наук в две тысячи восьмом году, а в учебнике для нищих от две тысячи девятого «бред умалишенных» продолжает официально преподаваться как истина. Вот и «шведская агрессия» того же поля ягодка. По «официозу», шведы вторгались, а по архивам МИДа России между нашими странами был заключен

официальный союзный договор о войне против ляхов до победного конца. Причем этот договор уже лет тридцать назад опубликован.

– Ты так говоришь, будто кто-то намеренно делает из нас дураков, – поморщился Леонтьев. – Конспирология на марше…

– Воспитывая из людей дураков, потом имеешь с ними меньше проблем, – пожала плечами девушка. – Чем активно-то пользуются все, кто имеет такую возможность. И, кстати… Аккурат через сто лет после того, как шведский полк по факту проложил для русской армии дорогу к Москве, Петр Первый вовсю отвоевывал у шведов те самые земли, которыми царь Василий Шуйский заплатил им за пролитую кровь. Как думаешь, у Петра был интерес выставить бывших союзников злобными агрессорами или это тоже чистая конспирология?

– При Петре Первом, помнится, еще не было централизованной системы образования вроде современной.

– Ничего, церковь-то справлялась с цензурой не хуже, – заверила его Екатерина. – В результате князь Владимир оказался «Красным Солнышком» и крестителем Руси, христианство победило язычество тысячу лет назад, а до того момента славяне как бы и вовсе не существовали. Были зверьем двуногим, рыкающим и никчемным.

– А на самом деле? – подначил квартирантку молодой человек.

– Ну, на самом деле к восьмому веку Русь была крупнейшим производителем оружия на континенте, торгуя знаменитыми харалужными клинками в обмен на арабское и персидское серебро, кладами из которого по сей день берега русских рек завалены; язычество было широко распространено на Руси как минимум до восемнадцатого века, что подтверждается находками многих сотен змеевиков, полуязыческих, полуправославных. Причем один из этих амулетов принадлежал лично Ивану Грозному и хранится в иконостасе Троице-Сергиевой лавры. Что касается Владимира Красно Солнышко, то известен он не только крещением Руси, но и многоженством, разбоями, вымогательством и, самое главное, – строительством святилищ в честь бога Перуна. Некоторые из которых действуют-то по сей день. Например, в том самом Новгороде, из которого ты в своем сне наступал на Лжедмитрия, по приказу князя Владимира построено святилище Перынь. Кому оно посвящено, ты сам должен догадаться по названию.

– Но ведь после крещения князь приказал утопить идолы Перуна!

– Что не мешает Перыни благополучно функционировать по

сей день, – ехидно ухмыльнулась девушка. – Ну как, ты все еще не веришь, что в школе вместо обучения истории тебе промывали мозги?

– Хочешь сказать, там до сих пор действует языческое святилище?

– Странные вы люди, ей-богу, – откинувшись обратно на постель, хмыкнула Катя. – Когда вам говорят, что праздник Ивана Купалы насквозь языческий и к Ивану Крестителю отношения не имеет, это никого-то не удивляет. Когда говорят, что культ Параскевы Пятницы продолжает культ Макоши, – это нормально. Когда говорят, что Илья-пророк суть двойник Перуна, все согласны. А когда на воротах монастыря прямо пишут: «Посвящен богу Перуну» – вам обязательно языческий идол внутри подавай.

– Хочешь сказать, капище в монастыре никто не уничтожал? Летописи врут?

– Во-первых, летописи не сохранились, о том времени мы знаем только в пересказах шестнадцатых-семнадцатых веков, злостно противоречащих археологическим данным. А во-вторых, все летописи писались в монастырях. Изучать историю по православным летописям – это все равно что исследовать современную науку по справочнику, посвященному квантовой физике. То есть физику ты после этого будешь знать отлично. Но вот о существовании географии или биологии хрен догадаешься. Вот так-то и здесь. О язычестве на Руси мы догадываемся лишь из редких оговорок Вселенского собора, который аж в семнадцатом веке осуждает обычай проводить свадьбы священниками совместно с волхвами вокруг ракитового куста или по языческим амулетам, что находят то в крестьянских божницах девятнадцатого века, то среди царских даров монастырям в семнадцатом. И что об этом пишут христианнейшие летописцы? А ничего. Молчок. С Перынью та же самая история. Сама она вроде как есть, а вот кому в ней издревле поклоняются – молчок. Кстати, забавное-то совпадение. Перынь эта… – Девушка внезапно осеклась. А спустя несколько минут вскочила и стала спешно одеваться: – Боже, какая же я дура! Как я сразу не догадалась? Женя, кажись, я знаю, что это за школа, на которую ты наткнулся, и за что тебя пытались убить. Надо только кое-что проверить. Ты как, согласен на прежние условия? С тебя жратва, с меня информация, добыча пополам?

– О чем это ты догадалась? – Глядя на Катю, молодой человек тоже поднялся.

– Перынь… Этот монастырь тоже относится к числу закрытых в иезуитскую эпоху. Помнишь, мы заметили, что все обители, на которые выводят ниточки нашего расследования, были

уничтожены иезуитами? Так вот, у них есть еще одна общая черта: все они были восстановлены только в наше время. Вестимо, организация, устроившая на тебя охоту, набрала силу только сейчас. Перынь, в отличие от всех прочих монастырей, была восстановлена в девятнадцатом веке. Причем с большим скандалом. И, похоже, только теперь и только мы двое догадываемся, почему. Надеюсь, нам с этого дела обломятся хоть какие-нибудь «няшечки» помимо морального удовлетворения. Нужно только чуток эту тему копнуть.

– А можно объяснить все это более внятно, для бухгалтеров?

– Можно, – согласно кивнула Катя, натягивая футболку. – Очень похоже, что в конце восемнадцатого века в России случилась большая и серьезная война, о которой ни одна собака даже не подозревает.

– Разве такое возможно?

– Еще как! Помнишь, я говорила тебе, что у нас в России существует три истории? Первая – это официальная. Политически мотивированная бредятина для малограмотной толпы. Вторая – научная, которая основана на документах и археологии. Третья история – это история реальная. О ней мы знаем-то меньше всего, поскольку простых летописцев к важным государственным тайнам никто никогда не подпускал и от творящихся в тиши дворцовых покоев интриг не осталось никаких археологических слоев. Но именно там, вдали от чужих глаз, и происходило самое главное и интересное. То, что для нас всплывает лишь изредка необъяснимыми загадками в событиях или странными поступками тех или иных известных людей.

Старший брат

Разумеется, ни в монастырских летописях, ни в государевых архивах не осталось известий и о том, как в начале зимы тысяча пятьсот шестьдесят четвертого года в Боровицкие ворота Московского Кремля вошел юродивый, несмотря на мороз, одетый лишь в лохмотья рубахи домотканого полотна, в обмотки на ступнях и вериги на толстых ржавых цепях – если, конечно, сие орудие пытки можно было назвать одеждой.

– А изо города, изо Пскова я к вам сюда нонеча да пожаловал, – приподняв на плечах цепи, слегка позвенел ими блаженный. – К государю нонешнему да от царя истинного, небесного. Слово великого князя московского москалю Ивашке передать. Вы к нему бегите, сказывайте, Никола Салос к нему заглянул. А то, не ровен час, великий и сам сюда заявится.

Юродивый глумливо хихикнул, поплясал между створками, медленно кружась:

– Гости-гости, гости-гости. Будет полон дом гостей… – после чего медленно прошел на двор.

Остановить его никто из стражников не рискнул. Наоборот – торопливо перекрестившись, еще и несколько мелких монеток в руку нищему сунули. Известное дело, с колдунами чухонскими стакнуться и то безопаснее, нежели с блаженным связаться. Они ведь не токмо исцелять и осчастливливать умеют, но и карают иной раз, ровно гнев Господень. А награды он тебя сочтет достойным али кары – поди угадай? Одну и ту же краюху ему подадут, одно и то же доброе слово в ответ скажут – но один даритель разбогатеет и по гроб жизни сытым станет, а другой обнищает и каждой корке хлебной будет радоваться. Прикосновение одной и той же руки одного исцелит, другого парализует. Вон, Василий Блаженный, любимец царский… Уж на что добротой и милостивостью известен! Однако же, когда несколько шутников подаренную ему шубу себе на похороны попросили, шубу сию получив – тут же и померли.

Не, блаженных, что ни говори, лучше не касаться, не спорить с ними и без особой нужды дальней стороною обходить. А встретив – одарить тем, что имеешь, хоть малой толикой, и молиться за себя попросить. Коли повезет и сие юродивый исполнит – его слово на небесах за слова тысячи праведников зачтутся.

– Семен Юрьич, во дворец царский обернись, упреди рынд тамошних о госте, – проводив странного визитера взглядом, приказал одному из бояр старший караула. – Пусть они

разбираются, вязать его или награждать, святой он али лиходей? Молви, оружия при госте не нашли и Христа ради пропустили.

Воевода перекрестился и добавил:

– Хотя, мыслю, рынды сего решать тоже не посмеют. Карать юродивого али награждать за истовость веры – то дело царское. Надеюсь, блаженный знает, зачем явился. Не то гнить ему в патриарших подвалах до второго пришествия. И заместо хлеба кнутом на дыбе каженный день потчеваться.

Не осталось в архивах записей и о том, что обратно во Псков блаженный уехал на подаренных государем санях, в царской шубе и под охраной стрелецкой полусотни и что почти одновременно с этим из Москвы на Вагу умчался на почтовых лошадях гонец, получивший приказ не останавливаться ни днем ни ночью.

Все, что известно историкам о тех событиях, – так это неожиданный приказ Иоанна Грозного, предписывающий доставить ему для личного ознакомления все документы, связанные с преподобной мученицей Софией Суздальской, в миру – великой княгиней Соломонией Юрьевной, из рода бояр Сабуровых, первой женой великого князя Василия, отца[4] повелителя Руси.

Мчаться на почтовых лошадях – это вам не обычная нудная и долгая езда. На почтовых за час больший путь пролетать успеваешь, нежели простой путник за день проезжает. Возком от Москвы до поважских земель – не меньше двух месяцев добираться. Почтовые же скакуны, ровно птицы, всего за двое суток вестников доносят. Чернила на грамоте толком высохнуть не успели – а царский подьячий в далеких землях уже ломал на ней печать.

Ввиду явленной царским письмом срочности, боярин Басарга Леонтьев мешкать не стал. Наскоро собрался, расцеловал на прощание княжну Мирославу, на рассвете вместе с верным холопом поднялся в седло и так же, на почтовых, метнулся в столицу, останавливаясь, лишь чтобы переседлать скакунов да наскоро перехватить какой еды в придорожном яме. Из-за него же, высказанного государем нетерпения, на свое московское подворье Басарга заворачивать не стал, сразу направился ко дворцу, показав в воротах и на крыльце письмо с личной печатью повелителя.

В этот раз государь принял боярина Басаргу Леонтьева не в личных покоях, а в посольской зале. Причем обширные четырехстолпные расписные палаты были совершенно пусты, а для беседы Иоанн отвел своего верного доверенного слугу к окну, выходящему на Архангельский собор. И там долго молчал, глядя через тусклую волнистую слюду на белоснежные стены церкви и

перебирая пальцами яхонтовые разноцветные четки.

Одет царь был торжественно: в красную соболью шубу поверх украшенной золотой вышивкой и самоцветами ферязи, в высокую горлатную шапку с большим рубином на лбу, в широкое золотое оплечье не меньше полупуда весом. Басарга уже и забыл, когда видел правителя Руси таким величественным. Ведь на пиры и торжественные приемы его не звали, а в личных покоях Иоанн одевался куда проще. Боярину было страшно любопытно, зачем царь вызвал его к себе с такой поспешностью, почему вышел к слуге немедля, едва только узнал о его появлении, бросив какую-то из церемоний и каких-то несомненно знатных гостей? Однако Басарга молчал, соблюдая этикет и боярское достоинство, и ушел бы, не задавая вопросов, даже если бы Иоанн так и не произнес ни одного слова.

– Приходил ко мне из Пскова святой человек, – наконец еле слышно произнес государь. – Никола Салос, Христа ради юродивый. Они, известное дело, о том часто вслух сказывают, о чем иные смертные и в мыслях подумать опасаются…

Иоанн снова надолго замолчал, играя четками. Басарга терпеливо ждал продолжения.

– Сказывал юродивый, зело мною бояре знатные недовольны. Тем недовольны, что рати я немалые собрал, токмо мне и никому более послушные. Тут и «избранная тысяча», и полки стрелецкие, и казаки донские. И так выходит, что в опоре на думу боярскую, на благоволение княжеское я более не нуждаюсь. Опасаются они, что я намерен токмо на Земские соборы всенародные опираться и волю мирскую исполнять. Они же при сем лишь одними из многих окажутся. Недовольны, что кормления я воеводские отменил, суд и власть людям местным отдав, старостам, им самими выбираемым – и тем бояр знатных изрядного прибытка лишил. Недовольны они, что к службе я бояр худородных привлекаю и тем князей и бояр знатных мест лишаю. И еще многие обиды мне поминают.

– Про тот ропот многим верным слугам твоим ведомо, государь, – признал Басарга. – Да токмо кто они такие супротив помазанника Божьего? Коли взбунтоваться и захотят, никто на их сторону не встанет.

– О том и речь, Басарга. О звании помазанника Божьего, – повернул к нему голову Иоанн. – Тебе одному, избраннику небес, не раз преданность свою доказавшему, тайну великую доверю. Сказывал юродивый, что не по праву наследному стол сей я занимаю, а благодаря заговору родов Шуйских и Скопинских супротив рода Сабуровского. Что в борьбе супротив Сабуровых бояре сии митрополита низложили и отца моего к разводу

принудили, беременную великую княгиню Соломонию в монастырь отправив.

– Сказывали, по бездетности княгини сей брак был расторгнут… – неуверенно ответил Басарга. Как все жители русской земли, о событиях в жизни правящего рода он кое-что знал. О чем-то громогласно священники во время проповедей вещали, провозглашая здравицы новорожденным или поминая усопших, о чем-то слухи разные доходили. Кто-то что-то слышал, кто-то что-то видел, кто-то проведанным поспешил поделиться. А правда, нет – поди догадайся. – Вроде как супруга первая отца твоего после долгого бесплодного брака постриг приняла.

– И я так мыслил, – кивнул царь. – Однако же, после встречи с юродивым, митрополита Афанасия о сем с пристрастием расспросил. Тот многое сказанное псковским юродивым подтвердил. Добавив, однако, что рожденного в обители царевича Шуйские извели, дабы тот на престол не взошел, Сабуровых к власти вознеся. Теперь митрополит вдруг в отставку зело запросился. Устал, сказывает, от тягот служения… – Иоанн постучал пальцами по подоконнику: – Нечисто тут чего-то, Басарга. Либо стыдно ему невыносимо, либо скрывает нечто важное. Юродивый молвил: жив царевич. А коли так, то он, а не я, есть царь законный и помазанник Божий. И бояре недовольные, что до сего супротив Сабуровых сплотились и переворот устроили, ныне супротив меня округ Сабуровых сплачиваются, дыбы законного царевича из долгого изгнания вернуть, а меня низвергнуть. И тут, коли все по обычаю и закону случится, то и бунтовать супротив сего никто не станет. Да и мне противиться не след, ибо о старшем брате моем речь идет.

Боярин облизнул враз пересохшие губы, приоткрыл было рот, но тут же закрыл, не зная, что сказать. Если у Иоанна есть старший брат – то он, понятно, имеет куда больше прав править Русью, нежели нынешний царь, тут спорить трудно. Царский двор на виду живет, в нем ничего не утаишь. Пусть даже царица и в изгнании, свидетелей рождения ею ребенка всегда найдется в достатке. Так что и доказательств происхождения первенца будет сколько угодно.

Странно только, что о сем царевиче ныне ничего не ведомо…

– Странно токмо, что о царевиче сем мне так мало ведомо, – вслух повторил мысли подьячего Иоанн. – Все знают: и Шуйские, и Сабуровы, и Курбские, и Салтыковы, и Колычевы, и Челяднины. Один я ровно с бельмами на очах брожу. Однако же не у супротивников своих мне о сем спрашивать?

Иоанн отвернулся к окну, снова стал перебирать четки.

– Ты ныне подьячий приказа Монастырского, – сказал

холодной слюде государь, – часто с проверками по монастырям ездишь. Посему проверка тобою еще одной обители удивления не вызовет. Секреты ты хранить умеешь, давно сие доказал. И доверяю я тебе, ровно себе самому. Посему тебе поручаю сыск подробнейший учинить и на все вопросы ответить в точности. Тебя отныне велено пропускать ко мне, где бы я ни был. Сказано, что поручение имеешь особое. Посему тайком можешь более не пробираться… Однако же внимания к себе все едино старайся не привлекать. Дабы быстрее ты с сим поручением управился, вот тебе полста рублей, о расходах не задумывайся. – Иоанн, зажав в кулаке четки, другой рукой снял с пояса и протянул боярину тяжелый бархатный кошель. – Теперь поспешай, я в нетерпении.

– Не беспокойся, государь, мигом обернусь, – с поклоном отступил Басарга, на ходу пряча деньги за пазуху, и торопливо направился к дверям.

К своему подворью, в очередной раз брошенному без присмотра почти на полгода в самом центре Москвы, боярин ехал с тяжелым сердцем, ожидая увидеть разор и пустоту – ну не по средствам ему было дворню при пустом доме содержать! Да и слуг столь доверенных, увы, встретишь нечасто. Однако в очередной раз его ждал приятный сюрприз: расчищенные от снега подъезд и ворота, идущий из трубы дым и светлые окна.

– Да не может быть! – Он спешился перед калиткой, кинул поводья скакуна на коновязь, быстрым шагом забежал на двор, толкнул дверь жарко натопленного дома и довольно расхохотался, увидев рассевшихся за столом хмельных бояр:

– Побратимы!

– Басарга! Брат! Друже! – вскочили навстречу его товарищи и раскрыли объятия.

– Илья, дружище! Да ты, смотрю, на семейных-то харчах уже раздобрел изрядно! – Малорослый боярин, едва достававший макушкой подьячему до плеча, на самом деле в весе ничуть не прибавил, однако же рыжие усы и борода, ранее почти незаметные, ныне загустели, придавая воину солидности.

Басарга отпустил Илью, обнял Тимофея Заболоцкого:

– Да и ты подрос после женитьбы!

Кареглазый великан только с усмешкой крякнул, с силой похлопав его по спине.

– Ну, а ты, друже, ничуть не изменился, – последним подьячий обнял Софония, такого же смуглого, худощавого и темноглазого, с острой, на немецкий манер, бородкой и узкими тонкими усами, как было и в день их первой встречи.

– Спасибо тебе, друже, выручил! – вернувшись к столу, поднял кубок Илья Булданин. – Обрыдла мне уже эта маета

деревенская. Гречка да просо, оброк да барщина, за угодьями досмотри, ловы проверь, десятину сочти… Тьфу, тоска смертная! Уж не ведаю, чего батюшка так домой из похода стремился? Мне сия морока на уделе на три года поперек горла, ровно кость рыбья, встала. Твое здоровье, Басарга!

– А ты, вижу, столь высоко ныне вознесся, что уже с царскими гонцами письма свои рассылаешь? – уважительно спросил Тимофей, тоже возвращаясь к столу. – Как вестник твой через город наш проскакал, так все старосты и бояре мне аж в пояс кланяться начали.

– Я? – удивился Басарга. – Да я сам в Москву токмо три часа назад на почтовых влетел!

– Вестимо, мудрый человек, тебя позвавший, помыслил и о том, чтобы ты в одиночестве не скучал, – резонно ответил Софоний, безуспешно пытаясь закрутить левый кончик коротко остриженных усов. – А чего это вы поодиночке пьете, побратимы? Коли встретились, братчину надобно наполнять!

– Братчину, братчину! – обрадовался Илья. – Эх, давненько я чашу нашу за рукояти не держал!

– Да, давно мы чашу нашу побратимскую по кругу не пускали! – согласился Басарга. – Эй, Тришка-Платошка! Глянь, как там с пивом в погребе моем? Коли не хватит, так на торг бежать надобно. Тришка! – Боярин чуть выждал, дожидаясь ответа, спросил: – Други, вы холопа моего не видели?

– Полагаю, спит где-нибудь за печкой, – пожал плечами Софоний. – Вы ведь, как понимаю, на почтовых неслись, двое суток без сна и отдыха? Немудрено, что его сморило, едва в теплый дом попал да каши навернул. Скажи лучше, пока холопы с лошадьми на дворе заняты, что за нужда такая нас всех из домов внезапно выдернула?

– Нужда такая, други, – расстегнув ремень, Басарга повесил подбитый горностаем зипун на крюк у двери, поправил короткий стеганый поддоспешник, снова опоясался. – Нужда такая, что завтра нам на перекладных в Суздаль скакать надлежит. О первых днях пострига великой княгини Соломонии государь желает знать все в подробностях. Как себя вела, не случилась ли тяжелой, и коли случилась, то кем от бремени разрешилась и что с ребенком сталось?

– Во-от, проклятье!!! – поморщился, будто от боли, боярин Зорин, спешно налил себе полный кубок вина и сразу весь осушил крупными глотками.

– Что такое, друже? Зуб прихватило? – забеспокоился боярин Заболоцкий.

– Уж лучше бы зуб! – Софоний налил себе еще. – А вдруг у

нее сын родился? Тогда, выходит, у Руси более законный, нежели нышешний, царь имеется. Таковые тайны относятся к числу тех, каковые знать зело опасно. Ибо правители любят избавляться от секретов вместе с головами, в коих они осели.

– Это уже не тайна. – Басарга тоже присел к столу, выпил, придвинул к себе блюдо с жареными пескарями, начал жадно есть. – Юродивый к Иоанну приходил, Никола Псковский. Он государя и предупредил.

– Все едино, братья, советую сегодня же всем кольчуги под одежду надеть и не снимать ни днем ни ночью, – сказал боярин Зорин. – И саблю всегда под рукою держать да о засапожнике позаботиться.

– Эк ты загнул, друже, – рассмеялся Илья. – А коли краля какая ко мне под одеяло заберется? А я в железе!

– Мыслю я, коли и заберется, так с ножом али кистенем. Так что железо токмо на пользу будет.

– Тьфу, тьфу, типун тебе на язык! – замахал на него руками малорослый боярин. – Скажешь тоже… А ты как мыслишь, Басарга? Надобно нам в таком страхе жить али можно и налегке путешествовать?

Но боярин Леонтьев ничего не ответил. Немного перекусив и разомлев в тепле, он уже крепко спал, уронив голову на сложенные перед блюдом с пескарями руки.

– Эй, ты чего? – возмутился боярин Илья. – А братчина?!

– Оставь его, друже, – остановил протянутую было Булданиным руку Тимофей Заболоцкий. – Пусть хоть немного отдохнет. Завтра ведь, как я понял, всем нам снова в седло?

* * *

Сверкающий чистой белизной суздальский Покровский монастырь почти не различался на фоне искрящихся под ослепительным солнцем снегов. Светло-зеленые кровли угловых башен, храмов и прочих монастырских построек терялись на фоне яркого неба, и печальный звон созывающих прихожан к вечерне колоколов доносился, казалось, прямо из пустоты. Лишь когда до стен обители оставалось всего лишь полверсты, среди ровной белизны внезапно возник образ Иисуса, взирающего на гостей со стены надвратной церкви, а вслед за тем соткался из ничего и сам храм, и трехсаженные стены по сторонам, и высокие здания с крохотными высокими окнами в окружении овальных кокошников.

Спешившись перед воротами, бояре перекрестились на икону,

вошли на двор обители. Опытным взглядом Басарга определил трапезную – самый большой и богатый дом каждого монастыря, – повернул к ней, набросил поводья на брус коновязи, предоставив смотреть за лошадью холопам, первым быстро поднялся по ступеням крыльца, толкнул дверь и в теплых каменных палатах с низкими толстыми сводами кивнул метнувшейся навстречу молодой послушнице в светлой рясе:

– Доброго дня, сестра! Позови ко мне настоятельницу и вели расходные книги приготовить. Сказывай, боярин Леонтьев прискакал, подьячий Монастырского приказа. С дознанием.

– Ой, прости Господи! – испуганно шарахнулась юная служительница Всевышнего. – Сей час матушку Вассу призову! Вы здесь обождите!

Послушница убежала, и Софоний, расстегивая крючки зипуна, тихо поинтересовался:

– Книги-то тебе зачем, друже?

– Книги завсегда проверять надобно, – уверенно ответил Басарга. – С серебра все завсегда начинается, серебром заканчивается. Коли что и было, через серебро и злато завсегда ответы обнаружатся.

– Беременность по книгам расходным искать? – рассмеялся боярин Илья. – Ну ты скажешь, побратим! Нечто детишки по статьям доходов и расходов проходят? Нет, друг мой, на таковые вопросы токмо на дыбе ответ можно получить, с угольями да кнутом из воловьей кожи!

– Сам старух на дыбу вешать будешь и кнутом стегать, – наклонившись, еле слышно шепнул ему на ухо Тимофей Заболоцкий, – али попросишь кого?

Боярин тут же вдруг закашлялся, стянул шапку, с силой потер запястьем нос, неуверенно молвил:

– Так ведь дело-то царское?..

– Коли нужда какая возникнет, так и на дыбе спросим, – уверенно пообещал Басарга. – Но по совести, надеюсь, без того обойдется.

Из темноты коридора появилась пожилая инокиня со сложенными на животе руками, степенно поклонилась:

– Матушка игуменья повелела накормить вас с дороги и горницу достойную для отдыха отвести. Ныне уже поздно, она на службе, а книги расходные под замком. На рассвете настоятельница Васса лично их вам для чтения доставит.

– До рассвета их все наново написать можно! – громко хмыкнул боярин Булданин.

– Игуменья Васса чиста душой и помыслами, даром провидческим обладает, а потому подозревать ее в подделке –

грех большой, – однотонно, ни на миг не дрогнув лицом, ответила инокиня. – Через достоинства ее обитель наша от самого государя не раз вклады великие получала. За мной следуйте, бояре…

Она повернулась и медленно поплыла обратно в темноту коридора, нимало не заботясь о том, идут за нею гости или нет.

Отведенная боярам палата, видимо, предназначались паломникам. Длинная и узкая, с десятком маленьких слюдяных окошек и образами напротив, она была в три ряда заставлена широкими лавками, на каждой из которых можно было спокойно вытянуться во весь рост, подложив под голову узелок с припасами. Удобства скромные – зато тепло и сухо. А что лежаки жесткие – так боярам в походах и на земле доводилось на тощем потнике спать, и в сугробах, в епанчу завернувшись. Так что люди привычные. Накормили, напоили, кров над головой дали – большего им и не требовалось.

На рассвете, как и обещала монахиня, к гостям пришла совсем уже дряхлая старушка со сморщенным лицом – хотя глаза ее все еще и блестели молодо, подобно ярким сапфирам. От нее пахло ладаном и свежим хлебом и чем-то еще, неощутимым, но заставившим мужчин преклонить колени и опустить головы за благословением.

Басарга последним коснулся губами сухой кожи, обтягивающей тонкие кости руки.

– Да пребудет с тобою милость Господа нашего, дитя мое. – Игуменья погладила его по голове и участливо спросила: – Откуда такой интерес возник у Иоанна Васильевича к нашей обители, боярин? Нешто донос кто написал али жалобы появились?

– Ничего такого, матушка, – поднялся подьячий. – За порядком слежу, сохранностью добра государева да доходами казенными. Ибо иные обители, случается, сверх меры послаблениями пользуются, иные торг ведут без пошлины сверх дозволенного, иные земли черные, ровно монастырские, пользуют, а иные обители даже смердов с черных земель на свои сгоняют. Вон, монастырь Соловецкий соль беленую тысячами пудов продает, прочих купцов из дела выдавливая. А права им токмо на пять сотен пудов дарованы. Кирилловская же обитель ловы казенные по Шексне самовольно пользовала, Горицкая с волока доходы брала… Не все монастыри посвящают себя служению духовному, иные токмо о серебре помышляют. Посему всех раз в два-три года и навещаю. Не в обиду, матушка, а порядка ради.

– Смотри, дитя мое, – согласно кивнула игуменья. – Нам

скрывать нечего, мы по совести живем.

Восемь толстенных расходных книг хрупкая старушка сама принести не могла, их выложили на скамьи послушницы, пришедшие в горницу вместе с нею. Перекрестившись, вышли, и Басарга хищно, словно коршун на добычу, ринулся к истрепанным томам с ветхими обложками, покрытыми чернильными пятнами.

– Тебе помочь, друже? – поинтересовался боярин Заболоцкий.

– Спасибо, но тут нужно самому смотреть. Иначе совпадения можно не заметить. Уж простите, но дня два мне надобно на сие потратить, – листал желтые страницы подьячий. – А вы пока можете к службе сходить, молебен заказать али мощам святым поклониться.

– Не, друже, – с ухмылкой мотнул головой Илья. – Коли так, то мы лучше до Суздаля отъедем да гульнем на царское серебро за твое здоровье. Ты не обидишься?

– Коли для меня бочонок меда прихватите, так токмо пораадуюсь… Оп-па, тут пошлина за камень не уплачена. Указ Иоаннов отмечен. Надобно проверить… – уже погрузился в работу подьячий, и Илья махнул на него рукой:

– Пошли, други! Не станем мудрецу нашему мешать.

Работа потребовала у Басарги Леонтьева долгих полтора дня и два бочонка меда, который он прямо с лавки в задумчивости зачерпывал время от времени ковшом. Боярину Заболоцкому даже пришлось холопа за добавкой снаряжать, как ясно стало, что одним ведром дело не обойдется.

– И что? – поинтересовался, приглаживая ус, Софоний, когда подьячий закрыл последний том. – Открылась тайна великокняжеская среди цен на репу с капустой?

– О сем мы сейчас у игуменьи спрашивать станем, – зевнул Басарга, не поняв насмешки. – Ибо седьмого мая года двадцать шестого обитель сия от великой радости великого князя Василия в подарок село Павловское с деревнями и с починками получила. А чуть позже, через пару месяцев, – подьячий придвинул одну из книг, открыл в заложенном месте и прочитал: – «*Се яз князь великий Василий Иванович всеа Русии. Пожаловал есми старицу Софью в Суздале своим селом Вышеславским з деревнями и с починки, со всем с тем, что к тому селу и к деревнямъ и к починком истари потягло до ее живота, а после ее живота ино то село Высшеславское в дом пречистые Покрову святые Богородицы игуменье Ульяне и к всем сестрам*»[5].

– Проклятье! – улыбка сползла с лица столичного красавца. – Теми же годами великий князь Василий обетную церковь у Фроловских ворот поставил![6]

– И чего сие означать может? – Илья, тоже прихлебывавший мед, отпустил корец плавать среди пены, поднялся со скамьи: – Чего загадками сказываете? Нормально объясните!

– А то сие означает, – ответил Тимофей Заболоцкий, – что великие князья, в отличие от нас, худородных, в честь рождения сыновей не вклады делают и не пирушки закатывают, а церкви обетные по обычаю ставят и жен своих селами богатыми одаривают. Великое дело – сын. За такое счастье дорогого подарка не жалко. Схимниц же ссыльных деревнями никто не одаривает.

– А здесь и обитель одарили, и саму монахиню, и обетную церковь поставили. И по времени тоже совпадает, – подвел итог боярин Софоний. – В начале зимы ее постригли, по весне от бремени разрешилась. Полугода не прошло.

– То есть у Иоанна Васильевича есть старший брат? – осторожно поинтересовался боярин Булданин.

– А ну, вон пошли отсюда! – неожиданно рявкнул Софоний Зорин на холопов, играющих в кости под соседним окном. – Ишь ты, уши развесили! Не вашего ума дело!

Слуги вздрогнули от неожиданности – но спорить, само собой, не посмели и отправились в самый дальний конец горницы.

– Чего гневаешься, друже? – удивился Тимофей.

– Головы смердам спасаю, – ответил боярин. – Хотя, полагаю, выяснять, что они слышали, а чего нет, каты государевы не станут. Срубят с плеч долой, и никаких хлопот. Такие вещи простым смертным знать не по рылу.

– Покамест сие лишь домыслы наши, – сказал Басарга. – Настоятельницу испросить надобно да послушать, что ответит. Может статься, куда проще все разъяснится.

– Мартын! – рявкнул Илья. – Беги, игуменью найди! Молви, вопросы у подьячего нашлись. Не сходится чего-то в книгах монастырских. Добро лишнее имеется.

Старушка примчалась очень быстро, и вид у нее был весьма встревоженный:

– Что такое вы там исчислили, бояре? Отродясь наша обитель чужого добра не касалась!

– Здесь и здесь, – повернул к ней расходные книги Басарга. – Вписаны сюда слова из грамот дарственных. Вклады большие, обставлены пышно. Просто так подобные не делаются, а событие не указано. Коли так, то… Сомнение меня гложет. Уж не по жадности ли казначей сие добро монастырю приписал? Дарственных ведь нет, токмо выписка.

– А-а, двадцать шестой, – с видимым облегчением

перекрестилась игуменья Васса. – Так, известное дело, схимница наша София мальчика родила. А потому, как при жизни она супругой великого князя была, так выходит, наследник сие был всей земли русской. Вот с великой сей радости Василий Иванович и обитель нашу, и саму роженицу дарами щедрыми и осыпал.

– Тогда где тот мальчик? – Басарга ощутил, как сердце ухнулось из груди куда-то вниз, и внутри образовалась звенящая пустота.

– Идемте, я покажу…

Игуменья, засунув маленькие серые ладошки в широкие рукава, вывела бояр на просторный двор монастыря, уже засыпанный снегом на высоту двух ладоней, прошла по расчищенной дорожке к многоглавому Покровскому храму, от крыльца свернула вправо, на еще нетронутый свежий наст, обогнула церковь и остановилась позади заалтарной стены, наклонилась, стерла рукою снег с одной из лежащих на земле плит:

– Вот где она, в миру государыня, в обители сестра София, упокоилась, – перекрестившись, произнесла настоятельница. – Согласно завещанию своему, не в склеп каменный положена, а в земле упокоена, рядом с могилой чада своего, единственного и долгожданного…

Монахиня сложила руки на груди и склонила голову в молитве. Боярин Заболоцкий наклонился, стер снег с плиты, лежащей рядом с надгробием великой княгини Соломонии. Однако та была чиста. Никаких надписей. Софоний Зорин, вздохнув с явным облегчением, перекрестился. Коли тайны нет – нет и опасности для тех, кто до нее прикоснулся.

Игуменья Васса, закончив молитву, осенила себя знамением, низко поклонилась могилам и ушла.

Тимофей Заболоцкий проводив ее взглядом, тихо сказал:

– Обманул, видать, юродивый государя. Нет у Иоанна Васильевича старшего брата сводного. Преставился.

– Странно сие… – задумчиво ответил Басарга. – Где это видано, чтобы блаженные лгали?

– Сколь велика была тайна, – сдвинув шапку на лоб, почесал в затылке Илья Булданин, – и сколь просто разрешилась.

– Слишком просто для столь загадочной истории… – эхом отозвался боярин Софоний. Покосился на побратима из Монастырского приказа.

Басарга мучительно поморщился, зачерпнул снега, с силой отер им лицо. Покачал головой:

– Слишком просто… Пойду, холопов покличу.

Престарелая монастырская ключница неладного от царского

подьячего не заподозрила и без заминки выдала две кирки и две лопаты. Под присмотром хозяев холопы легко сдвинули в сторону могильную плиту, взялись за работу. Зима еще только-только началась, земля глубоко промерзнуть не успела, а потому поддавалась легко, и яма углублялась стремительно. Монахини спохватились, когда землекопы углубились уже по пояс, а игуменья прибежала совсем поздно, когда внизу уже показалась крышка, вырезанная из прочного, будто камень, мореного дуба.

– Что же вы творите, антихристы?! – возопила старушка. – Как можно покой усопших тревожить! Отпетых и похороненных на свет поднимать!

– Государь прислал меня с вопросом, матушка, – сурово произнес Басарга. – И в ответе, который я ему привезу, я должен быть уверен твердо! Слухов и обмолвок мне мало.

– Нечто вам самой могилы царевича мало? Хотите костями его за поручения свои отчитаться?! – выкрикнула игуменья.

– Хочу, – невозмутимо ответил подьячий. – Ибо записей о вкладах поминальных в ваших книгах я не припоминаю. Коли княгиня великая так чадо свое любила, отчего службы за помин его души не заказывала?

– Весь, что ли, отрывать, боярин? – отложив кирку, спросил из ямы Тришка. – Глина колоду глубоко засосала, как бы окапывать не пришлось. Тогда яму от верха расширять надобно.

– Коли так откроется, то и не к чему, – сказал ему Леонтьев. – Давай, ковырни сбоку.

Холоп, отерев рукавом лоб, вставил край кирки в темную щель, немного пристучал, потом навалился на рукоять. Послышался слабый хлопок, словно от далекого выстрела, крышка прыгнула вверх, и упала обратно наискось, впуская свет в полость выдолбленного из цельной колоды домовины. Мартын и Тришка-Платошка, испуганно вскрикнув, тут же вскарабкались наверх. Осколик, молодой холоп боярина Заболоцкого, оказался более любопытен и упавшую крышку приподнял. Удивленно хмыкнул:

– Нет тут никого, боярин! Кукла тряпичная в распашонке лежит, и более ни единой косточки.

– Вижу, – кивнул Тимофей, торопливо перекрестился: – Вот и уберег Господь от греха. Ничьего праха не потревожили. Закрывай!

– Рубашка-то дорогая, царская…[7] – отметил Басарга. – Видать, и вправду знатного рода дитя ее носило. Вот только где оно, матушка Васса? Матушка!

Увлеченные осмотром крохотного гробика, бояре и не заметили, как настоятельница монастыря исчезла.

– Уйдет! – испуганно охнул подьячий. – За ней, бояре! Тришка, Мартын… Нет, вы все четверо к воротам бегите. Коли сбежать попытается, вяжите, ровно татя. Не святая она, а царя нашего обманщица!

Холопы, слушаясь приказа, вылезли из ямы, побросали лопаты с кирками, принялись одеваться. Бояре же кинулись через двор. Тимофей Заболоцкий и Илья Булданин завернули в Покровский собор, Басарга и Софоний заскочили сперва в поварню, благо она была ближе, из нее кинулись к трапезной, заметались по многочисленным комнатам первого этажа, спрашивая испуганных послушниц об игуменье. Забежали наверх, влетели в просторную одностолпную трапезную палату, покрутились в полутемном помещении, заглянули к себе, влетели в пристроенную на углу Зачатьевскую церковь.

Игуменья Васса была здесь. Она стояла на коленях перед алтарем, сложив перед собой руки и что-то нашептывая.

– Поздно грехи замаливать, матушка! – в пустом тихом храме голос Басарги прозвучал подобно раскату грома. – Теперь на дыбе за них отвечать придется. Ты ведь не токмо нас и бояр прочих обманывала. Ты ведь самому царю лгала, помазаннику Божьему! Он к тебе со всей душой открытой приходил, совета спрашивал, вклады богатые делал, благословение просил. Ты же в глаза ему смотрела – и лгала каждый раз бессовестно.

– Не по закону государь твой место свое занимает, подьячий. Иному стол его по праву принадлежит. За правду муку смертную приму, клятву верности до конца исполняя, – ответила, не оглядываясь, игуменья.

– Нешто мыслишь, за веру и правду муку терпеть станешь? – презрительно скривился Басарга. – Нет, старуха. В мир иной ты с клеймом воровки отойдешь. Не за веру на дыбу тебя вздернут и кнутом охаживать станут, а за обман, в котором ты жила, именем Господа прикрываясь! Бога обманула, царя обманула, людей обманула. Не мученица ты, Васса-инокиня. Ты воровка! А ну, сказывай, куда ребенок княгини Соломонии делся?!

– Не достать вам его, душегубы проклятые! – зло расхохоталась старуха. – Всю жизнь дыбу свою ждала. Небесами предречено мне под кнутом самозванца безродного дух свой испустить. Однако же ничего вы от меня не узнаете! Жгите! Топите! Кости ломайте! Но тайна сия со мною вместе к Господу вознесется!

– Не к Господу, а в ад к диаволу путь твой начертан…

– Подожди… – Софоний положил ладонь побратиму на плечо. – Зачем ты игуменью сию во лжи подозреваешь? Нехорошо это. Настоятельница всю себя, всю жизнь свою Богу посвятила.

Как же не верить ей? Нет, друг мой, мы должны верить.

– Ты никак обезумел, друже?! – оторопел от таких слов Басарга. – Мы же сами видели…

Софоний вскинул к губам палец, и боярин осекся, замолчал, поняв, что его друг что-то задумал.

– Значит, сказываешь, матушка, преставился царевич? Скончался еще при живой матери?

Старуха замолчала. Оглянулась на столичного красавца через плечо, тоже заподозрив неладное.

– Печально сие, матушка, – сочувственно кивнул боярин. – Но коли ты так сказываешь, стало быть, так оно и есть. Остается нам лишь о душе его несчастной позаботиться. Службы заупокойные заказать на помин его души. В Москве заказать, в Суздале, в обителях святых. И здесь, конечно же, тоже заупокойную выслушать. Ты ведь не откажешься отстоять ее, матушка?

– Нет, – прошептала старуха враз осипшим голосом. – Нет, ты не посмеешь!

– Он ведь мертв, матушка, в том слово твое, – включился в разговор Басарга, сообразив, в чем дело. – Мы тебе верим, и долг наш христианский душу его вознесшуюся отпеть…

– Нет! – вскочила игуменья.

– Ты клялась, что он мертв. Значит, на нас греха не будет. Мы сии службы закажем от чистой души и с чистой совестью…

Нет для христианина большего греха, нежели заказать заупокойную службу по живому человеку. Такая служба, тянущая смертного из мира сего в мир потусторонний, иссушает душу, давит чувства, притягивает болезни и в конце концов обращает человека живого в мертвого. Сия порча многими и вовсе за колдовство черное почитается.

Конечно, грех за сей поступок на человека ложится, только если он по злому умыслу извести кого-то пытается. Коли же его в заблуждение кто-то ввел, да еще и намеренно, – отвечать на Страшном суде за гнусное чародейство придется истинному виновнику. И кому, как не игуменье, посвятившей всю себя служению Иисусу и спасению своей души, было этого не знать?

– Так что, матушка? Поминать будем – али за здравие беспокоиться? – ласково спросил Софоний, мило улыбаясь и потирая согнутым пальцем левый ус.

– Он жив, – смирившись с поражением, признала старуха. – И находится ныне в добром здравии.

– Как же так, игуменья Васса? – развел в удивлении руками Басарга. – Ты лгала столько лет! Всем! Почему, зачем?

Двери храма распахнулись, внутрь вошли Тимофей и Илья. Боярин Булданин, увидев монашку, радостно подпрыгнул,

взмахнув руками:

– Она здесь?! Поймали?

– Княгиню любили все, – сказала игуменья, глядя на него. – Еще когда она супругой Василия оставалась. Много доброго она для монастыря нашего сделала. И с сестрами завсегда была милостива. Великий же князь бесплоден оказался. Где это видано, чтобы за двадцать лет супружества ни разу жена не понесла? На другой женился – так опять за четыре года ни разу! То, что Соломония в конце все же тяжелой оказалась, то есть чудо великое, милость небесная. И мальчик у нее явился крепкий, здоровый.

– И где он? Где, говори! – потребовал Басарга.

– Когда Ленка Глинская своего мальчика явила, все мы поняли, что старшему Васильевичу не жить, – ответила старуха. – Изведет его литвинка. Ради воцарения своего выкидыша изведет. Дабы невинную душу спасти, мы сына Соломонии мертвым объявили. Она ведь из рода Сабуровых, потомок мурзы Чета. Вот к татарским своим родичам, в Крым, его княгиня и отправила. Туда, куда приспешникам Ленкиным не добраться[8]. Я же здесь могилу обманную блюла. Не корысти ради – во спасение наследника стола русского. Сестре Софии, когда на смертном одре та лежала, поклялась никому тайны сей не открывать. Ибо жить царевич мог, лишь пока его за мертвого почитают. А службы заупокойной мы по нему не стояли, то ты верно заметил, боярин. Сего греха ничем не оправдать. То уже не ложь во спасение, то порча и извод получится.

– Мертва давно Елена Глинская, матушка. Уже и имя ее подзабывать в народе начали, – сказал настоятельнице Басарга. – Некого бояться.

– Ленка мертва, а сторонники ее и клятва моя остались, – покачала головой старуха. – Не нужно никому знать о старшем Васильевиче. От сохранности тайны сей жизнь его зависит.

Софоний повернулся к настоятельнице спиной, наклонился к самому уху Басарги:

– Там могила разрыта на дворе. Не ровен час, заметит кто. А что государь по делу сему решит, неведомо. Может статься, он сию тайну пуще прежнего хранить пожелает?

– Ты прав, могилу нужно закопать и плиту вернуть на место, – согласился боярин Леонтьев. – Пойду распоряжусь. Холопы на воротах более не нужны, пусть займутся.

Слуги новому поручению только обрадовались. Все же ловить в воротах монастыря его игуменью – не самая лучшая работа. Не дай Бог прихожане узнают – побьют обязательно. А как не узнают, если инокиню прилюдно хватать придется?

Посему к земляным работам четверка вернулась с охотой, под присмотром Басарги ссыпая чуть влажную глину обратно в яму и послойно ее утаптывая – чтобы по весне талая вода к колоде не просочилась. К сумеркам с заметанием следов они уже почти управились, когда со стороны ворот внезапно послышался истошный вопль:

– Тата-а-а-ар-ры-ы-ы!!!

– Степняки? Откуда? – недоуменно вскинул голову подьячий. – Мы же в Суздале!

Однако крики ужаса, конское ржание, злой хохот и громкие стоны умирающих никакого сомнения не оставляли – на обитель напали разбойники. Оставаться на открытом месте, имея из оружия только лопаты и по сабле на каждого – это была верная смерть.

– В трапезную! – коротко приказал Басарга, выдернул клинок и первым побежал вдоль стены Покровского храма.

Отсюда было видно, как темные всадники в стеганых халатах азартно рубят разбегающихся прихожан и послушниц. Татар было довольно много, десятка три, не менее, – а потому помочь несчастным боярин Леонтьев был не в силах. Дай Бог самому с холопами уцелеть…

Маленький отряд заметили – трое всадников провернули к ним. Первый опустил пику, метясь в Басаргу, но в последний миг Тришка-Платошка, завопив, швырнул в него лопату, и степняк, отклонившись, промахнулся. Басарга своего шанса не упустил – сделал выпад, загоняя саблю татарину в живот, выдернул, крутанулся и рубанул по ноге другого татя, спасая самого Тришку от смертельного укола.

– Ах ты, тварь! – Третий татарин полосонул боярина Леонтьева поперек спины. Если бы не совет Софония носить, не снимая, броню – лежать Басарге дальше на холодном снегу в луже крови. А так – только зипуна испорченного лишился, а татя холопы вчетвером сбили с седла и молниеносно закололи.

– За мной, скорее! – Басарга перебежал двор, влетел на крыльцо трапезной, заскочил в распахнутую дверь, остановился: – Закрывай!!!

Вместе со слугами он захлопнул тяжелые створки, в тусклом свете масляных светильников накинул поперечный брус. Пока мужчины возились, в коридоре послышался топот – к дверям бежали несколько татар, уже успевших ворваться в дом. Причем все были с щитами. Хорошо хоть, без копий, только с саблями.

– Откуда вы только беретесь? – зло выдохнул Басарга, отбивая саблю первого и пиная его щит ногою в нижний край. Верхний край от толчка пошел вперед, и боярин тут же нанес

укол в открывшееся лицо. Сбоку налетел другой басурманин – но кто-то из холопов ловко сплющил ему на щите умбон, дробя пальцы, и подьячий добил вопящего от боли врага, нырнул вниз, широким взмахом подрубая ноги, тут же резко выпрямился и кинулся вперед. По телу шаркнули сразу два клинка, окончательно раздирая зипун, но Басарга прорвался врагам за спины, уколол одного, другого. Кто-то попытался повернуться к нему – и холопы тут же раздробили бедолаге затылок, двое других продолжили отбиваться от слуг, придвигаясь к стене, пытаясь прижаться к ней. Боярин Леонтьев успел подрезать загривок одному, второму в щит всадили кирки холопы, отдернули…

Снаружи загрохотали выстрелы, от двери полетела щепа. Разбойники, оказавшись на удивление хорошо снаряженными, дробили пищальными выстрелами запорный брус и створки над подпятниками, пули рикошетили от пола и стен, выбивая кирпичную крошку. Стало ясно, что вскоре дверь упадет и воины окажутся в тесном коридоре впятером против толпы разбойников. Причем сильно рискуют оказаться к тому моменту раненными из-за беспорядочно летящего внутрь дроба.

– Щиты забирайте, и отходим, – приказал Басарга. – Ввосьмером шансов больше…

Холопы вслед за ним добежали до церкви, захлопнули двери. Здесь, по сравнению с коридором, было светло: чуть не перед каждым образом горел светильник, а перед иными стояло по нескольку ярких восковых свечей. Матушка-игуменья стояла на коленях, истово молясь. Бояре стояли чуть в отдалении, не решаясь оставить пойманную с поличным изменницу одну.

– Что там? – с тревогой спросил Тимофей Заболоцкий.

– Татары, – кратко выдохнул Басарга, показывая окровавленную саблю. – Напротив двери не стойте. Могут из пищали сквозь створки пальнуть.

Боярин будто в воду смотрел: не прошло и четверти часа, как снаружи послышался грохот. Дверь задрожала, с хрустом отбросила кованые пластины петель, на которых была подвешена, и повалилась в сторону. В храм вкатилось белое облако порохового дыма, из которого, словно бесы, выскакивали воины в стеганых халатах и лохматых меховых шапках, с круглыми щитами и кривыми саблями.

Клинки скрестились, церковь наполнилась звоном стали.

Басарга отвел направленный в голову укол, рубанул сам, попав по ловко подставленнному щиту, нырнул, кольнул в ноги, на этот раз промахнувшись, откатился, едва не пропустив удар по шее, вскочил и… Не обнаружил противника.

Громко крича: «Аллах акбар!» – татары убегали по коридору.

– Что за бесовство басурманское? – в недоумении огляделся боярин Илья. – Я токмо во вкус войти успел!

– Спужались, что ли? – разделил его удивление могучий Тимофей Заболоцкий. – Так их вроде как втрое супротив нашего было…

– Басарга! – громко окликнул подьячего Софоний. – Игуменья!

Старушка-настоятельница лежала у алтаря, и из груди у нее торчали сразу три трехперых татарских стрелы.

– Сдается мне, друже, все еще хуже, нежели мы надеялись, – перекрестился над погибшей боярин Зорин. – Похоже, Никола Салос изо Пскова не из беспокойства за государя приходил, а с угрозами. Блаженного ведь даже царь тронуть не посмеет, сказывать может все, что заблагорассудится.

– Ты это о чем, Софоний? – не понял его Тимофей Заболоцкий.

– Ныне так выходит, друже, – ответил московский боярин, – что о наличии у государя нашего старшего брата, живого и здорового, мы знаем в точности. А вот где он, кто его укрывает, что заговорщики замысливают, нам неведомо. И расспросить о том уже некого, ибо единственную свидетельницу у нас на глазах татары порешили. Не обрадуется таким вестям государь наш Иоанн Васильевич. Ох не обрадуется…

Война школ

За окном многоэтажки царил непроглядный мрак. В домах напротив светились лишь редкие отдельные кухоньки и комнатки, да фонари во дворе горели с экономным промежутком в один на три отключенных. Шесть утра. Для Москвы – поздний-поздний вечер, когда праздные горожане, наконец-то угомонившись, все же укладываются спать, а горожане работящие еще досматривают последние сны перед торжествующим звоном будильника.

Именно в этот час Женю Леонтьева и посещали его, к счастью редкие, «вещие» сны, практически неизменно завершающиеся смертоубийством. И обратно в постель молодому человеку после этого, понятно, уже не хотелось.

– Держи, – поставила перед ним полную кружку Катерина. – Дерябнем по кофейку, раз уж подъем у нас случился. Заметь, кстати, до чего удобно иметь квартирантку вроде меня. И совет умный завсегда дам, и завтраком накормлю, и посуду помою. Так что давай решайся, бухгалтер. С тебя – жратва и койка, с меня – информация. Заметано?

– Кота в мешке продаешь, – покачал головой Женя. Хотя от кофе, конечно, не отказался. – Сперва скажи, чего там тебя осенило? Тогда и подумаем.

– Хочешь скачать интеллектуальную собственность на халяву?

– Могу не скачивать, – пожал плечами Леонтьев и кивнул в сторону коридора: – Выход там.

– Ты шантажист!

– Нет. Всего лишь бывалый бухгалтер. Не люблю платить за воздух.

– Не жмоться! Тебя-то ведь шлепнуть могут!

– Тебя тоже, – ухмыльнулся Женя. – Забыла, что мы теперь в одной лодке? Так что давай колись. Или дальше будем каждый за себя.

– Ну ты вымогатель… – почесала кулаком нос девушка. – Ты ведь все равно не поймешь половины того, что рассказываю!

– А ты попробуй!

– Да я пытаюсь… Только не знаю толком, с чего начать. По уму ведь надо, чтобы с самого начала. Да только тогда разговор на несколько лет растянется… Ладно, попробую провести укороченный курс для смертников. Значится, так… В справочнике для нищих, почему-то называемом учебником, все реформаторы прошлого обычно описываются как дегенераты, творящие невесть

что. Хотя на самом деле многие из них построили то, на что у современных политиков мозгов не хватает. Иезуиты, например, придумали и активно пользовали оружие, которое нынешние правители тупо не замечают.

– Интересно, какое? – прихлебнул кофе молодой человек.

– Образование… – мило улыбнулась девушка. – Вот ты, например, знаешь, что в Средние века христианам категорически запрещалось-то читать Библию? Нет? В постановлении Собора в Безье от тысяча двести сорок шестого года Библию запрещено иметь и мирянам, и священникам, причем даже на латыни, а за попытку ее перевести можно было загреметь на каторгу. Православным, кстати, читать ее тоже воспрещается. Любое толкование слова Божьего допускалось только священниками. Суть же Реформации заключалась в том, что священникам в этом праве отказывалось. Лютеране провозгласили долгом каждого христианина самому прочитать слово Божие. И что это значит?

– Что? – переспросил Женя.

– Чтобы прочитать Библию самому, человек должен быть грамотным, бухгалтер! – провозгласила Катя. – Протестантство, по сути своей, одним из религиозных требований выставляло обязательную грамотность. Ты понимаешь, что это означает? Поголовная грамотность всего населения! Когда тебя учили, что промышленная революция стала следствием развития каких-то там экономических сил, – это полное фуфло. Она стала следствием всеобщей грамотности на протяжении нескольких поколений. И центром революции оказалась Англия. Именно та страна, где протестантство стало госрелигией. А католическая Испания, например, при всей своей развитости очутилась в пролете. Если ты посмотришь на уровень развития науки в странах Средневековья, то сразу заметишь, что ее уровень четко соответствует количеству протестантов в обществе. Чем их больше, тем раньше развивается промышленность и наука.

– Только при чем тут Россия?

– Подожди, давай по порядку, – попросила девушка. – Итак, Реформация в Европе побеждала. В немалой степени благодаря широкому доступу к образованию. И в Римской курии все это отлично понимали. Поэтому создаваемый новый орден затачивается четко и конкретно как действенное оружие борьбы с инакомыслием и инструмент для завоевания власти во всем мире. Иезуиты, само собой, и травили, и убивали, и обманывали, и воровали. Но главным было не это. Этот орден создавался как система для промывания мозгов у покоряемых народов.

– Как интересно! – хмыкнул Леонтьев. – И многим «промыли»?

– Испытательным полигоном для ордена иезуитов стала Польша, – продолжила свой рассказ Катерина. – К концу шестнадцатого века католичество в ней практически умерло, в протестантство ударились и стар и млад, начиная от крестьян с ремесленниками и заканчивая магнатами и королевским сыном. Апофеозом катастрофы стал переход в лютеранство киевского епископа Николая, так что катиться дальше было уже некуда… Вот туда-то воинов новорожденного ордена на боевое крещение и кинули. Через двадцать лет католичество в Польше возродилось и расцвело столь пышным цветом, что ляхи по сей день остаются чуть не самыми ярыми католиками на планете, а православные иерархи пришли к иезуитам на поклон и согласились на позорную унию, по прозвищу Брестская. Всего двадцать лет! Одного поколения не прошло, а иезуиты по факту завоевали целую страну, которую по сей день используют как главный русофобский таран.

– Черт! – Женя поморщился, пожал плечами. – Проверить не могу, придется поверить на слово. И как же они это сделали? С помощью колдовства?

– Проповеди, пышные богослужения, общедоступные больницы, но самое главное – бесплатные гимназии, университеты и школы. Школы с высочайшим уровнем преподавания, в которые мог поступить любой желающий, школы с высочайшим уровнем веротерпимости. Они принимали к себе хоть протестантов, хоть православных, хоть даже язычников и не требовали менять веры.

– Как это? – не поверил своим ушам молодой человек.

– А зачем? Иезуиты первыми сообразили, что ласковое слово эффективнее угрозы. Проведя несколько лет в школах, насквозь пропитанных католичеством, изучая науки, пропитанные католичеством, участвуя в религиозных диспутах, в которых неизменно побеждали католики, ученики в большинстве не только сами обращались в папскую веру, но убеждали в такой необходимости своих родственников. По свидетельству современников, порою поляки и литовцы принимали крещение целыми селениями, отказываясь и от лютеранства, и от православия. А вот теперь вернемся к нашим баранам.

– Надеюсь, ты намекаешь не на меня?

– Увы, в этот раз больше всех опростоволосилась я, – поморщилась девушка. – Меня слишком заворожил убрус, и я думала только о нем, забыв про главное оружие иезуитов. Про школы! Тебя пытались убить из-за таинственной школы возрастом в сотни лет, верно? Каждый раз, когда мы пытались поймать ее за хвост, выяснялось, что в эпоху иезуитов монастыри

с этими школами уничтожались, верно? Но ведь это могло происходить вовсе не потому, что орден гонялся-то за убрусом. Иезуиты от него, конечно, не отказались бы. Но главным был вовсе не он. Орден пытался захватить Российскую империю. Чужие школы мешали ему привлекать учеников в свои. И он пытался эти школы уничтожить. Это была война, настоящая. Только война не ружей, пушек и копий, а война школ. Война, в которой сама императрица выступала на стороне завоевателей. И судя по тому, что мы все еще не католики, в этой войне победили именно мы.

– Ч-черт! – отставил чашку Леонтьев. – Похоже на правду… Наверное, убрус стал для них всего лишь побочным призом. Который, впрочем, они все равно не получили. Но только почему в меня стреляли? А подвешивали над костром? Похищали из гостиницы?

– Допустим то, что про убрус иезуиты узнали случайно, уже попав в Россию, – отмахнулась девушка. – Просто теперь уже никак не могут успокоиться. Забудь на время про орден, Женя! Давай вернемся к школам. В начале девятнадцатого века иезуитов запрещают, война школ заканчивается. Но вот что интересно: из закрытых орденом монастырей восстанавливается всего один. Все остальные открыты только сейчас, в наше время. Как думаешь, почему?

– Учитывая то, как храбро они стреляют в сотрудников Счетной палаты? – Молодой человек пожал плечами. – Надо полагать, древняя тайная организация набрала силу?

– Именно! – обрадовалась Катя. – Они обрели власть и начали восстанавливать свои заброшенные веками назад святыни.

– Вообще-то я пошутил, – усмехнулся Женя.

– А я – нет! – воскликнула девушка.

– Тише, маму разбудишь! – вскинул палец к губам Леонтьев.

– Извини. – Катерина допила кофе и поднялась, поставила чашку в раковину. – Раз тебе неинтересно… Тогда я спать.

– После кофе?

Девушка молча пошла в комнату.

– Постой, подожди! – вскочил молодой человек. – Катя, не сердись. Ну, трудно мне всерьез относиться к побасенкам про древние тайные ордены. Даже когда ребята из этих контор в меня стреляют. Уж очень все это попахивает дешевыми голливудскими ужастиками.

– В тебя так часто стреляют, что ты можешь с этим шутить? – остановилась она.

– Пару раз в год, не считая обычного размахивания стволом перед носом.

– Правда? – Брови девушки заметно дернулись вверх.

– Странно, что тебя это удивляет, – пожал плечами Леонтьев. – Ты же знаешь, кем я работаю.

– А-а, ну да, – усмехнулась Катя. – Ты бухгалтер.

– Именно. Так что за идея тебя посетила?

– Очень простая. Если закрытые иезуитами «учебные» монастыри восстанавливают сейчас, то достаточно найти людей или контору, связанную с ними со всеми, и ты получишь ответ на вопрос, кто сегодня является наследником древнего ордена.

– Логично, – после короткого размышления согласился Леонтьев. – Даже странно, почему такая простая мысль не пришла нам в головы раньше?

– Не такая простая. Имена учредителей, спонсоров, членов опекунских советов в инет выкладывают нечасто. Боюсь, чтобы их получить, придется кое-где показать корочки сотрудника Счетной палаты.

– О-о! Мисс Всезнайка не может обойтись без моей помощи, – ухмыльнулся молодой человек. – Вот только зачем тогда она мне нужна?

– Если «мисс Всезнайка» отвалит, то ты не будешь знать, какими именно монастырями интересоваться, – парировала девушка.

– Один-один, – со вздохом признал Женя. – Придется терпеть тебя дальше. Однако можешь не радоваться. События явно перетекают из прошлого в современность. А здесь я вполне смогу обойтись и без тебя.

– Не говори «гоп», бухгалтер, пока до сути не добрался. У нашего прошлого есть одна очень забавная черта. Это его полная непредсказуемость.

* * *

– Сыск мы провели на скорую руку, государь, ибо к тебе с вестями торопились. Может статься, оттого никаких следов татар оных и не нашли, – повинился Басарга. – Снег свежий округ обители и вдоль дороги к ней нетронут. На трактах, в Суздаль ведущих, чужих воинов путники не видели. Раненых и убитых всех с собою они унесли. Откуда взялись, куда сгинули, неведомо… По следам выходит, что из города пришли, больше неоткуда. Да токмо откуда в Суздале татары? Может статься, губной староста чего выведает, отпишется… В монастыре же душегубы сии шестнадцать людей порешили. Богомольцев девятерых да семь инокинь, самых старших. Молодух, как ни

странно, беда сия миновала. Токмо оглушили иных…

– Токмо тех, выходит, били, кто тайну спасения царевича выдать мог? – остановил боярина Иоанн, в этот раз вышедший к подьячему в белой шелковой рубахе, опоясанной атласным кушаком. Похоже, Басарга застал его во время какого-то домашнего развлечения. Однако встречи со слугой Иоанн все равно откладывать не стал. Теперь же царю и вовсе стало не до веселья. Он кругами ходил по тесной светелке, заставленной сундуками, то начиная оглаживать свою бороду, то вдруг принимаясь истово креститься. В голове царя явно вились какие-то мысли, однако высказывать их вслух правитель всея Руси не спешил.

– Может статься, блаженного псковского подробнее расспросить? – не выдержал затянувшегося молчания Басарга.

– Он, что знал, уже высказал, – резко остановился Иоанн. – О том, что коли не смирю я гордыни и деятельности своей, явится брат мой старший и все роды княжеские и бояре знатные его право на стол признают. Посему не править я должен во славу веры и державы русской, в силу разумения своего, а князьям верным псом служить. Не указывать, а слушать, не для отчины величия добиваться, а вольницу боярскую покрывать… Каковы они, князья мои верные, ты ныне сам знаешь. Был у меня брат старший – ан не захотели его на стол, ибо власть твердая родов сильных и древних за ним стояла. Меня захотели, дабы игрушкой малолетней забавляться. – Иоанн медленно покачал головой. – Не прощу, не забуду детства своего сиротского, вечеров темных и голодных, нянек сосланных, постелей грязных. Ровно не князем я был великим, а нищетой подзаборной. А ныне, вишь, как силу обрел, так князья и о старшинстве меж братьев вспомнили! Не хотят службы нести, хотят вольницей пробавляться! Что же… Коли князья служить не желают, без них тогда обойдемся, иных слуг у земли русской себе испросим!

Государь, крепко сжав кулак, подошел к Басарге. В задумчивости поджал губы. Подьячий, пряча тревогу, опустил голову. Слова Софония о слишком опасной тайне не шли из его памяти.

– Надо бы брата моего сыскать, боярин. Нехорошо, когда заговорщики подлые с ним якшаются, а я токмо слухами о родиче столь близком питаюсь.

– Сделаю все возможное, государь. – Полученный приказ развеял тревогу без следа. Слуга, знающий опасную тайну, был нужен царю живым, дабы исполнять поручения, с этой тайной связанные.

– Постой! – вскинул палец Иоанн. – Ты ведь не един в обитель

Покровскую ездил, при тебе завсегда друзья твои держатся? Опасаюсь я, неверно вы волю мою истолковать способны… Слушай меня, запомни и друзьям своим передай. Кровь царскую проливать никому недопустимо!!! – Государь ненадолго замолчал, словно подчеркивая важность сих слов, и продолжил: – Коли смерти брату своему пожелаю, стало быть, и к себе подобное допускаю. А то, что он старший и прав на престол больше имеет… Так на все Божья воля. Захочет властитель небесный моего ухода, даст на то знак ясный. Не захочет – мы его волю понять сможем, не ошибемся. Теперь все, ступай.

Домой подьячий мчался как на крыльях. С плеч боярина упала огромная тяжесть, и он спешил сообщить друзьям, что им ничего не угрожает.

– Иоанн желает найти своего брата, – первым делом сказал подьячий, входя в дом и расстегивая пояс. – Причем найти живым и здоровым. Броню под одеждой можно больше не носить. Наших ртов никто затыкать не станет.

– Тебе лучше снять ее прямо сейчас, – поднял голову Софоний, отвлекаясь от просмотра желтого пергаментного свитка.

– Да? – кинул зипун на лавку боярин. – Отчего же? Мне обещали особую защиту?

– Еще какую, – подмигнул ему Илья.

– Сними кольчугу и поднимись чуть выше, – посоветовал Тимофей Заболоцкий, указав глазами на потолок.

Таинственность друзей имела обратный результат. Окинув их быстрым взглядом, боярин Леонтьев подхватил пояс с оружием – так что ножны сабли оказались в левом кулаке, а ее рукоять удобно ложилась в правую, – быстро и бесшумно поднялся по ступеням, осторожно толкнул дверь в свои покои и оказался за спиной женщины, надевающей бархатное платье. Точнее – успевшей раздеться и только поднявшей перед собой юбку, примеряясь к поясным завязкам.

– Мирослава?! – не поверил своим глазам боярин.

– Басарга! – Княжна, бросив одежду, кинулась к нему, попыталась обнять, но тут же вскрикнула и отскочила: – Ой, ты весь царапаешься!

– Сейчас, сейчас… – Боярин отбросил пояс с оружием, стал расстегивать крючки бриганты, усыпанной снаружи золочеными клепками, кое-как стащил жесткое одеяние через голову, взялся за поддоспешник.

Женщина немного подождала, потом рассмеялась и отступила:

– Не спеши. У нас будет еще много времени. Мне по-

прежнему никуда не спастись из твоих объятий.

– А разве ты этого хочешь? – Басарга наконец-то избавился и от поддоспешника, оставшись в одной рубашке… Не считая, конечно же, меховых штанов, подштанников, сапог, портянок… В общем – еще на несколько минут раздевания.

– Конечно, нет. – Женщина подошла, закинула руки ему за шею и крепко поцеловала. – Я готова оставаться в твоих руках всю оставшуюся жизнь и держать тебя за ладонь после смерти. Но оставаться одной так тоскливо… Ты уезжаешь, и становится темно и пусто. Не с кем не перемолвиться, никаких вестей не узнать. Иногда мне казалось, что я способна заключить сделку с дьяволом, лишь бы снова оказаться среди царского двора, слушать новости из первых рук, принимать поклоны князей, стоять в свите на царском пиру…

Басарга прикусил губу.

Мирослава, ответившая на его любовь, вопреки своему княжескому происхождению сбежавшая с ним из монастыря, где готовилась к постригу, отказавшаяся ради него от родни, скрывшаяся с ним в поважских лесах, родившая ему нескольких детей… Если люди узнают хоть малую частицу из ее проступков… Да что там: если ее просто узнают – она будет опозорена, повязана и упечена родичами в самый дальний скит в самой дальней глухомани.

Но она все равно приехала в Москву. Видать, и верно вконец обезумела со скуки.

– Как же ты добралась?

– Ну, не так я беспомощна, как тебе кажется, – улыбнулась княжна, проведя ладонью по его бороде, и боярин невольно попытался прижаться к теплым пальцам щекой. – Вот только девку твою, прости, увела. Ту, что ты ко мне после смерти няньки приставил. И сани. Те самые, на которых ты меня из Горицкой обители украл.

– Ты же не от меня сбежала, а ко мне, – тихо ответил Басарга.

– К тебе… – внимательно посмотрела ему в глаза Мирослава. – Как-то утром на крыльцо вышла, а там к приюту детскому, что ты отстроил, книжница спешит. Умная, скажу тебе, баба, хоть и простолюдинка. И грамоту разумеет, и счет, и о землях разных ведает. Хорошо детей учит. Мне и то такой воспитательницы не досталось. Из монастыря двое иноков ратному делу обучают и вере правильной. Староста наш Турум-Бурум – делам хозяйственным… Спокойна я стала за детей, умными и храбрыми вырастут. И вдруг такая тоска меня смертная взяла, что никому я в сей глухомани не надобна, попусту жизнь свою сжигаю, что не стерпела…

– Я люблю тебя, сокровище мое, – ответил на ее немой вопрос боярин Леонтьев. – Всегда бы тебя при себе держал, кабы мог. Да токмо сие не в воле моей…

– Когда воля общая, то и получится.

– Как же ты по Москве ходить будешь? Ведь узнают!

– Да забыли все обо мне давно, – небрежно пожала княжна плечами. – Не ищут. Ну, и кутаться стану получше. Пока мороз на улице, то лицом в платке никого не удивить. А к лету ты чего-нибудь измыслишь, верно?

– Верно, – завороженно кивнул боярин.

– Как же хорошо, когда ты рядом, – наклонившись вперед, прошептала ему Мирослава. – Вижу тебя – и счастлива.

– Несу, матушка… – Слова оборвались в дверях испуганным писком.

Басарга оглянулся и никого не увидел.

– Не бойся, Горюшка, – громко окликнула служанку княжна. – Боярин не сердится.

– Прости, батюшка, за своевольство, – заглянула в дверь девка, все еще не решаясь войти. – Я вот румяна принесла. Хозяйка за румянами отослала.

Имя девчонка получила не за то, что приносила горе, а за угольно-черные волосы. Поначалу дразнили просто «горелой», но прозвище оказалось уж очень неудобным и быстро превратилось в Горюшку. Имя же крещеное, как то очень часто случалось, она и сама позабыла.

– Опоздала, – сказала Мирослава. – Застал меня боярин ненакрашенной.

– Ты без румян только прекраснее, – успокоил ее Басарга.

– Надеюсь, ты не осерчаешь, любый, если я немного попорчусь для посторонних? – улыбнулась княжна. – К столу хочу выйти одетой как положено. Твои друзья ведь здесь, с тобою живут?

– Да, у них у каждого светелки есть чуть выше, – признал Басарга.

Судя по тому, как решительно Мирослава собиралась присутствовать на ужине с боярами, она твердо вознамерилась выйти в свет. Того, что о ее возвращении кто-то проболтается, явно не опасалась. Мчалась вперед очертя голову, ровно конница на вражеские пики. Главное – ударить. А уж там – будь что будет.

Насиделась взаперти. Затворничество теперь казалось для нее страшнее позора…

* * *

Любовники напрасно обещали друг другу, что теперь не станут более расставаться. Уже через неделю после приезда Мирославы в Москву государь вызвал всех четверых побратимов в Александровскую слободу. И, как оказалось, не их одних. В обширной, комфортной и богатой царской загородной резиденции[9] собралось больше трех сотен крепких молодых бояр – причем большинство были худородными и успели хорошо проявить себя в походах.

В конце декабря сюда приехал и сам государь. Отстояв поутру службу, Иоанн первым подошел к причастию, а приняв его – обратился собравшимся в храме воинам:

– Слушайте меня, бояре! В сей трудный час вручаю вам свою судьбу и судьбу державы нашей! Готовы ли вы ныне отдать животы свои за меня, за отчину мою и право на престол в битве супротив ворога, не знающего ни чести, ни совести? Там, за стенами крепости Александровской, есть немало людей знатных, что хотят изгнания моего, предают общую державу нашу, ищут лишь себе обогащения и утех, не желая службы на благо общее. Ложь и богохульство их оружие! В предательстве набирают они силу свою! Сии псы неблагодарные захотят помутить и души, и разум ваш обманными клятвами, уверят в пришествии иных, истинных правителей, сошлются на древность родов своих и тем захотят сыскать вашего доверия. Сим вопрошаю вас, бояре: готовы ли вы принять муку смертную, полагаясь лишь слову моему, готовы ли отказать в вере всем, кроме меня и воевод моих? Готовы ли отречься от друзей, родичей своих, от таинств церковных из рук священников из храмов иных, кроме нашего? Готовы ли ради служения мне, помазаннику Божьему, и державе нашей отринуть мир прочий, замкнув жизнь свою в стенах братства общего?! Загляните в душу свою и ответьте твердо, ибо для всех, кто решится дать клятву верности, закроются в сей час двери крепости, и лишь мы станем семьей его, и лишь служба честная станет смыслом его жизни. Час один отвожу всем вам на размышление. Лишь час будут открыты врата, оставляя путь в мир прежний для тех, кто не готов к самоотречению. Для тех, кто останется, врата закроются навсегда, отныне и до смертного часа. И да укрепит Господь вашу волю!

Иоанн размашисто осенил себя знамением и через толпу торопливо расступающихся бояр вышел из храма.

Из всех воинов только побратимы по Арской башне догадывались, что именно происходит, на что намекает государь и к чему готовит воинов. Если знатные заговорщики, призвав старшего брата Иоанна, попытаются устроить переворот – боярам из Александровской слободы придется услышать немало

неожиданного. Вполне может случиться, что и выдержать осаду тех, кто станет называть себя служителями истинного царя.

Остальные воины знали лишь то, что услышали… И к их чести, несмотря на странности в речи Иоанна, предпочли сохранить ему верность. В течение часа ни один человек так и не вышел через распахнутые для трусов ворота.

А затем створки затворились.

Третьего января Иоанн объявил о своем отречении от престола. В разосланных государем письмах открывалась правда об измене среди знати, об их желании извести своего господина и о нежелании помазанника Божьего править подобными подданными. Отдельными письмами к простому люду Иоанн сообщал, что на них зла не держит и в их честности не сомневается.

Это был поступок, неожиданный для заговорщиков. Как бы ни желали они убрать с престола излишне сильного и волевого царя, но сделать это в день, назначенный самим Иоанном, были не готовы. Хотя бы потому, что для провозглашения нового правителя его нужно было доставить, показать народу и доказать его права на престол. Между тем, знать надеялась на испуг и смирность Иоанна, а вовсе не на его бунт, не на новое своевольство.

Царь разломал заговор, даже не зная его участников и их планов. Уже через два дня в Александровскую слободу приехали князья и думные бояре во главе с архиепископом Пименом, чтобы позвать Иоанна обратно на престол. Другого царя у знати не нашлось – а народ, к которому государь обратился сам, напрямую, уже забеспокоился, угрожая покарать изменников своими собственными руками.

К «простому люду» недвусмысленно примкнули стрельцы, что набирались также из низов. Несколько полков бывалых воинов с пушками и пищалями холопьей плетью не разгонишь, они и сабли с рогатиной не испугаются, а в сече еще неведомо, кто верх одержит. Сражаться стрельцы умели – даром что из безродных. Может статься, только потому крови и не пролилось – думные бояре предпочли биться на переговорах, оговаривая свои привилегии и нехотя признавая царские.

К февралю все закончилось – Иоанн вернулся в столицу, истребовав себе право на свою собственную армию, свой особый двор, свои отдельные земли, в которых мог бы править по собственному разумению, не считаясь с прежними обычаями. Назначать слуг, наместников и воевод, не считаясь с их знатностью, наследными правами и мнением думы. Теперь, даже устроив успешный переворот, князья могли привлечь на свою

сторону только часть войск, часть земель, часть двора… Личная армия, личный двор и личные земли государя останутся верными Иоанну в любом случае. Да еще и среди земства у правителя оставалось немало сторонников…

Надежды на успех переворота растаяли словно дым – и для этого не пришлось никого пытать и никого казнить. Даже имен своих врагов Иоанн не узнал – так и разгромил безымянными.

Большинство молодых бояр, ставших на время опасного противостояния личной ратью государя, так и не поняли тайной подоплеки произошедшего. Услышать же благодарность из уст царя довелось и вовсе только четверым.

– Боярин Зорин, боярин Булданин, боярин Заболоцкий, боярин Леонтьев, – назвал каждого по имени Иоанн, останавливаясь и с интересом оглядывая с ног до головы. – Храбрые витязи, честные слуги. Счастье мое, что такие воины охраняют мой трон и мою землю. За службу вашу награждаю вас золотом и шубами со своего плеча, дабы каждый по сему одеянию увидеть мог личную мою вам благодарность. Однако к делу. Знаете вы о тревогах моих зело более остальных и потому поручение получите соответственно знанию. Мне больше не нужно опасаться заговора. Однако же я все равно желаю найти своего брата! Хочу, чтобы он жил при моем дворе, а не на чужбине. Хочу советоваться с ним, стоять рядом с ним в церкви, сидеть за одним столом. Надеюсь на ваше усердие, бояре. И… прошу выпить за мое здоровие!

Последнее пожелание сопровождалось увесистым кошелем, легшим в руку царского подьячего.

Золото позволило боярам устроить хорошую пирушку и поправить свои денежные дела – однако не могло подсказать, как именно найти царского старшего брата. Мучительные раздумья боярина заметила даже Мирослава, лежа рядом в постели и целуя пальцы его руки:

– Что, любимый мой, невесел, что ты голову повесил?

– Царь дал поручение, которое я не в силах исполнить.

– Какое?

Басарга колебался недолго. Тайна Иоанна была велика… Но что за смысл хранить секрет даже от любимой, если о нем все равно знают столь многие, от псковского юродивого до князей-заговорщиков?

– Я должен найти сводного брата государя, – признался боярин.

– Сына Соломонии Сабуровой?

– Ты о нем знаешь?! – вскинулся Басарга.

– Забавный ты, – улыбнулась княжна. – Если у великого князя

Василия было всего две жены, то чей сын может быть сводным братом для ребенка второй супруги?

– Да… И правда… – признал Басарга и продолжил: – Игуменья Васса сказала перед смертью, что княгиня Соломония отправила его к родичам в Крым.

– Тогда многие бежали в Крым от царского гнева, – откинулась на спину Мирослава. – Когда великая княгиня Елена, мать государя, к власти пришла, головы горохом покатились. Василий перед кончиной совет боярский назначил, дабы воспитанием сына его занимались, государством помогали управлять, о вдове заботились… С них Елена казни и начала. Направо и налево рубила, даже собственного дядюшку, Михаила Львовича, не пожалев. Следующими братья ее покойного дядьки стали, князья Поджогин и Путятин. Вот тогда очень многие в Крым отъезжать и поспешили. Кто-то спасся, но мой дед и его брат не успели…

– Извини, я не знал…

– Ты не бойся, Иоанну в то время всего три годика исполнилось, посему на него никто зла не держит. А княгиню Елену через четыре года отравили, и никто о ней не жалел. Однако же из Крыма иные бояре так и не вернулись. Монахиню Софию, в миру Соломонию, Елена тоже сослала… Не помню, куда[10]. Посему, полагаю, за сына инокиня опасалась правильно.

– Ты знаешь, как его можно найти?

– Это совсем нетрудно. – Княжна перекатилась на живот. – Скажи Иоанну: если я снова стану кравчей, то разыщу его брата с легкостью.

– Как?

– Инокиня объяснила вам, где его искать, во всех подробностях. – Мирослава сладко потянулась и снова откинулась на спину. – Достаточно лишь немного подумать, и сам догадаешься…

* * *

Вырвав у знати согласие на собственный, опричный, двор, земли и армию, первым делом государь начал «перебирать людишек», призывая к себе на службу лучших из лучших, достойнейших из достойных: образованных, храбрых, преданных. И впервые в истории Руси эти достоинства стали куда более важными, нежели происхождение. По разным городам и весям помчались отряды доверенных слуг, что останавливались в приказных избах, созывали местных боярских детей, осматривали

их, старательно выспрашивали – что знает, о чем мыслит, чего желает? После чего иные получали предложение вступить в «избранную тысячу», иные оставлялись жить прежним порядком, а иные получали тяжелый кошель с серебром в качестве платы за удел – и отправлялись в земские земли, где могли жить привычным порядком и не мутить соседей недовольством деяниями царя Иоанна.

Басарга Леонтьев и его друзья носились по стране, примыкая то к одному, то к другому из таких отрядов, и тоже выспрашивали, проверяли родословные, испытывали молодых воинов на умение держать в руках саблю и читать, знать псалтырь или радеть об интересах русского царства – после чего неожиданно бросали одну комиссию и мчались в иные земли и уделы, чтобы примкнуть к другой.

Со стороны, наверное, казалось, что они обезумели и сами не знают, чего хотят, – однако дело свое побратимы вершили по тщательно обдуманному плану….

В середине июня струг подьячего Басарги Леонтьева приткнулся к берегу Волги близ Костромы, в которой «перебирал людишек» боярин Темеш Бастанов со товарищи. Оставив лодку на попечение холопов, бояре поднялись в вознесенный на высоком холме кремль, срубленный из толстых, полутораобхватных елей. Стены крепости успели потемнеть от времени, и потому новенький белоснежный Успенский собор[11] смотрелся над ним особенно ярко.

Впрочем, побратимы торопились не в церковь. Перекрестившись на золотые кресты храма, они направились в крытую тесом, высокую и просторную приказную избу[12], стоявшую аккурат под самой звонницей.

Присланные опричники поселились прямо в ней, выставив охрану и прибрав себе под руку воеводскую конюшню, – однако Басаргу боярские дети узнали еще до того, как тот успел показать грамоту с царской печатью, и пропустили внутрь.

Засидевшиеся в лодке побратимы легко взбежали на второй этаж, решительно распахнули двери воеводских палат:

– Здрав будь, боярин! – кивнул вскочившему воину Басарга. – Прости, коли от дел государевых отвлекаем, однако же Иоанн Васильевич узнать желает, как поручение его исполняется и когда бояре избранные ко двору царскому явятся?

– Готовы уже списки, подьячий. Завтра отослать на утверждение царское полагал, – оскалился в усмешке опричник.

Боярин Темеш Бастанов был невысок, но широкоплеч, даже кряжист. Густая курчавая борода, крепкие белые зубы и широкие брови над голубыми глазами выдавали отменное здоровье;

большие ладони больше подходили для работы рогатиной, а не пером, длинный синий кафтан с высоким воротником, скромно украшенный всего двумя алыми атласными вошвами на груди, указывали на хороший вкус. Никакой робости перед царским посланником боярин тоже не выказал, головы не опустил.

– Сам местных помещиков проверял? – поинтересовался Басарга. – Али сотоварищам доверил?

– С каждым боярином словом перемолвиться года не хватит, – покачал головой опричник. – Токмо с теми беседовал, коих сотоварищи достойными сочли. Иных и не пропустил.

– С Годуновыми говорил? – спросил Софоний Зорин, обходя стол и заглядывая в лежащий на нем список.

– Это с каковыми? Братьями Дмитрием и Федором, кои худородными из худородных значатся? – проявил достойную осведомленность Темеш Бастанов. Ни в какие бумаги не заглядывал, с ходу по памяти ответил. – На этих двоих даже сотоварищи времени тратить не стали.

– Нешто столь худородны? – вкрадчиво поинтересовался боярин Софоний и стрельнул быстрым взглядом на побратимов. Тимофей Заболоцкий и Илья Булданин затворили дверь и встали перед ней, передвинув пояса рукоятями сабель вперед.

– Выродились Годуновы, подьячий. – Темеш Бастанов свернул грамоту, пряча список от глаз излишне любопытного гостя. – Во времена Дмитрия Зерна богатый род, знамо, был. Однако же, сам понимаешь, с каждым поколением земли наследные дробились. Коли у отца три сына вырастает, каждый втрое беднее родителя в итоге становится. По тому обычаю Годуновы столь обнищали, что удела отцовского разделить ужо не смогли. Сам ведаешь, по уложению о службе боярин одного воина со ста чатей[13] выставить обязан. Коли поместье меньше ста чатей выйдет, то какой ты уже боярин? Смерд ты обычный, крестьянин черный, и тягло у тебя крестьянское.

– Так у них что, меньше?

– Больше, – усмехнулся опричник. – Да токмо на троих! Еще у родителей на двоих без малого сто тридцать четвертей было. Посему, как только отец братьев преставился, дядька их к себе в семью взял. Осьмнадцать на троих, как тут ни дели, все едино крестьянская доля выходит. А так весь удел на старике числится. Токмо потому они еще детьми боярскими и записаны.

– Так, может, воины знатные?

– Может, и были знатными. Да токмо годы у них уже не те. А Федор Годунов так и вовсе на левый глаз кривой. Хорош витязь отборный для государя: нищий, слабый и увечный!

– Выходит, из сотоварищей твоих с ними никто и вовсе не

разговаривал? – переспросил Басарга.

– Нет, подьячий. Хватило слова старосты земского. Боярин Путята своих воинов и так всех знает.

– Не обидишься, коли я с ними побеседую?

– Беседуй, коли не лень, – пожал плечами опричник. – Однако же я своим словом за братьев сих не поручусь.

– То на моей совести останется, боярин. Ты токмо в город их призови. Твои посыльные, мыслю, земли здешние ужо изучили?

– День к закату идет, – немного поколебавшись, ответил боярин Бастанов. – Сегодня к ним гонец уже не поспеет. Стало быть, завтра. Пока соберутся, пока приедут… Полагаю, дня три вы, други, можете отдохнуть. А как Годуновы доберутся, велю известить.

Неведомо, что там подумал Темеш Бастанов об интересе примчавшихся в Кострому с особым приказом опричников к роду Годуновых, однако же сообщивший о приезде братьев посыльный привел Басаргу и его товарищей не в приказную избу, а в пыточный погреб, устроенный в угловой башне крепости, неподалеку от поварни и хлева, – чтобы запахи кровавые и крики истязаемых обычному люду не досаждали.

Помещение было небольшим, даже скромным – где-то десять на десять шагов и в две сажени высотой. Три лавки, один стол, пара изрезанных чурбаков да свернутая в углу веревка. Даже кнута не имелось – его, как писарь чернильницу, кат завсегда с собой приносил. Однако же такое место для разговора с московскими боярами братьев Годуновых явно тревожило – хотя на дыбу их никто не вздергивал, токмо обождать на скамье пригласили. И на опричников оба смотрели со страхом – даром что бывалые воины.

Впрочем, линялые, истрепанные кафтаны и стоптанные сапоги, ремни с небольшим замшевым подсумком и всего одним ножом с костяной рукоятью, полотняные шапки… Внешне бояре Годуновы от смердов особо не отличались. Иной зажиточный крестьянин куда лучше одевается. И шапка у него меховая, и ложка в нарядном чехле, и сапоги начищены. А коли день воскресный – так еще и рубахой атласной щегольнет. А здесь… Видать, не любила служба этих захудалых бояр. Ни добычей не радовала, ни жалованьем достаточным. Еле-еле концы сводили.

Федора Басарга узнал по темной повязке на глазу, кивнул его брату на дверь:

– Обожди снаружи, Дмитрий Иванович, дай с младшим твоим словом перемолвиться.

Боярин поднялся, стянул шапку, осенил себя крестным знамением, кашлянул. Но ничего не сказал, вышел из пыточной

на воздух. Тимофей Заболоцкий притворил за ним створку двери, Софоний же спросил:

– Род свой помнишь, Федор Иванович?

– Как же не помнить, боярин? – неуверенно ответил тот. – Отец Иван, дед Григорий, прадед Иван Годун, прапрадед Иван Красный…

– А брата своего прадеда помнишь?

– Как же не помнить? – Боярин несколько приободрился и перестал выглядеть зашуганным смердом. – Федор Сабур, дядька отцу двоюродный, всему роду Сабуровых прародитель. Через него мы самим царям родичи! – Боярин Годунов окончательно развернул плечи, осознав свою знатность. И откуда вдруг взялось столько спеси в нищем удельщике? Непостижимо!

– Это хорошо, что о своем родстве с великой княгиней Соломонией ты помнишь, – присел на край стола Басарга. – Потому как из одного корня вы с нею, всего в трех коленах разошлись. Кровь у вас с нею, почитай, одна, и родичи у вас общие.

– Знамо, близкие! – охотно подтвердил Федор. – Кто же о том не ведает?

– И крымские родичи общие… – подсказал боярин Зорин, подходя ближе.

– А как же! Само… – Федор Годунов запнулся, развернутые было плечи медленно пошли вперед, и он поправился: – Есть и в Крыму родичи, как без того?

– Те самые, к которым княгиня Соломония сына спровадила?

– Ничего о сем не слышал, – мотнул головой боярин, опять поникший, сгорбившийся, ставший меньше ростом и утративший остатки спеси.

– Половина Руси о том сказывает, а ты не ведаешь? – рассмеялся Софоний Зорин. – Получше отговорки не мог придумать?

– До нашей глухомани слухи московские не добредают.

– Посмотри на себя, Федор Иванович! – подошел ближе к Годунову Басарга. – Ты же не просто худородный, ты всему роду своему завершение! О детях своих подумай. Какой удел им оставишь? Чем они кормиться станут, на какой доход в походы снаряжаться, в чем на службу выступать? Ведомо мне, сын у тебя растет, Борис. Сколько ему ныне? Пятнадцать, шестнадцать? Отчего не в новиках? Снарядить не на что? Ну, так скажи мне, боярин, каковую судьбу наследнику своему пророчишь? В смерды, в холопы?

– Запишу я его в книгу разрядную! – вскинулся Годунов. – То не твоя забота! Мой сын, не твой!

– Моя забота другая, – отступил Басарга. – Брата царского в земли отчие возвернуть. И сие я сделаю обязательно. У прародителя вашего, мурзы Чета, семя крепким оказалось, и отпрыски наплодились во множестве. Зерновы, Вельяминовы, Сабуровы, Богдановы, Годуновы… Есть из кого выбрать. Хоть един, да родичей крымских назовет. А мне большего и не надобно. Ты же при сем здесь, в грязи, гнить останешься. И сына свого сгубишь, и род прервешь. А можешь возвыситься!

– Не возьму греха на душу, боярин, – покачал головой Федор. – Не выдам княжича. Кровью невинной род свой марать не стану.

– Да не нужна Иоанну его кровь, – отмахнулся Басарга. – Все, чего государю надобно, так это брата своего из рук поганых вырвать, дабы заговорщики в замыслах своих мерзких его не пользовали. При себе поселит, содержание хорошее выделит, двор достойный… Мы, боярин, люди православные. Нам братьев резать не по чести.

– Не знаю я ничего, боярин! – вскинув голову, решительно отрезал Федор Годунов. – Нечего мне сказать! Хоть на дыбу вешай, хоть железом жги, ничего от меня не проведаешь.

– Ну и дурак ты полный, выходит, – подвел итог Илья Булданин. – За услугу царю великую мог так высоко из худородных вознестись, что князья бы завидовали. А сдохнешь под забором, да еще и сына в черный люд низведешь.

– В грязи телесной вековать станем, но душу в чистоте сохраним.

– Иди с Богом, – махнул рукой Басарга, поняв, что и от этого сабуровского родича ничего не добьется. – Тимофей, Дмитрия покличь. Может, хоть брат умнее окажется.

Второй Годунов, войдя в пыточную, остановился у порога, несколько раз истово перекрестился.

– Под дверью стоял? – ласково поинтересовался Софоний. – Все слышал?

Дмитрий промолчал.

– Коли слышал, так нам меньше мороки, – тяжело вздохнул Басарга. – Устал я уже одно и то же долдонить. Сказывай сразу, боярин, желаешь с князьями знатными вровень твердо встать али тебе милее в грязи сдохнуть?

– Ты сие обещание именем государевым сказываешь али для хвастовства молвишь? – хмуро уточнил боярин Годунов.

Басарга напрягся, переглянулся с Софонием, осторожно уточнил:

– Награды ведь всякие бывают, Дмитрий Иванович… Кому золото мило, кому пост высокий, кому покой да поместье

обширное. Коли служба великая сослужена, оно ведь и выбрать можно, чего по душе больше придется.

– Прямо говори, коли начал, – исподлобья глянул на него Годунов. – Царь желает голову брата сводного получить? От опасного наследника избавиться? Брат-то старший…

– Я полагаю, о брате своем государь скорбеть будет, – тщательно подбирая слова, ответил Софоний. – Но со смертью его смирится. Однако же, коли его живым доставить удастся, то награда куда больше окажется.

– Такой, что князья позавидуют? – снова уточнил боярин.

– Не ходи кругами. Сказывай, чего желаешь? – предложил Басарга.

– С Сабуровыми вровень встать!

– А невеста для государя у тебя есть? – рассмеялся у него за спиной Софоний. – Ты же вроде как бездетный?

– Место хочу при дворе, чтобы по роду Сабуровым впору было! Кравчего, конюшего али постельничего.

– Ох ты! – крякнул от дверей Тимофей Заболоцкий. – Из грязи в князи.

Боярин Леонтьев в задумчивости помолчал.

Запрос у худородного Годунова и вправду был рюриковский, царскому роду под стать. Хотя, если подумать, то и за поручение он брался не простое. Ни одному из Рюриковичей не управиться. Коли управится, государь без сомнения согласится отблагодарить по-царски.

– Коли целым и невредимым доставишь, быть тебе среди первых при дворе, – негромко пообещал Басарга. – Вот те крест, уговорю на сие государя. Голову привезешь – казна золотом откупится. За душегубство Иоанн к себе приближать не станет. Он по совести живет, заветы Божьи чтит.

– А на кресте государь поклянется, что погибели брату не измышляет? На святыне известной, но размером малой, каковую я с собой в Крым забрать смогу?

– Поклянется, – это Басарга мог подтвердить с легкой душой. О том, что брата живым видеть желает, Иоанн говорил ему со всей искренностью.

– Ну, коли так… – Дмитрий Годунов уже в который раз размашисто перекрестился: – Тогда с Богом!

Басаргин правеж

С того дня, как Екатерина появилась в комнате Жени Леонтьева, его родительница старалась встречаться с молодыми людьми как можно реже. Наверное, опасалась спугнуть сыновье счастье. Девушка была права: поведение взрослого чада, которое даже не встречается с женщинами, встревожит любую мать. И когда у ребенка появилась юная подружка – это, конечно, вызвало вздох облегчения. Вот и не вмешивалась, на глаза не попадалась. Только «здрасте», «до свидания», если случайно сталкивалась, – и все.

Поэтому, когда Евгений вернулся домой после проведенного с Катей в «публичке» полного дня и заметил, что мама выглядывает в коридор через приоткрытую дверь и неуверенно мнется, – то сразу понял, что случилось неладное.

– Только не говори, что ты опять купила две трехлитровые банки сахара, приняв его за мед, – попросил Женя.

– Нет, мед я больше не ем, – покачала головой женщина. – Просто тут девочка какая-то заходила, тебя спрашивала. А я ответила, что ты с невестой в библиотеке.

– Ну что вы, мы еще ничего-то не решили, – расплылась в довольной ухмылке Катя, цепко ухватила молодого человека под локоть и положила голову ему на плечо.

– Она вскрикнула и убежала, – вздохнула мама, чуть отступая в глубину комнаты. – Вроде как даже расплакалась.

– Странно, – почесал в затылке Леонтьев. – Не, не знаю. Даже не представляю, кто это может быть? Наверное, адресом ошиблась. Будет тогда кому-то вскоре жестокая выволочка!

Однако, когда он сел за стол и включил компьютер, электронная почта выдала ему такое гневное письмо, что поначалу Евгений даже слегка опешил…

– «Выжига, обманщик и негодяй», – с видимым удовольствием прочитала вслух из-за его плеча Катерина. – Слова-то какие книжные! Сразу видно, образованной девочке голову заморочил, сердцеед. А таким-то тихоней прикидывался! Девочка, себя не жалея, для тебя какую-то податную книгу нашла, на руки привезла, а ты, сволочь, полуженатым оказался…

– Это Полина из Архангельска… – наскоро просмотрев длинное горячее послание, сообразил Женя. – Какого черта ее в Москву понесло? Могла бы просто переслать сканы.

– Надежды девочек питают! – фыркнула Катерина. – Вечно вы, ловеласы столичные, головы нам, провинциалкам, задурите, а опосля-то пользуетесь.

– Ага, – даже оглянулся на нахальную девицу Женя, – особливо ты самая несчастная. Сейчас заплачу. Живешь на всем готовом, книги из клада прибрала, еще и хамишь через день.

– Но ведь не постоянно? – парировала Катя и тяжко вздохнула: – Бедная девочка! Ехать в такую даль, сжимая в хрупких руках драгоценный подарок для любимого, и узнать, что он почти женат! Как мне-то ее жалко.

Искренности в ее голосе, разумеется, не было.

– Не знаю, чего она там себе придумала? – пожал плечами Леонтьев. – Я ей, между прочим, ничего не обещал! Просто нанял для архивных розысков. Пусть пришлет книгу, я переведу деньги ей на карточку…

Он набрал лаконичное вежливое письмо, отправил. Вскоре пришел объемистый ответ.

– Спасибо, хоть не матерно, – опять рассмеялась девушка. – Интересно, у нас что, в поездах теперь бесплатный вай-фай имеется? Судя по всему-то, она сидит в вагоне. Сиречь имеет хорошую связь, очень много обиды и свободного времени.

– Дурдом, – развел руками Женя. – Ей деньги нужны или нет? Иначе какого лешего она тогда время на архивы тратила?

– Похоже, ее интересовало нечто совсем другое, – похлопала его по плечу Катя. – Но после такого жестокого облома ты уже хрена лысого от нее хоть что-то получишь. Обиженная женщина хуже атомной бомбы. Способна только истреблять и уничтожать. Что хоть за книга-то?

– Опричник Басарга Леонтьев отослал ее из Холмогор в Москву, когда на Двину приезжал. Думаю, в ней может найтись что-то интересное. Иначе какой смысл в конфискации?

– Теперь забудь, – посоветовала девушка. – Сканы почти наверняка стерты, флешки отформатированы, адреса сожжены, и скажи спасибо-то, если она до подлинника не доберется. Вполне может сожрать, лишь бы тебе не досталась.

– Я даже не знаю, где она смогла эту книгу раскопать? – поморщился Женя. – Обидно.

– Поделись соображениями. Может, я чего подскажу? Я ведь тоже провинциалка. То есть тоже умная и очень находчивая.

– В том-то и дело, что подсказки я надеялся найти в податной книге, – вздохнул молодой человек. – Если она понадобилась опричнику, значит, в ней найдется что-то интересное и для меня.

– Теперь забудь. Считай, никогда ее и не было.

Однако судьба распорядилась иначе. Через три дня, когда после долгих розысков в Публичной библиотеке Катерина уже успела составить почти полный список уничтоженных екатерининскими иезуитами монастырей, сопоставить его с

восстановленными и когда уже Евгений из своего кабинета в Счетной палате разослал на места запросы о составе попечительских советов по восстановлению обителей и источниках финансирования – на его компьютере появилось электронное письмо из трех частей, «весом» по двадцать мегабайт каждая. Пояснение было лаконичным: «*Раз уж все равно нашла, так чтобы хоть впустую не пропало*». Без приветствия и подписи – хотя в графе «отправитель» все равно стояло Полино имя.

> «Спасибо, что написала, – поспешил ответить Леонтьев. – Извини, что так получилось. Но ведь мы ни о чем, кроме работы, и не договаривались? Напиши, сколько я тебе должен, я переведу деньги».
>
> «Я ничего тебе не писала, урод! – уже через минуту отозвалась Поля. – Забудь мой адрес и мою книгу, ничего не получишь!»

– Бред какой-то, – хмыкнул молодой человек, почесывая в затылке. – Ведь сканы уже у меня на винте! Она чего, не помнит, кому что отослала?

– У бедняжки от обиды помутнение рассудка, – отмахнулась Катя. – Покажи лучше, из-за чего там сыр-бор?

– Сейчас, просмотрщик картинок открою… Да, вот… Все в порядке, прекрасно открывается.

– Тю, ничего-то нет! – разочарованно вздохнула девушка. – Имена да цифры столбиками. Дурацкая бессмыслица.

– Сама ты бессмыслица! – напряженно прильнул к экрану аудитор. – Тут как раз все ясно и понятно, история Поморья сразу красками заиграла… Вот, смотри: сдано, оформлено, оценено, суммировано… Опять же сдано, остатки обнулены… Разные даты, разный цвет чернил. Значит, по факту писали, без поздних правок. Почерк, смотри, тоже разный! Следовательно, приемщики менялись. Это хорошо, нет подозрений на подчистки… Вот другими чернилами подчеркнуто… Еще в одном месте… – Евгений пролистал несколько сканов. – Так, а здесь, смотри, обведено! Сбоку цифра… А если вернуться к подчеркнутому… Та-ак… Люди, место… Смотри, какая разница!

– Да какая разница? Цифры и цифры. Шкуры, сало, семуга. Соль белая, соль черная[14]. Ну и что? Галиматья!

– Да как ты не понимаешь! Это самая жизнь и есть! Самая ее душа, без прикрас и придирок! Тут она, вся до мелочей! – Он открыл рядом две страницы, ткнул пальцем: – Смотри на исчисленный налог и место сдачи. Вот тебе Холмогоры, вот тебе Варгуза. Это же просто песня! Теперь дошло, что именно и почему там творилось? Это тебе не летописи кастрированные читать!

Здесь у нас вся правда до копеечки. Вот, сюда смотри. Терский берег, Варзуга, Кандалакша, Кереть, в итоге четыреста пятьдесят рублей. Заметь, сумма круглая. В реальности такие не встречаются. Понимаешь, что это значит?

* * *

Встречный ветер не позволил каравану уйти в море, и семь ладей остались стоять у Терского берега, всего в полусотне верст к востоку от Варзуги. В августе даже по берегам Студеного моря стояла изрядная жара, и многие корабельщики не упустили возможности искупаться, пока их сотоварищи готовили обед. Места окрест были пустынными, а потому у сходен остались всего двое караульных, больше присматривающих за надежностью причальных веревок, нежели за безопасностью стоянки. Здесь, в Поморье, про разбой и душегубство никогда почти и не слышали. А вот унесенные в море лодки и ушкуи случались каждый сезон.

В больших медных котлах варилась рыбная уха с грибами. Так уж сложилось, что именно этих двух продуктов всегда имелось в достатке на Терском берегу. В любом месте остановись, бредень заведи, по окрестному лесу пройдись – вот тебе и ужин. Потому именно ею экономные братья Бачурины и потчевали своих слуг во время путешествий. Пища, может, и однообразная – зато сытная.

Из полутора сотен человек полста бултыхались в воде или сохли после купания. Не баня, конечно, но смыть с себя походную грязь всегда приятно. Еще несколько десятков бродили окрест по лесу, собирая кто дрова, кто грибы, а кто лакомясь ягодами. Иные просто спали, и всего два десятка путников были заняты делом. Да и то, какое дело? Варево помешивать, дрова колоть да одежду или обувь поправлять. Серьезного ничего ведь не начнешь – постоянно нужно оставаться готовыми к выходу, едва только ветер переменится. К вечеру такое часто случается.

За всем этим внимательно наблюдали три пары глаз: плечистый рыбник Потап, рыжеусый и кареглазый, в матовой от чистки песком старой кольчуге и овальном, скованном из нескольких пластин датском шлеме. Шлем был трофейным, взятым им самим после жестокой сечи с убитого свея. Здесь, в северных краях, пленных старались не брать. Сюда западные соседи наведывались только для грабежа, и все отлично знали – чем больше разбойников зарежешь, тем меньше татей в следующий раз появится. Обычая отдавать полон за выкуп, обмениваться пленными у северян не было. Они объяснялись с

врагами просто. Сунулся в русские земли – сдохни. Чтобы у детей твоих и соседей желания идти по твоим следам уже не возникало. Потому битвы в здешних лесах были немноголюдными, но жестокими, живыми после них оставались только победители.

Именно за это, за боевой опыт, Потапа и выбрали старшим. Иные мужчины, хотя в стычках со свеями и нурманами и участвовали, но в большинстве или стреляли по татям со стен острогов и крепостей, либо метали в них копья в открытом море, отгоняя разбойников от китобойных лодок или торговых кочей. Что, понятно, дело совсем другое, нежели открытая битва.

– Безмятежные, – довольно прошептал Потап. – Урсус, тебе-то отдельное поручение будет. Ты с артельщиками, ни на что не отвлекаясь-то, сразу к ладьям беги и держись у сходен крепко. Там у двинцев все припасы-то, их туда допустить нельзя. Да и уйти могут, коли в достаточном числе забегут. Обрубят веревки-то, да и поминай как звали.

– Может, тоды лодки-то подогнать? – утер нос седобородый, серолицый мужичок с несоразмерно большими ладонями. – Коли что, с воды-то перехватим.

– Нельзя, заметят, – покачал головой рыжеусый воин. – Насторожатся-то, оружие разберут. По морю незаметно не подкрасться-то, на воде не спрячешься. Никодим, оставайся здесь. Коли изменится-то чего али насторожатся двинцы, упредишь.

– Сделаю, старшой, – согласно кивнул третий мужчина, тоже седобородый, но сильно в возрасте. Одетый на нем древний истрепанный кафтан имел цвет вывороченной глины, а потому полностью сливался с подлеском. Однако на поясе висела добротная сабля – меньше пяти рублей у оружейников такую не сторгуешь, а голову закрывала прочная татарская мисюрка. Сразу видно бывалого рубаку. Старик хорошо знал, за что нужно платить, не жмотясь, а без чего человеку и обойтись можно.

Потап и Урсус отступили за ельник, за непроглядной стеной которого собралось разномастное поморское воинство. Тут были и артельщики-варяги из Умбы в добротных кафтанах с нашитыми на них спереди железными пластинами, а иные и полностью в кольчугах, да еще и в шлемах с бармицами, тут были и лопари с Ловозера в куртках, усиленных чешуей из толстых костяных бляшек, с каменными палицами – ломающими кости и дробящими черепа ничуть не хуже боевых топориков и булатных мечей, тут были и груманы из Кандалакши, в толстых промысловых робах из тюленьей кожи, с тяжелыми китобойными гарпунами – куда более привычными для рук охотников, нежели сулицы и рогатины, да еще и разящими многократно страшнее.

– Ну, други, вот и дождались-то мы своего часа, – размашисто

перекрестился Потап. – Отольются кошке мышкины слезки, за все ныне-то двинцы полной чашей расплатятся. Их там-то супротив нашего втрое больше будет, однако же с нами Бог и правда, а потому-то в силе своей не сумневайтесь. Нападем все дружно, разом. Кричите-то громче, копья и топоры сразу метайте, вперед бегите и разите всех без жалости. Нам надобно-то с первого мига напугать их посильнее и побить сколько можно, дабы силы уравнять. Вам, груманы, надлежит следить-то особо за поведением ворога, и коли двинцы где собираться вместе для отпора начнут, то зачинщиков сего разить первыми, дабы слитно отбиваться не наладились. Вам же, промысловики[15], надлежит-то тех бить, кто на призыв старших двинцев подтягиваться начнет. На слаженный строй, под мечи и рогатины, по одному не кидайтесь. Таковую силу согласованно-то бить придется, всем вместе.

Узкоглазые лопари согласно закивали.

– Коли так, то с Богом! – размашисто перекрестился Потап. – Пошли!

Приготовив оружие, воины обогнули ельник и осторожно, стараясь не издавать ни звука, подобрались всего на две сотни шагов к стоянке холмогорских корабельщиков. А затем, по взмаху Потапа, все разом ринулись вперед!

Когда из леса вдруг выскочили с грозным воем десятки воинов с мечами, топорами и копьями, одетые в толстые кожаные куртки, в остроконечных шлемах и шапках с роговыми пластинами, многие со щитами или с тяжелыми китобойными гарпунами, – никто из двинцев поначалу просто не поверил своим глазам. Уж больно невероятным было появление здесь, в спокойных малолюдных землях, многочисленной ватаги разбойников. Однако первые брошенные копья, первые раненые, первые крики боли быстро заставили всех очнуться и… И броситься бежать, прыснуть в разные стороны.

Холмогорские корабельщики не были людьми робкого десятка. Вот только здесь их застали врасплох. Кто голый, кто босый, все оружие на кораблях, никаких дозорных, команды разбрелись в разные стороны… Какое тут может быть сопротивление? Тут уж каждый сперва подумает, как живот свой спасти, а уж потом – как доблесть проявлять.

Заплескалась вода, в которую кинулись недавние купальщики, ныряя и уходя за растущий местами на мелководье камыш, затрещали кустарники, пропуская через себя крайних из отдыхающих путников, грибников и ягодников. Корабельщики, застигнутые на ладьях, просто сиганули за борт, повара побросали черпаки, драпая к лесу, караульные метнулись от

сходен в траву, стремительно уползая под прикрытием осоки… И разгоряченные разбойники, все еще грозно потрясая топорами и крича, оглядываясь от каждого шороха, крепко сжимая оружие, никакого противника больше не видели. Два бездыханных тела, один стонущий, держась за живот, паренек, еще какой-то старик, ползущий от костра, оставляя за собой кровавый след, несколько темных липких пятен, доказывающих, что брошенные копья и топорики задели кого-то еще, – но о самих путниках напоминали лишь шелест и потрескивания в лесу и еще плеск где-то далеко вдоль берега.

– И чего делать-то станем, Потап? – спросил Урсус, неуверенно почесывая кончиком широкого короткого тесака затылок. – Ловить?

– Как же, поймаешь-то их теперь, так они и ждут, – хмыкнул Никодим, пряча саблю в ножны. – Эвон-то, как драпают! Рази пяток-другой дурачков затаившихся найдем.

– Так ведь выдадут! – опустил палаш Урсус. – Или, мыслишь-то, не выберутся?

– Выберутся, – мрачно ответил Потап и зло сплюнул. – Их тут полтораста человек было, не менее. Как ни лови-то, но хоть кто-нибудь, да уйдет. Лето теплое, земли здешние знают. Или на Колу уйдут-то, али по монастырям каким. Либо на стоянку-то удобную выйдут да судна попутного дождутся. Не идти же нам облавой-то по всему берегу Терскому! Тут время надобно, а у каждого-то дом, хозяйство… Ну да все едино – сделанного не воротишь… – Старший разбойников спрятал оружие и приказал: – На ладьи поднимаемся, други! На Чаваньгу в гавань-то отведем, там добро и поделим.

– А уха?! – возмутился кто-то из лопарей.

Душа исконных обитателей сурового севера, добывающих себе пищу с немалым трудом, возмутилась напрасной пропаже такого количества снеди.

– Так ведь правда-то, Потап, с утра не жравши! – поддержал союзников кто-то из артельщиков-варягов.

Старший, еще раз внимательно оглядевшись, махнул рукой:

– Давайте!

Радостные воины, споро залив костер, выстроились в несколько кругов. Ложка у каждого русского человека по обычаю всегда с собой. Подошел, зачерпнул варева, отступил, встал в хвост очереди, спешно выхлебывая горячее варево. Опустела – как раз и очередь снова черпать наступает. Ни тебе толкотни, ни ссор, никто себе особого куска не высматривает. В стороне оказались только лопари, ложек на поясе не носящие. Но и они быстро сообразили, что делать: похватали черпаки, по одному на троих-

четверых, черпнули поглубже, чтобы гущи побольше, и отошли, прихлебывая по очереди через край.

Не прошло и получаса, как все котлы опустели до дна, а изрядно потяжелевшие разбойники, прихватив тяжелые посудины с собой, поднялись по сходням. Последние из груманов сбросили с веток деревьев причальные веревки, привычно взметнулись на тут же подавшиеся от берега корабли, затянули за собой широкие доски с набитыми на них поперечинами. Выскользнув в прорези, опустились в воду весла, отогнали ладьи на глубину. Там на мачты поднялись паруса: для грабителей встречный восточный ветер оказался попутным. Еще через час гордо выгнувшиеся белые прямоугольники ушли за изгиб берега в нескольких верстах от разоренной стоянки.

Двинцы наблюдали за этим, уже не таясь. К месту побоища они вернулись с палками, с тяжелыми валежинами. Иного оружия найти в лесу не удалось.

Конечно, у многих корабельщиков имелись неизменные для поясного набора ножи, кое у кого даже кистени. Однако все это, понятно, оружие не для битвы. Для стычки в темном переулке, отмахаться от двух-трех татей, оказавшись зажатым в темном трюме, или размозжить голову медведю, напоровшись на него по время стоянки на морском острове, – еще куда ни шло. Да и то – за неимением чего другого, получше. Идти же с кистенем против гарпуна – самоубийство. Подобранная с земли дубинка – и то надежнее.

Теперь, когда грабители уплыли, все это пригодилось, чтобы расчистить расщелину между двумя широкими уступами от камней и мелкого щебня. Увы, с землей на Терском берегу было сложно, близ моря леса росли практически на голых валунах, лишь в немногих местах поросших мхом. В этом суровом месте и нашли свое последнее пристанище четверо из корабельщиков.

После того как над могилой поднялся грубо оструганный крест и закончились молитвы, один из пожилых двинцев спросил мужчину средних лет:

– Что теперь-то делать станем, Семен Прокопыч?

– Знамо что, кормчий. Бери раненых да двигай дальше вдоль берега, к Чаваньге. Дня за три до ее устья доберетесь. Там семужьи тони купца Муронова. Люди должны быть, лодки… Через море на них не перебраться, однако же за товаром каженный месяц коч из Холмогор-то приходит. Бог даст, недели через три дома будете. Спиридон с его людьми к Печенегскому-то монастырю пойдет. Святые отцы греха на себя не возьмут, приютят. Я же с остальными на Варзугу двинусь. Там всегда-то корабли у причалов найдутся. Соловецкая обитель подворье там

имеет, струги-то присылает. Из Холмогор, с Онеги и из Кеми купцы за товаром приходят, груманы и рыбаки, из походов возвертаясь, заглядывают-то. Мыслю, найдем, на чем уплыть. Место торное.

– Варзугинцы заодно-то с душегубами, Семен Прокопыч. Наверняка. Откель тати знать могли, что здесь караван-то богатый? Откуда сами взялись? Иного жилого места окрест не имеется. Как бы не побили-то, дабы следы замести!

– Потому всех с собой и не забираю, кормчий. И на тонях-то, и в Варзуге сообщники разбойников найтись могут, – спокойно кивнул мужчина. – Однако же, коли-то они поймут, что часть корабельщиков ограбленных все едино до Холмогор доберется и о нападении донесет, то и нас трогать не станут. Ни меня, ни твоих увечных. Посему, как на тони выйдешь, первым-то делом тамошних обитателей упреди, что половина людей к обители отправилась. Дабы искушения у них не вызывать. Ну, и об осторожности-то все же не забывай.

– День нынешний для всех-то уроком тяжелым станет, – перекрестившись, поклонился в сторону могилы кормчий разоренного каравана. – Как бы тихо окрест ни было, все едино надобно к войне готовым оставаться…

* * *

Александровскую слободу Басарга по возвращении просто не узнал! Крепость не просто преобразилась – она стала совершенно иной. Внутри выросло множество новых домов, весь двор покрылся толстым слоем солнечно-желтого чистого речного песка, а крыши всех построек, наоборот, оказались перекрыты черной, будто уголь, черепицей. Однако изменилась новая столица Руси не только внешне, но и внутренне. В ней больше не бегали нарядные холопы, не красовались богатыми одеяниями князья и бояре, не слышалось шуток и смеха. Все обитатели царского двора внезапно стали монахами: ходили в длинных черных рясах, пусть и опоясавшись саблями, вели себя непривычно тихо, и все, на удивление, выглядели совершенно трезвыми. Четверо побратимов, в скромной походной одежке, – и те на общем фоне казались расфуфыренными бойцовыми петухами.

Подьячего Монастырского приказа, выполняющего особое поручение, Иоанн принял сразу – и тоже поразил слугу игуменским одеянием.

– И ты, государь? – позволил себе удивиться вслух Басарга. –

Нешто вся Русь-матушка постриг вдруг приняла?

– Не вся. Лучшие из лучших, избранные из избранных, – величаво ответил Иоанн, похоже, очень довольный случившимся преображением. – Истинный слуга отчизны, ровно инок монастырский, должен отринуть от себя все соблазны и горести мирские и всего себя служению посвятить. Служению державе и Господу нашему небесному!

Царь перекрестился и сложил руки на груди.

Басарга вспомнил, как после смерти своей любимой Анастасии Иоанн завидовал Мирославе, ушедшей в монастырь. Царь тоже хотел уйти от мира, да только не пустили. Теперь, похоже, он смог осуществить свою мечту. Если государю нельзя уйти в постриг – значит, постригу придется прийти к нему.

– Я тоже должен принять послушание? – спросил Басарга.

– Вся «избранная тысяча», все опричники отреклись от мира, от земства и поклялись посвятить себя служению владыкам земному и небесному. – Иоанн переложил руки на груди, выбирая для них более удобное положение. Немного выждал.

Басарга сделал вид, что не понял, на что намекает его господин. Добровольно лезть в схиму он не собирался.

– Те, кто желал быть ближе к царю, доказать свою преданность, дали клятву сию отречения, поклявшись никак с людьми мирскими не общаться, пусть даже то будут их друзья бывшие и родственники… – уже более сурово произнес Иоанн.

– Я исполнил твой приказ, государь, – склонил голову Басарга. – Один из Годуновых согласился поехать в Крым и уговорить твоего брата вернуться на Русь. Годуновы – бояре захудалые, младшая ветвь, но с Сабуровыми все же одна кровь. Куда ехать, Годунов знает, и ему, как родственнику, должны поверить. Он сделает все, дабы избавить тебя от сего беспокойства.

– Я не ищу смерти брата! – резко вскинулся Иоанн.

– Именно поэтому я обещал ему пост при твоей особе за живого царевича и только тридцать сребреников за мертвого.

– Иудина награда за верную службу? – криво усмехнулся государь, прошелся по светелке. – Да, думаю, он поймет. А ты, значит, отрекаться от мира во имя службы не желаешь? Моих милостей и наград искать и не пытаешься?

– Служба есть моя высшая награда, государь, – склонил голову Басарга. – Моя и княжны Мирославы Шуйской. Ручаюсь за нее, как за самого себя. Дозволь ей вернуться в свиту к царице, дозволь служанкой честной снова стать!

– Мирослава, Мирослава!.. – покачал головой Иоанн, тяжело вздохнул, отошел к распахнутому в теплый день окну. – Помню,

как глаза у тебя при ее виде загорались. Как вы друг на друга надышаться не могли. Настенька ее любила… Мне же токмо на вышивки царицы любоваться осталось.

Государь повернулся к улице спиной, отер ладонями лицо, бороду, словно пытаясь стряхнуть тяжкие воспоминания, мотнул головой:

– Княжну Мирославу и по роду, и по службе прежней обратно в кравчии определить нетрудно. Да токмо вот беда, боярин. Сказывают, постриглась она в монастыре Горицком. А иные утверждают, будто она там, у обители, в Шексне утопилась. Иные бесстыжие языки и вовсе такую напраслину на покойную инокиню возводят, будто в расстригах она бегает и во грехе с кем-то живет. Но ты ведь о сем знать ничего не можешь, правильно?

Басарга прикусил губу и склонил голову. Слишком уж много поблажек он успел получить от Иоанна, слишком много милостей. Сам влюбленный, царь не отказывал в покровительстве чувствам других. Он и сейчас не гневался, а лишь напомнил слуге, что не по роду тому о княжне из рода Шуйских печься. Что забота подобная только опозорить девушку способна.

– Я, подьячий, не судья небесный, чтобы по своей воле обычаи и законы мирские менять. Я есть лишь первый среди бояр и первый среди слуг Господа и державы русской, – сказал Иоанн. – И потому должен являть собой пример всем прочим князьям и боярам. Мирославу Шуйскую, чистую душой и жизнью своей, я бы вернул ко двору с радостью. Но что люди скажут, коли расстригу и блудницу приближу и награжу, в дом приму и к супруге своей приставлю?

– Она не блудница… – Басарга вдруг понял, что сжимает рукоять сабли, и торопливо отпустил оружие.

– Того, как провела она годы минувшие, ты, боярин Леонтьев, знать не можешь, – еще раз напомнил Иоанн. – Токмо тот о судьбе ее ведает, кто словом своим за безупречность княжны-монахини поручиться способен.

– Да, государь, – смиренно согласился Басарга, чувствуя, что ему на что-то намекают. Но намек был слишком туманным, и его суть ускользала от понимания подьячего.

– Ладно, ступай, – внезапно взмахнул рукой Иоанн. – Я доволен твоими стараниями. Но друзьям передай, что дозволения отъехать в уделы не будет. Они избраны в лучшую тысячу, а таковые бояре мне ныне здесь надобны.

Побратимы ожидали друга на крыльце двора, настороженно поглядывая на монашеское окружение, и облегченно вздохнули, когда подьячий наконец-то вышел на воздух:

– Что там, Басарга? Как государь, что сказывал?

– За дело исполненное нам почет и уважение, однако же отъезжать Иоанн не велит, – кратко ответил боярин Леонтьев. – Мы ведь ныне в опричниках числимся. Средь служивых особо доверенных. Сказывает государь, поручение вскоре для нас найдется.

– Наше главное поручение – язык за зубами держать, – зевнул Софоний Зорин. – Спасибо, просто уезжать запретили, а не в поруб заперли.

– Вечно ты везде страсти какие-то подозреваешь, друже, – покачал головой могучий Тимофей Заболоцкий. – Мы люди служивые. Чего нам службе удивляться?

– Все, что ни делается, к лучшему, – махнул рукой Илья Булданин. – Коли мы на службе числимся, стало быть, лишние семь рублей жалованья от казны причитается. В хозяйстве пригодится. Нам сейчас не о заговорах думать надобно, а о бане да о жбане меда хмельного. Что скажете, други?

– В Москву надобно скакать, – ответил Басарга. – У меня на подворье и баня имеется, и погреба ныне полны. Дом-то под присмотром.

– Так туда два дня пути! – присвистнул боярин Илья. – Тут горло не то что пересохнет, оно завялится, ровно тарань астраханская!

– Нешто ты так к зазнобе своей стремишься, друже, что ни есть ни пить без нее не можешь? – удивился Тимофей Заболоцкий. – Чего страшного случится, коли на неделю позднее обниметесь? Отдохнем здесь немного, на дворе постоялом… Попаримся, петерсемены али пива выпьем, а опосля в дорогу и тронемся.

– Если честно, побратимы, так это я вам удивляюсь, – покачал головой Басарга. – Вы ведь женаты, супружницы дома ждут. Дети, может статься, уже появились. Вам же сие без интереса вовсе.

Могучий Тимофей Заболоцкий и малорослый Илья Булданин переглянулись и одновременно пожали плечами:

– Так, а чего беспокоиться, коли хозяйство под присмотром?

– Моя, когда отъезжал, на сносях была, – признал боярин Булданин и подмигнул: – Так что толку от нее ныне никакого. Я себе и так найду, с кем в сумерках погреться.

– Мне родители супружницу достойную нашли, – куда более спокойно сказал Заболоцкий. – И собой мила, и разумна, и ласкова. Приданое изрядное за ней дали, грех жаловаться. Да токмо как-то в хворях вся, на удивление. То мигрень у нее, то колики, то простуда…

– А ты ее ко мне на Вагу в поместье погостить пришли, – не колеблясь предложил Басарга. – Воздух там чистый, целебный, и

святыни в обители чудотворные. Вы ведь приезжали. Знаете, как мало хворых у меня в поместье.

– Может, двинемся все отсель, бояре? – Софоний проводил взглядом очередного прошедшего мимо монаха и нервно потер сгибом пальца усики. – Не по себе мне тут как-то. Ровно опять в приюте монастырском. Что здесь творится, Басарга?! Прямо скит лесной, а не двор царский!

– Государь желает таковых слуг иметь, – ответил подьячий, – что готовы от мира отречься ради службы ему и державе. Посему все опричники клятву дают, навроде схиму принимают…

– А-а, понятно, – перебил его боярин Зорин. – Похоже, Иоанн Васильевич задумал орден воинов-монахов учинить, наподобие рыцарских. Начинание мудрое, ибо неплохо ордена сии в землях католических себя показали. Однако же мне средь ряс, скуфий и риз не по себе. Может, махнем, наконец, хоть куда-нибудь? И тут я с Басаргой согласен полностью: поехали куда-нибудь подальше!

Спустя два дня увильнувшие от схимы опричники и их холопы спешились во дворе леонтьевского дома, и Басарга, забыв обо всех, наконец-то смог обнять свою ненаглядную княжну, расцеловать ее глаза, вкусить сладость губ. Мирослава больше не очень-то стеснялась. Тем более – друзей своего любимого. Больше того – после первых поцелуев, все еще не разжимая объятий, она повернула лицо к остальным мужчинам:

– Милости просим, гости дорогие. Раздевайтесь, в дом проходите. Ныне велю Горюшке меда холодного с ледника принести. Вода в бане натаскана, токмо затопить осталось. К вечеру попаритесь с дороги…

Слова вроде и простые – да токмо ими княжна Шуйская открыто утверждала себя хозяйкой в доме худородного поважского боярина.

– Кабы меня так супруга встречала, – неожиданно признал Тимофей Заболоцкий, – я бы тоже домой рвался.

– А я бы женился, – добавил боярин Софоний и низко поклонился женщине: – Долгих лет тебе, хозяюшка, и достатка в доме. Благодарствую за приглашение.

До бани побратимы посидели за столом вместе, но после парной Басарга от общего застолья сбежал, чтобы в дрожащем алом свете ароматных восковых свечей наконец-то прикоснуться губами к соскам заждавшейся его княжны, провести ладонями по бархатистой коже спины, вдохнуть запах волос, прижаться к обнаженному горячему телу, забыться в океане неисчерпаемой страсти.

– И как служба твоя, подьячий мой ненаглядный? – К тому времени, когда свечи уже почти догорели, княжна наконец-то

вспомнила и о мирских интересах. – Доволен оказался Иоанн твоими стараниями?

– Да, все получилось. Нашел я родича великой княгини Соломонии, который согласился продать свою семью за хорошую плату, – кивнул боярин. Вроде уже утомившись, он все равно продолжал гладить ладонью столь желанное тело, продолжая его хотеть так же яро, как час, и месяц, и годы назад. – Полагаю, ему удастся выманить царевича из Крыма. Уж очень хочется Димитрию Годунову место высокое при дворе получить.

– Я его понимаю. – Мирослава перестала улыбаться и опустила голову на подушку.

– О тебе Иоанн странные слова сказывал, – поспешил отчитаться пред любимой Басарга. – Что хотел бы вернуть тебя, чистую душой и жизнью, в свиту царицы. Но расстригу, о которой слухи дурные ходят, приблизить к себе не может. Прости…

Про «блудницу» он, понятно, не упоминул вовсе. Он бы и вообще о неудаче своей предпочел умолчать – но опасался, что любимая подумает, будто он забыл о ее просьбе.

– Правда?! – резко приподнявшись, выдохнула княжна. – Неужели правда? Басарга, милый мой, хороший, желанный!!! – Мирослава кинулась на любимого и принялась его яростно целовать, умудряясь при этом еще и яростно тормошить. – Господи, наконец-то! Как давно я о сем мечтала!

– Ты, верно, не поняла, любая, – совершенно растерялся боярин. – Он мне отказал. На необходимость блюсти чистоту свою пред людьми сослался.

– До чего же ты наивен, глупыш, – рассмеялась Мирослава, сжимая его лицо ладонями. – Уж не первый раз тебе сказывают, чуть не впрямую, о делах твоих, ты же сего все едино не понимаешь! Слово мне дай немедля, что, коли тебе государь или иные люди знатные в чем-то отказывать станут, али тайны какие скрывать, али еще как странно общаться, ты поперва мне о сем сказывать станешь, а уж потом ответ свой обмысливать!

– Чего же я не услышал, Мирослава? – нахмурился подьячий.

– Слухи, Басарга, слухи! Государь в свиту меня вернуть готов, да токмо слухи… – Княжна положила голову ему на грудь. – Я, может, перед постригом из монастыря и сбежала, да токмо в сем беглом обличье нигде не показывалась, никому о поступке своем не сказывала. Нет о сем никаких известий, токмо слухи. Мы с тобой, может статься, во грехе и живем, но отношений своих пред людьми не открываем, прилюдно сим не хвалимся. И все, что есть у хулителей наших, так это токмо слухи. Коли найдется человек знатный али слуга доверенный, каковой Иоанну поручится за поведение мое честное в годы, о каковых не слышал никто, то

выйдет слово княжье весомое супротив слухов пустых от люда никчемного. Чему государь больше верить должен?

– Слову… – задумчиво согласился Басарга.

– Вот о том Иоанн тебе и толковал! – чмокнула его в кончик носа женщина. – Сослаться ему на кого-то надобно, коли вдруг спрашивать начнут, как расстрига в кравчих оказалась? Если поручился за меня кто-то, то проступок мой ужо доказать надобно, слухами не обойтись.

– Если я поручусь?

– Даже не вздумай, боярин! – явно испугалась Мирослава. – Про нас с тобой дурное сказывают, и ты же защищать меня станешь? Тут не опровержение, тут явное подтверждение слухам выйдет! Государь шутки сей не поймет… Нет, поручиться должен князь посторонний, в сочувствии нам не заподозренный. И лучше всего, коли еще и не родственник. Хотя, мыслю, князья Шуйские меня скорее проклянут, нежели заступятся.

– А ведь это ложь получается, – откинулся на подушку боярин Леонтьев. – Царю в глаза врать никто не посмеет.

Княжна неожиданно тихо захихикала в кулак.

– Ты чего? – покосился на нее Басарга.

– Я знаю, за что тебе, дурашка, Иоанн так покровительствует.

– За что?

– Ты ему правду сказываешь. На всем свете второго такого царедворца не найти.

– Остальные врут?

– Да кто же царю правду говорит? Или, вернее, ему вообще ничего никогда не говорят. У него только просят. Чем лучше наврешь, тем больше выклянчишь.

– Может, к князю Михайле Воротынскому обратиться? – вслух подумал Басарга. – Он ко мне с первых дней с теплотой относится.

– Князь тебе, любый мой, не ровня. Ради тебя греха на душу брать не станет. Даже малого. А уж тем паче такого.

– Андрей Басманов со мной дружен, даже в братчину к нам просился. И к государю вхож.

– Боярин Басманов себя ценит, за такую услугу ответной службы запросит, и немалой. Я таких выскочек знаю. С ними как с ростовщиками. Сперва добры, потом наплачешься.

– Тогда кто? – после недолгого колебания спросил Леонтьев. – Я никого более припомнить не могу.

– Тут спешить ни к чему, – Мирослава стала целовать его ключицы, потом шею. – Тут помыслить надобно. Дольше ждали.

* * *

Расслабляться за пирушками и нежиться в перине Иоанн своим слугам долго не позволил. Уже через неделю в ворота дома постучал всадник на взмыленном коне, а когда впустили на двор – передал подьячему грамоту с царской печатью.

– Тришка! Пива холодного гонцу, сколько выпьет, и накормить! – крикнул холопу боярин, сломал печать, развернул свиток.

– Чего там, друже? – с тревогой спросил Софоний Зорин, выйдя из дома с ковшом хмельного меда в руке.

– Карельский уезд взбунтовался… На Терском берегу убитых уже считают, – ответил Басарга. – Иоанн пишет, сыск мы с вами хорошо ведем, посему именно нам в сем разобраться и доверяет. Всех четверых в грамоте перечислил.

– Много войск дает для похода?

– Холопов взять с собой дозволено, по двое на каждого, – свернул грамоту Басарга. – Казна за каждого три рубля прогонных заплатит. Прочие слуги на свой кошт.

– Двое слуг, четверо бояр… Двенадцать ратных целый уезд угомонить должны?

– Сыск – не поход, – поправил его Басарга.

– Сдается мне, государь просто засылает нас куда подальше в земли безлюдные, где о его секретах сболтнуть некому, – прихлебнул меда боярин Зорин, старательно облизал губы. – Хотя, мыслю, Терский берег все же лучше ножа в печени. Коли ссылают, за живот можно не опасаться. Чем дальше от двора, тем меньше убийц.

Отъезд побратимов из Москвы совпал с началом затяжных дождей, и крытый струг подьячего пришелся как нельзя кстати. Плохо оказалось лишь то, что кроме Тришки-Платошки управиться с лодкой в такую погоду ни у кого не получалось. Переменчивый ветер, волны, дождь, постоянные сумерки, течение… И потому вся поездка крутилась вокруг холопа: Тришка засыпает – нужно останавливаться, Тришку пора кормить – бросаем якорь, Тришка замерз – его нужно переодеть, а портки и рубаху повесить сушиться. Тришка даже спал не на полу, а на постели, освобожденной для него боярами!

Дожди прекратились только на Онежском озере – уступив место ночным заморозкам. Дважды, чтобы продолжить путь, струг поутру пришлось обкалывать багром. Последние три дня пути стали своеобразным соревнованием между путниками и зимой – кто успеет первым справиться со Студеным морем: то ли мороз сковать его льдом, то ли опричники прорваться через него к Холмогорам?

Получилось что-то вроде ничьей. Струг вошел в устье

Северной Двины, когда вдоль берегов уже установилась полоса припая в две-три сотни шагов шириной. Однако со стремниной полноводной реки зима справиться не успела – заиндевевший струг смог подняться до Холмогор и прочно засесть в припае напротив причалов, с ходу врезавшись в лед и проломившись через толстую корку до середины корпуса.

– Ну, и что дальше? – спросил Басарга, выйдя на нос судна. – На лед сойти не можем, он под нами провалится. До берега еще сажен пятьдесят. Пока обкалываться будем шаг за шагом, аккурат весна наступит.

– Не боись. Через неделю стужа так прихватит, что лед лошадь с воином выдержит, – утешил его Софоний. – Посидим еще чуток в тесноте, нам не привыкать.

К счастью, струг подьячего был не единственным судном, опоздавшим в главный русский порт к окончанию навигации. И потому, еще не успел Басарга ответить побратиму, а с берега уже махал руками какой-то крестьянин:

– Эгей, на лодке! Рубль давайте, вытащим!

– Сдурел, что ли, смерд?! – изумился Софоний. – Тебе столько за год не заработать!

– Ну, тогда и дальше здесь сидите, – хмыкнул холмогорец достаточно громко, чтобы его услышали попавшие в беду путники.

– Пятиалтынный дам! – пообещал Басарга.

– Пять алтын на каждого! – крикнул в ответ местный.

– И сколько вас будет?

– Дык одному не управиться. Пятеро надобны, не менее.

– Десять алтын!

– Мало, боярин!

– Ну так ступай, – отмахнулся подьячий. – Найдутся и еще охотники.

– Еще хоть два накинь, боярин. И до сумерек на берегу будешь.

– И струг на козлы поставите!

– Идет!

Двинские мужики действовали быстро и умело. Двое на широких лыжах, обвязавшись веревками, добежали почти до самого струга и, когда лед под ними начал хрустеть, принялись колоть его топорами на длинных рукоятках. Еще двое тем временем приматывали на берегу между сваями причалов толстую слегу. Правда, когда на струг забросили конец просмоленного пенькового каната, выяснилось, что это не слега, а ворот с прорезью для рычага на конце.

Зачем холмогорцы пробивали канал, бояре так и не поняли.

По нему лодку протаскивали только поначалу. Потом струг выскользнул на лед и завалился набок.

– Не выскакивайте! – встревожились местные. – Там промоины случаются!

Путники, ругаясь и уворачиваясь от выпадающих из рундуков вещей, пытались найти себе в каюте удобное место – но для шестерых на маленькой лодке такого не имелось даже в нормальном положении. Впрочем, Басарге и Софонию снаружи было еще хуже – все предметы и борта обледенели, а потому при каждом рывке от поворота ворота бояре соскальзывали наружу, с трудом удерживаясь за веревки и уключины. На полпути боярин Леонтьев не выдержал – отпустил веревку, выкатился на лед и пошел к берегу, плюнув на опасность. Мгновением позже так поступил и Софоний. Ничего не случилось – здесь припай был уже достаточно прочным.

– Держи задаток, – проходя мимо холмогорца, дал ему монету подьячий. – Остальное получишь, когда струг будет на козлах. Где тут поблизости хороший постоялый двор?

После такого путешествия все путники с чистой совестью отлеживались два дня кряду – отогревались в бане, отпивались терпким немецким вином, отъедались горячими супами, пирогами и мясом и спали на перине, вытянувшись во весь рост. Даже слуги получили послабление и гульнули с Тришкой-Платошкой, получившим от Басарги полтину в награду за старания.

Видимо, как раз холопы спьяну и проболтались, кем именно были их хозяева и зачем прибыли в Холмогоры, – поскольку около полудня третьего дня на постоялый двор явились несколько купцов серьезного вида: все в возрасте, с ухоженными бородами и дорогими перстнями на пальцах, в шубах добротных, но скромных – когда дорогое индийское сукно подбивалось не царскими соболями или бобрами, а менее гордыми песцами и горностаями. Притом застежки на шубах были золотые, вошвы шелковые, ворота с самоцветами. Побратимы как раз обедали, еще только думая, с чего начинать сыск? И склонялись к тому, что нужно дожидаться, пока везде установится надежный зимний путь.

– Здрав будь, боярин царский, – уверенно направились к Басарге Леонтьеву богатые гости, сняли шапки, поклонились в пояс. – Зело радо товарищество-то наше, что столь быстро государь на челобитную отозвался, известного подьячего прислал, о скорби нашей беспокоится. Не место служивому человеку-то на постоялом дворе прозябать. Милости просим в палаты старосты нашего перебраться, там тебе и сотоварищам

твоим покои достойные отведены.

– Кто старостой у вас будет? – первым делом поинтересовался Басарга.

– Прокоп Володимирович Бачурин, купец именитый в пятом-то колене, солевар, рыбарь, портовик, – степенно сообщил один из купцов.

– Это у которого сына бунтовщики едва не убили?

– А были средь людей-то его и до смерти убитые, и увечные-то, и раненые… – с готовностью заговорили купцы.

– Что же, коли сам Прокоп Бачурин приглашает, отчего не переехать? – согласился Басарга. – Мыслю, помогать в деле моем он станет с охотою…

Сыск начался сам собой, не дожидаясь решения бояр.

Дом купцов Бачуриных заставлял вспомнить скорее о царских хоромах, нежели о жилище торговца-солевара. Не меньше сотни сажен в длину, невесть сколько в ширину, в три жилья высотой, да еще и с просторными внутренними дворами, выстеленными дубовыми плашками. Усадьба подьячего рядом с ним была – ровно изба смерда рядом с княжьими хоромами. Стены во многих горницах заштукатурены и расписаны, в иных обиты кошмой и выстланы коврами, в третьих – тщательно проконопачены и выбелены, многостолпные залы были способны принять на пир сотни гостей. Многочисленная прислуга старалась не просто угождать, а угадывать каждое желание хозяйских гостей. А то и вызывать нужные желания. Во всяком случае, розовощекая пышная девка, столь долго и старательно показывала подьячему, как хорошо застелена постель, где что лежит и как туда удобнее забираться, принимая при этом самые разные позы, что устоять Басарге стоило немалого труда.

– Ладно, милая, – наконец остановил боярин ее старания. – Вечером разберусь. Давай лучше к купцу Бачурину меня отведи. Хочу узнать все подробности, о каковых в жалобе не отписано. Я сюда не для блуда приехал, а по царскому поручению. Веди.

Похоже, среди гостей он оказался единственным, кто устоял перед соблазнами, – поскольку в горнице с богато накрытым столом тоже оказался один.

– Сюда велено опосля-то привести, – сообщила девка, накручивая на палец прядь русых волос. – Более ничего не ведаю.

– Ступай, дальше я сам, – шагнул в дверь хозяин дома, слегка поклонился: – Прошу-то к столу, боярин. Откушай, чем Бог-то послал.

Даже без шубы купец Бачурин был крупен собой, на одутловатых щеках играл румянец, ухоженная борода, рыжая с проседью, ровно ложилась на грудь. Одет он был в синюю

суконную куртку, ткань которой портной собрал на груди в несколько толстых валиков, в черные плотные шаровары и тапочки из разноцветных лоскутов кожи.

– В сапогах у нас ходить-то холодно, боярин, – поймав его взгляд, пояснил хозяин. – А в валенках по дому не погуляешь. Вот и обхожусь-то обувкой, каковую менять удобнее.

– Выходит, мне тоже валенки понадобятся? – сделал вывод Басарга, но тут же отмахнулся. – О сем потом. Ты мне лучше о смуте расскажи. Кто затеял, по какому поводу, что деял, к чему призывает?

– Летом сын мой на Терском-то берегу на стоянке с семью ладьями стоял. Так на него люди варгузинские напали, товар и корабли-то отобрали, людей кого поймали, смерти лютой предали, а средь прочих многих поранили. Убытку только рухлядью и рыбой тыщу-то двести рублей, да корабли, да семьям нужно-то откуп за погибших платить. Иные же из ладей и в Варзуге, и в Умбе видели, то точно ведаю, варяги мои тамошние отписались. Грумланы их задешево перекупили. В море ушли, теперича и не найдешь. Могут-то улов в Лунский город отправить, нурманам продать али просто на острове оставлять, на иных лодках возвертаясь…

– Постой! Ты про бунт сказывай, Прокоп. Что мне грумланы и ладьи с товаром?

– Так ведь товар не простой, боярин. Подати царские-то, десятина. Я на откуп тони семужные на Терском берегу взял и еще иные платежи внес с наддачей. Их сынок в Холмогоры и вез. Коли царское добро грабят-то, а сборщиков тягла на копья накалывают, разве это не бунт?

Басарга в задумчивости потер лоб.

Он понимал, что купец ищет мести за сына. За бунт спрос завсегда серьезнее, нежели за простой разбой. Зачинщиков всех найдут обязательно, накажут примерно, дабы другим неповадно было. А грабеж – дело губного старосты. А тот глубоко копать не станет. Кого поймает – того повесит. А кто улизнет – тем и утруждаться не станет. Разница же в деянии выходила совсем тонкая, только в жертве. Коли купца обирали – поступок один. Казну – уже другой.

– В Варзуге иных из татей корабельщики мои признали, – неуверенно добавил Прокоп Бачурин. – Однако же старосте тамошнему-то указать на них убоялись, ибо подозревают соучастие его в сем бесчинстве. Как бы самих-то за донос не побили. Однако же Беляш, корабельщик юный из Териберки, даже вожака разбойничьего-то признал и до дома выследил.

– Ладно, разберемся, – кивнул подьячий. – Неси податные

книги. Буду проверять.

– Зачем? – не понял откупщик. – Это ведь меня-то грабили, а не я!

– Учетные книги надобно проверять всегда, – поведал ему о своем принципе Басарга. – Ибо большинство ответов завсегда в них скрывается. Посему неси. Как просмотрю, тогда дальше решать и стану.

Дело у Прокопа Бачурина было обширным: тут и рыбацкие тони, и солеварни, и портовые услуги, и заготовка жира, и торг привозным товаром. Знамо, и книги учетные были толстыми и в большом количестве. На их изучение у опричника ушло чуть менее двух недель, после чего Басарга написал отписку об изъятии податной книги и позвал побратимов собираться в дорогу – ловить душегубов, которых уже успели опознать уцелевшие жертвы грабежа.

Прокоп Бачурин сыску помогал, как мог. И не только угощая и развлекая гостей, но и быстро найдя для них полтора десятка лопарских собачьих упряжек. Неведомое Басарге средство передвижения оказалось на удивление стремительным – триста верст до Кемского посада путники одолели всего за четыре дня, остановившись на ночлег у воеводы боярина Оничкова.

Богатый торговый город Кемь, как это обычно и бывает, рос куда быстрее своей крепости. Многочисленные избы, дома, амбары, навесы расползлись вдоль берега на добрых полторы версты, прижимаясь больше к причалам, нежели к высоким бревенчатым стенам шестибашенной твердыни. Город, насколько знал подьячий, жил не столько промыслами, сколько перевалкой голландских и французских товаров, и солеварнями – посему ни хлевов, ни рыбных складов тут не имелось, что делало здешний воздух сладким и прозрачным, ровно в летнем сосновом бору, а замершая на время зимы навигация погрузила Кемь в долгий безмятежный сон. Снег, яркое полуденное солнце, тишина…

– Хорошо тут у тебя, боярин, – разомлев после бани, простонал боярин Булданин. – Снег чистый, лес несчитан, простор, крепости вольготные. Лепота! Кабы к уделу привязан не был, обязательно сюда бы перебрался!

Старание купцов селиться возле своих причалов и амбаров, а не тесниться в огороженном посаде позволили местному воеводе отстроиться в крепости довольно широко. Редкий случай – обычно внутри кремлей дома чуть ли не на крыше один у другого стоят.

– Хорошо, да больно далеко от дел государевых, – посетовал воевода Володимир Оничков. – О войнах случившихся узнаю, токмо когда отряды свейские уж под стенами высаживаются, о

делах столичных – от купцов голландских. Немцы же сии ни толком сказать ничего не могут, ни понять обычаев наших. Ныне вот слух пошел, будто царь наш Иоанн Васильевич в монахи постригся и державу свою на части порезал. Верно ли сие али лгут купцы заезжие? Указов никаких до меня покамест не добралось.

– Неужели? – удивился опричник. – Нечто тут людишек не перебирали?

– Кто? Каких?

– Ничто, – отмахнулся Басарга, сообразив, что в здешнем купеческом поселении «перебирать» просто некого. – Что до ухода в монастырь, то есть правда, никак государю от кручины по супруге своей первой не избавиться. Посему более молитвам себя посвящать склонен, нежели развлечениям мирским. Про деление – обман. Отвел себе государь земли опричные, каковыми единолично правит, без думы боярской и советов княжеских. Прочая держава прежним порядком живет, старым земским уложением. Двинские земли, кстати, к царским отнесены, а Терский берег земским остался. И вот летом минувшим люди земские царских побили…

– Это откупщиков-то Бачуриных? Наслышан, – усмехнулся воевода. – Ты рыбку пробуй, гость московский, пробуй. Из-за нее, семужки нашей, главная свара и идет.

Богатый стол боярина Оничкова, кстати, по большей части состоял из кушаний рыбных – рыбки красной и белой, заливной и копченой, балыка, пряных судаковых щечек и пирогов с вязигой, наглядно демонстрируя, чем наиболее богаты здешние земли.

– Дело государево, воевода, – не принял шутливого тона опричник. – Поможешь? Людей у меня мало, а задержанных, полагаю, изрядно окажется. Всех их испросить с пристрастием где-то понадобится, опосля для суда в Москву доставить.

– На что разбойников в столицу тянуть? – изумился воевода. – Леса вокруг густые. Петлю на шею, веревку на сук, вот и вся недолга.

– Кабы сыск земской был, – ответил Софоний за своего побратима, – так сим бы все и окончилось. А коли до государя дошло, так всю подноготную дочиста на свет Божий извлечь надобно.

– Дело ваше, – не стал спорить боярин Оничков. – Коли в Москву татей везти желаете, так везите. Откупщики Бачурины вам в сем подсобят с охотой.

– Мы люди государевы, а не купеческие, – сурово ответил подьячий. – Посему нам надобно царской волей дела сии решать, а не у промышленников местных побираться!

– У меня всего три десятка стрельцов при крепости! – повысил голос воевода. – Кого я тебе дам? С кем сам останусь?

– Как же ты в осаду садишься, боярин, коли у тебя ратников три десятка всего? – удивился Тимофей Заболоцкий.

– Коли в осаду садиться, так местных за стены изрядно набегает. Их к службе и ставлю, – пояснил боярин.

– Коли так, то без десятка стрельцов беды с Кемью не случится, – тут же поймал его на слове Софоний Зорин. – Допросная изба же для службы и вовсе не нужна.

– В Умбе тоже допросная изба имеется, – сделал последнюю попытку увильнуть от службы кемский воевода. – В Кандалакше у монахов, вестимо, и подземелье для узников готовое имеется.

– Я так полагаю, в Умбе и Кандалакше сторонников у душегубов слишком много, – ответил Басарга. – Как бы препятствий больших не учинили.

– Откель ты знать сие можешь, подьячий? – удивился боярин. – Ты же там и не бывал еще!

– Книги читать умею. Так поможешь или службу царскую за тягость почитаешь?

– Чем смогу, помогу-то, – смирился воевода. – Да токмо многого не ожидайте. Тут не Москва, ратей больших и застенков не имеется. Каждый служивый наперечет.

Заручившись такой неуверенной поддержкой начальника Кеми, Басарга одел своих побратимов и их холопов в броню, прихватил молодого корабельщика, что божился, будто узнал вожака душегубов, и на лопарских упряжках совершил стремительный рывок через давно и прочно замерзшее Студеное море на Варзугу. Путь этот занимал почти два перехода, а потому в деревню опричники прибыли очень вовремя: ближе к вечеру, в поздних сумерках, но еще не так поздно, чтобы останавливаться на ночлег. Но главное – неожиданно.

Размерами своими Варзуга давно заслужила право именоваться городом. Как-никак – две сотни семей, полтораста дворов, подворье свое монастырское, гавань, порт, торг богатый. Однако крепостью сия деревня по сей день так и не обзавелась, да и дома стояли не плотно, а далеко вразброс, на полторы версты окрест церкви. И не потому, что нужда в этом какая-то имелась, а просто так, от доступного простора и вольготности.

Замерзший, поэтому и брошенный на время порт путники миновали незамеченными, поднялись вверх по реке и вскоре увидели впереди россыпь желтоватых и красных огоньков. Окна ярко светились почти во всех избах, а в иных – даже и по несколько. Свечей и лампового жира варгузяне совсем не экономили. Видать, не имели такой необходимости.

Оставив собачьи нарты внизу на льду, бояре со слугами стали подниматься по расчищенной к храму тропе. Басарга поманил одетого в заячью шубейку и лисий треух корабельщика:

– Ну, Беляш, говори, куда душегуб твой скрылся?

– Вон тот дом-то, возле липы одинокой, – сразу указал паренек. – Я его как в церкви увидел-то, сразу признал! Ну, знамо, следом и прокрался, дабы логово-то разбойничье вызнать.

– Лепо, – кивнул подьячий. – Пошли смотреть, что за ухари-удальцы там обитают…

«Разбойничье логово» выглядело как просторная северная русская изба на высокой подклети и с крытым двором. Помимо двора крытого имелся еще двор обычный, с воротами и калиткой, огороженный изгородью в четыре слеги. Но подобное препятствие могло остановить только скотину, дабы летом в огород хозяйский не забрела. Холопы же шустро пролезли между жердинами, пригрозили плетью зашедшейся в лае псине, скачущей на привязи, отворили воротины перед хозяевами. Бояре быстро поднялись на крыльцо…

Стучать в дверь не пришлось – она отворилась, наружу выглянул босоногий мальчуган лет тринадцати в длинной серой рубахе и темных штанах, громко крикнул:

– Замолчи-то, Нурман! Нешто ополоумел?

Тимофей Заболоцкий рванул створку, едва не вывернув ее из подпятников, бояре толпой вломились в сени, а через них и в сам дом, задохнувшись от влажного жаркого воздуха, пропитанного запахами вареных овощей и жареной рыбы. Кольчуги, бахтерцы, шлемы моментально покрылись толстым слоем инея, превращая нежданных гостей в подобие сказочных зимних демонов.

Замерла от неожиданности баба с засученными рукавами, в накинутом поверх сарафана сером переднике, вышитом оленями и звездами. Изумленно открыла рты малышня, рисующая, сидя на полу, угольками по бересте. Вскинул голову чинящий сеть приметный мужик: широкоплечий и кареглазый, с рыжими усами и бритым на немецкий манер подбородком.

– Беляш! – оглянувшись, опричник ухватил паренька за ворот, выволок вперед, кивнул подбородком на мужика: – Этот?

– Он самый-то, боярин! – торопливо закивал корабельщик. – Он указывал, мечом махал. Остальные секли-то и кололи!

– Выходит, Потап Рябун, ты главный зачинщик разбоя и есть. – Отпустив свидетеля, Басарга полувытащил саблю из ножен. – Ну что, добром пойдешь али валить тебя сразу?

Мужик вздохнул, отложил челнок с толстой суровой ниткой, медленно поднялся. Баба взвыла, метнулась через дом от печи к мужу, повисла на шее и громко однотонно завыла. С некоторым

запозданием заплакала малышня, уронив угольки и растирая их по полу ладонями.

– Батюшка! Это кто? – закричал из сеней мальчуган, не в силах протолкаться в избу. – Помощь кликнуть?

На последние слова холопы отреагировали правильно, сцапав паренька и затащив вперед.

Подьячий мысленно отметил, что старший ребенок ненамного младше жены разбойника и сильно старше малых детишек. Видать, разбойник уже успел побывать во вдовцах и нынешняя его жена – вторая. Потап вздохнул еще раз, куда глубже, погладил воющую бабу по спине, по волосам, перевел взгляд на мальчишку:

– Теперича ты за старшего-то, Трувор. Не забудь: по жребию ныне два забора-то нашими будут, Индерская тонь и Кривая.

Баба завыла громче, скребя плечи мужа ногтями. Потап с силой взял ее за плечи, чуть отстранил, расцеловал лицо.

– Ты одевайся, что ли. – Опричник, поняв, что сопротивления не будет, загнал клинок обратно в ножны. – Холодно снаружи.

– Липа рядом, веревка в сенях, – ответил Потап. – Не успею замерзнуть-то.

– Легко отделаться собрался, – усмехнулся Басарга. – Про дыбу забыл. Али так подельников перечислишь?

Жена разбойника от таких слов тонко взвыла, бросила мужа и кинулась на опричников, что есть силы стала бить Тимофея Заболоцкого кулаками по груди. Через доспех и толстенный поддоспешник могучий боярин, знамо, ничего не почувствовал, а потому лишь неуверенно кашлянул, взял ее за плечо и осторожно отодвинул. Женщина кинулась вперед снова, но на этот раз ее нагнал сам Потап, обнял сзади, отступил, поцеловал в макушку и сказал:

– Не трать силы-то понапрасну, боярин. Не скажу я ничего. За собой людей-то добрых не потяну.

– Это душегубы твои добрые?! – вдруг выкрикнул Беляш, сдернув шапку. – Деду Мирону живот-то подобру распороли? Леху-то Пластуна руки лишили? Дядьке Шору горло перерезали?

Разбойник угрюмо посмотрел на мальца и предложил:

– Хочешь вешать-то, боярин, – вешай. И дело на сем покончим. А иначе и таковой-то радости не получишь!

– Я сыск веду, а не облаву, – ответил подьячий. – Сам оденешься, прежде чем свяжем, али тебя опосля в одеяла замотать?

Трехлетний малолетка, не переставая плакать, подполз и кулаком стукнул опричника по ноге. Боярин посмотрел вниз – и женщина, испуганно сглотнув, кинулась, подхватила ребенка.

Отскочила, прижимая к груди.

– Сам, – кратко согласился опознанный душегуб, вернулся к столу, вытащил из-под него малицу на оленьем меху и принялся неспешно облачаться. Мальчик подошел ближе, прикусив губу и глядя на него исподлобья. Похоже, он с большим трудом сдерживал слезы. – У Третьяка я ставень-то под залог полтины брал, – неожиданно вспомнил атаман разбойников. – Ты лучше деньги ему отдай, новый-то связать теперича не успеем. Ты теперь взрослый, Трувор, хозяйство-то на тебе. Не оплошай.

Он затянул завязки малицы, повернулся к опричникам спиной и отвел назад руки:

– Берите!

Холопы споро смотали руки вместе, поволокли наружу. Баба, отложив дитя, прямо босая опять с воем кинулась за мужем, его сын тоже пошел следом. Опричники отступали, держась настороже, – местные вполне могли кинуться на защиту односельчанина. Однако быстрота ареста не позволила подняться тревоге – крестьянина Потапа Рябуна служивые кинули на одну из упряжек, сами разбежались по другим, и лопари подняли свои шесты, дозволяя собакам сорваться с места.

Позади упала на колени в снег жена разбойника, остался стоять его ребенок, окруженные, словно звездами, крохотными окошками, светящимися тут и там по всему берегу. Кутаясь в толстый меховой полог, Басарга еще долго прислушивался, ожидая, как в Варзуге ударят в набат, однако колокола тревоги так и не забили. Значит – миновало.

* * *

При допросной избе, разумеется, имелся свой кат. Кто из жителей Кеми занимался палаческим ремеслом, Басарга не знал. Может – кого из стрельцов к сей службе приказом приставили, может – нашелся охотник толику серебра на чужой муке заработать. Для опричников главным было, что никому из них мараться кровью не придется и холопов к сему принуждать. Сыск ныне открытый, секретов нет.

Когда все еще связанного Потапа Рябуна приволокли в допросную избу из застенка воеводского дома, пуще всего он испугался нескольких жаровен, расставленных в пыточной. Видно было, как постоянно косился на них. Однако поставили жаровни только для тепла. Холодной изба оказалась, сэкономил воевода на печи. Видать, нечасто сие место навещал. Знамо, поморские земли – тихие, с воровством и разбоем незнакомые.

– Давай помогу… – Палач, кинув кнут на застеленный соломой пол, развязал разбойника, бережливо стянул с него малицу, рубаху и порты, сложил на скамью, вывел задержанного на середину комнаты и так же старательно связал руки веревкой, перекинутой через крюк на потолке. Басарга уселся за стол, поставил на пол сундучок, открыл, достал стопку дешевой желтой бумаги, что уже несколько лет делали на царской мельнице на реке Уче, толстостенную стеклянную чернильницу и перья, начал заполнять первый лист:

– В присутствии бояр… – подьячий вписал имена друзей, – учинен допрос варзугского крестьянина… На коего слуга купца Бачурина Беляш из Териберки как на вожака татей терских указал… – Спохватившись, Басарга поднял голову, с тревогой спросил: – Ты ведь Потап по прозвищу Рябун – али отречешься?

– Не, не отрекусь, – покачал головой разбойник.

– Ну и слава Богу, – кивнул опричник. – На тебя человек, в грабеже пострадавший, указал, что ты с сотоварищи караван купцов двинских разграбил с царскими податями, четырех корабельщиков при том живота лишил, а еще полста поранил тяжело и мало. Признаешь?

– Нет.

– А коли так, то имена сообщников… – продолжил было по инерции Басарга, споткнувшись только на середине фразы: – Как не признаешь?

– А вот так! – оскалился душегуб. – Не было-то меня там, не знаю где. Рыбу я ловил, на тоне-то своей был у Рябозера, лопари тамошние-то тому свидетели. Да токмо ныне они с оленями на новые пастбища-то ушли, не найти.

– Ты ведь при аресте от сего не отпирался! – возмутился опричник.

– Вот как не отперся-то, тогда бы и вешал. Ныне дело иное, с бумагою. А на бумагу-то сего признавать не желаю! Не виновен-то я, не было! Чи-ист! – выкрикнул Потап.

– Пишу, пишу, – успокоил его опричник. – Не признал. Посему и испрошен далее с пристрастием. Кат, начинай!

Палач кивнул, вцепился в свой конец веревки, потянул. Однако пленник оказался слишком могуч и остался стоять на месте, заметно перевешивая своего будущего истязателя. Тимофей Заболоцкий рассмеялся. Похоже, будучи столь же крупным, представил себя на месте разбойника. Но подьячему было не до смеха, и он подозвал съежившегося в углу Беляша:

– Ну-ка, иди подсоби!

Вдвоем с рыбаком кату справиться удалось. Не без труда вытянув связанные за спиной руки разбойника выше головы – так,

чтобы ноги от пола оторвались, – палач торопливо намотал натянутый, как тетива, канат на крюк в стене, глянул на Басаргу.

– Начинай, – кивнул боярин.

В воздухе прошелестел кнут, обнял тело поморца, и тот охнул от нестерпимой боли.

– Признаешь? – тут же поинтересовался опричник.

– Нет… – выдавил сквозь зубы душегуб.

Басарга опять кивнул, и кат заработал кнутом уже без остановок, мерно и работяще. Потап поначалу только вскрикивал, потом неудачно дернулся – и руки его вывернулись из плеч, могучее тело повисло на связках, разбойник заорал в голос. Опричник снова спросил:

– Нападение признаешь?

– Нет… Невиновен… – опять упрямо выдавил тот.

– А мужик-то крепок, это надолго, – недовольно сказал Софоний. – Может, мы пойдем, пива пока выпьем?

Бояре были людьми привычными и к крови, и к боли, своей и чужой. Не раз в походы ходили, в сечах рубились. И животы кололи, и кости дробили, и горло резали. Однако же допрос с пристрастием все равно оставлял у всех тягостное впечатление.

– А коли он сейчас признается? Кто подтвердит? – попытался остановить их подьячий.

– Этот не признается, – хмыкнул, поднимаясь, Заболоцкий. – Сразу видно – кремень.

– Не, не признает, – мотнул головой Илья Булданин и тоже с готовностью вскочил.

– Имейте совесть, побратимы! – взмолился Басарга. – Нельзя же одному спрос вести!

– Мы тебе верим, подпишемся…

– Да не бойся. Вернемся скоро, – пообещал Софоний. – Токмо горло промочим.

– Да признавайся же! – рявкнул на разбойника опричник.

– Не… Винов… – слабо выдохнул Рябун.

– Чтоб тебя волки съели! – зло сплюнул подьячий и рявкнул на ката: – Уснул, что ли, дармоед?! Работай!

Палач встрепенулся, удары кнута явно потяжелели. Мужик закряхтел, вздрагивая и крутясь на веревке. Басарга откинулся на стену и прикрыл глаза.

Спустя некоторое время хлесткие щелчки кнута стихли. Опричник встрепенулся, наклонился вперед.

– Обеспамятовал он, боярин, – развел руками кат.

– Ага… – почесал в затылке подьячий, взялся за перо. – Под кнутом безвинно оговоренным себя назвал… – вывел Басарга итоговую запись и отложил перо. – Выходит, на нем пока

обвинений нет.

– Знамо, нет, коли даже «с пристрастием» не признается, – пробормотал палач, развязывая веревку. Вскоре тело тяжело ухнулось на пол. Кат отволок его в сторону, уложил на солому. Сбегал к своим вещам, вернулся с горшочком, сдернул тряпицу с горлышка и принялся осторожно натирать иссеченное кнутом тело.

– Ты чего там делаешь? – спросил Басарга.

– Жир со зверобоем и подорожником, – пояснил палач. – Дабы не загнило…

Опричник одобрительно кивнул. Воспаление ран и хуже того – смерть татя от антонова огня ему тоже была бы не с руки. Пусть живет, сколько возможно.

Для ката работа оказалась привычна: управился быстро. Закрыл горшочек, поднял глаза на опричника:

– Что теперь, боярин? Душегуб-то, выходит, невинно оговорен?

– Выходит, – согласился подьячий, и они оба повернули голову на паренька из Териберки. Тот сидел в углу на собранной в небольшую кипу соломе и теребил шапку. Палач кивнул и пошел к нему.

– Вы чего? – Мальчишка, похоже, не осознал грозящей опасности и сам встал, увидев к себе интерес.

– Знамо, чего… – Кат начал его раздевать.

– А чего? – все еще не догадывался Беляш.

– Поговорку слыхал – «Доносчику первый кнут»? – Палач повел его на середину комнаты. – Ведаешь, откуда пошла? Коли Потап Рябун не тать, выходит, понапрасну ты его оговорил и истинных душегубов покрываешь. Али сотоварищи-корабельщики не сказывали тебе, отчего в свидетели идти не желают?

Да уж, доносительство на Руси завсегда было делом рискованным. Коли обвиняемый оказывался слишком крепок, то на дыбу шел уже обвинитель, а коли крепок доносчик – опять обвиняемый, и сыск с помощью безжалостного палаческого кнута продолжался до тех пор, пока один из двоих не ломался и не признавался во лжи.

Случалось – осужденным именно доносчик и оказывался.

– Признавайся, корабельщик Беляш, слуга Бачурин из Териберки, – придвинул к себе чистый лист Басарга. – Правду ли сказывал о вине крестьянина сего али напраслину возводил?

– Дык правду, боярин… – дернулся оказавшийся на привязи мальчишка, без одежды ставший вовсе щуплым и крохотным, будто искупавшийся котенок.

– А он сказывает – оговор, – виновато вздохнул подьячий и

кивнул.

Веревка натянулась, Беляш завизжал:

– Нет, не надо!!! Это не он, не он! Отпустите, не бейте!

– Чего у вас? – заглянул в пыточную Софоний и, сразу все поняв, крикнул в дверь: – Не признался, Тимофей! С тебя бочонок!

– Мы же не забивались, друже! – вслед за боярином Зориным в пыточную заглянул Заболоцкий.

– Ан все едино ты за своего татя болел.

Потап Рябун застонал, приподнял голову и тут же ее уронил.

– Коли не он, тогда кто? – спросил юного корабельщика Басарга.

– Дык, не знаю-то, не ведаю… Из Териберки я, не здешний. Окромя его, никого-то не знаю! Да и его токмо в церкви-то признал. Вижу, тать идет, каковой-то разбоем командовал… Проследил… – мальчишка заплакал. – Не надо… Не бейте…

– Опять его татем называешь? – опричник стрельнул глазами на палача, тот дернул веревку. Беляш заорал:

– Нет, нет, не он!!! Не называю!

Боярин Заболоцкий тем временем, войдя в пыточную, водрузил на стол полуведерный бочонок, ловким ударом выбил донышко, отхлебнул через край несколько глотков, крикнул:

– Илья, корец принеси!

– Вас, други, то нет вовсе, то много слишком! – не выдержал Басарга, придвинул вино, тоже отпил немного через край, прокашлялся, громко спросил: – Кого покрываешь, маленький негодяй? Сказывай!

– Нет-нет, никого-то! Не бейте! – Согнувшись, паренек уже покачивался на натянутой веревке. – Не знаю-у-у!!!

– Может, Наума Грустного из Кандалакши? Или Никодима Кислоухого? Урсуса-варяга из Умбы? Говори! – Басарга поднялся, подошел ближе, резко дернул веревку: – Покрываешь?! Кого?! Склопича Порьего покрываешь? Шитика-варяга из Порьей губы? Спиридона Соловецкого?

Рябун, постанывая, приподнялся на локте, перевернулся на спину, вскрикнул.

– Лежи тихо, душегуб крепленый, – посоветовал ему боярин Тимофей, черпнул вина, подошел, присел рядом: – На, выпей. Легче будет.

– Кат, кнута ему!

– Не-ет! Не бейте! Я все скажу, все!

– Покрываешь?

– Покрываю!

– Кого?!

– Всех… Покрываю… Не бейте!

– Наума Грустного покрываешь?

– Да!

– Никодима Кислоухого?

– Да!

– Урсуса-варяга?

– Да… – опять захныкал Беляш. – Только не бейте, дяденька!!!

Басарга взялся за перо, стал торопливо записывать показания. Софоний обошел стол, присел на краешек, тихо спросил:

– Ты чего делаешь, друже? То ведь не он сказывает, то ты сам разбойников выбираешь. А вдруг невинных повяжешь?

– Не боись, тех, кого надобно, возьмем!

– Откуда ведаешь?

– А я провидец, – подмигнул ему Басарга.

Потап Рябун издал звук, больше похожий не на стон, а на проклятие. Подьячий поднял голову, встретился с ним глазами. Разбойник зло оскалился.

– Я сюда на сыск приехал, Потап, – сказал Басарга. – И я вас повяжу. Всех. Не сумневайся. – Опричник повысил голос: – Снимай вопрошаемого с дыбы, кат. Ныне с него достаточно.

Поутру собачьи упряжки снова помчались в путь, чтобы сцапать заподозренных в разбое с Порьей губы и из Колвицы. Вместе с опричниками ехал бледный паренек из Териберки, который при указании на найденных Басаргой поморцев согласно кивал:

– Этот! – после чего жертву немедленно вязали и кидали на нарты.

Застенок, приготовленный воеводой для возможных пленных, но пока плотно забитый сеном – пришлось вычищать, сметывая заготовленный для лошадей корм в открытый снегу и ветрам стог. Теперь в застенке было тесно и шумно. Но еще шумнее – на дворе, где постоянно стенали и плакали жены и матери схваченных разбойников. Боярин Оничков морщился и ругался, лишившись привычного сонного покоя, но несчастных не гнал и даже дозволял им греться в людской своего дома. Что поделать – по обычаю, на содержание арестантов казна никогда не тратилась. Есть и одеваться они должны были в то, что принесут родичи или «Бог пошлет»[16]. Так что плачущие под окнами тюрьмы семьи – неизбежная часть любого сыска.

Сыск же тянулся вяло. Крестьянин Никодим Кислоухий от участия в разбое отрекся решительно, указав на то, что до его выселок двинские ладьи не дошли и потому он о них не знал и знать не мог. Спиридон Соловецкий назвал поручителей, что могли подтвердить его поездку в Кандалакшкую обитель аккурат

в дни разбоя, солевар Урсус утверждал, что просто проплывал мимо стоянки и на глаза корабельщику попался случайно, Скопич и Шитик даже на дыбе клялись, что не грабили двинцев, а токмо помочь им пытались и бежали в лес вместе с несчастными жертвами. И только то, что в рассказе последних было слишком много путаницы, оставляло надежду на новые подробности.

Спустя неделю подьячий Леонтьев приказал снова доставить на допрос Потапа. Рядом с ним всю дорогу бежала замотанная в какие-то лохмотья баба, воя и скуля. Время от времени она обгоняла мужа и кидалась на колени перед Басаргой:

– Помилуй, боярин! Не убивец-то он! Христом-Богом клянусь! Смилуйся-то, не губи!

С большим трудом удалось вытолкать несчастную за дверь, не пуская в пыточную. Внутри кат раздел разбойника, смотал ему руки за спиной, отступил, покачивая кнутом.

– Чего хочешь от меня, боярин? – оскалившись, спросил его мужик. – Я ведь здесь-то лежал, когда ты щенку бачуринскому спрос учинял! Все слышал! Отказался-то он от слов своих. Оговор это был пустой. Я к татьбе-то непричастен.

– Лежал, молвишь, – подошел ближе опричник. – Коли так, то слышал и то, что вас, душегубы, я поименно ведаю. Просто всех отловить еще не успел. Завтра в Кандалакшу за груманами поеду, опосля в Умбу за варягами. Ты крепок, да ведь таковые не все. Из полусотни хоть един, да заговорит. А как только один признается, то и остальным отпираться смысла нет. Заговорят все разом. Дыбу мало кому стерпеть по силам. Ты атаманом в разбое был. Я о том знаю, ты о том знаешь. Так что укажут на тебя сотоварищи, не отвертишься.

– Как укажут, боярин-то, тогда и спрашивай! – вскинул подбородок Потап. – Ныне чего пристал?

– На совесть твою христианскую надеюсь. Что покаешься, дабы грех с души своей снять.

– Не в чем мне каяться, боярин! По совести-то поступал, и люди все дела мои одобряют.

– Может статься, потому одобряют, что пока еще никто, кроме меня одного, не ведает, кто двинцев рубил и резал, кто ладьи грабил, куда добро увозил. Но как сыск свой я закончу, кару свою получите полной мерой, все до единого! Вспомни, виновных я поименно называл. Отловить оных до весны успею, выслежу.

– Знать ты, может-то, и знаешь. Да беззаконно по подозрению пустому-то людей честных на дыбу вешать. Как бы государь тебя самого за то на дыбу не вздернул! Общество ведь бесчинства-то твои без жалобы не оставит!

– Четверо невинно убиенных, полторы тысячи рублей убытку… Обществу и без того есть над чем поразмыслить. Что до тебя, душегуб… – Басарга вернулся к столу, поворошил бумаги, нашел нужные листы. – То по спросу с пристрастием ты невиновным сказался, корабельщик же Беляш от доноса своего отрекся. Я человек царский, дело свое по закону, без бесчинства творю. Посему висеть тебе здесь снова по весне, когда иные тати на тебя укажут. Ныне же, как ни жаль, карать права не имею. Дома продолжения жди…

Опричник пересек пыточную и распахнул дверь, впуская хнычущую бабу, кивнул на не верящего своим ушам мужика:

– Забирай!

Вслед за вожаком разбойников Басарга отпустил восвояси Спиридона и Никодима, остальным же посоветовал запастись терпением, пока он прочих подельников разбоя привезет, – и отправился к своим побратимам пить воеводское вино и закусывать воеводской семгой.

– Полагаешь, попадутся? – поинтересовался Софоний, зачерпывая ковш терпкой петерсемены и протягивая подьячему.

– Надеюсь, ибо иначе сыск воистину до весны растянется. А может статься, и до осени, – приняв корец, жадно осушил его Басарга. – Хотелось бы побыстрее, бо по Москве я уже сильно соскучился.

– Смотри, как бы навеки в снегах здешних не остаться!

– Ништо, – покачал головой боярин. – Их на большое-то дело всего полсотни собралось. Тут же, мыслю, и двух десятков не выйдет.

– Лопарей токмо жалко, – покачал головой Тимофей Заболоцкий. – Они ведь, как дети, наивные и беззащитные. Посекут их, ой посекут.

– Гнать или скидывать, – посоветовал Илья. – Кому они нужны, лопари-то? За ними не охотятся.

На рассвете опричники, как Басарга и обещал, отправились в Кандалакшу. Два дня пути оказались потрачены впустую – местные жители дружно поведали, что артель китобойная, все люди до единого, на богомолье в монастырь Соловецкий вдруг отправились.

Погрустив, бояре переночевали в местной обители и поутру двинулись, дальше, в Умбу.

Накатанный поморцами тракт шел в полуверсте от берега – кому охота ноги на камнях и корнях ломать, когда рядом ровная и прочная дорога зимними морозами проложена? Темная лесистая суша то отступала, то вдруг выбрасывала каменистые мысы почти до самой дороги; то пряталась за обширные

камышовые заросли, то расстилала широкие плесы, в которых песчаные пляжи и вода, спрятанные под снежным одеялом, незаметно переходили друг в друга.

Бояре лежали тихо, укутавшись в теплые меховые пологи, упряжки мерно катились по сверкающему под низким солнцем насту. Собаки дышали паром, быстро перебирая лапами, даже не оглядываясь на своих каюров, словно предоставленные самим себе. В этой свободе четыре самые сильные упряжки ушли почти на три сотни саженей вперед, остальные одиннадцать держались совсем рядом.

Впереди показался очередной мыс, опушенный на кончике камышовыми зарослями. Басарга, ехавший на первых нартах, опустил руку к щиту, берясь за рукоять. Однако его упряжка, равно как и упряжка Тришки-Платошки, и пустая – промчались мимо плотной коричневой стены, опушенной черными кисточками, никем и ничем не потревоженные. Опричник разжал было руку – и тут вдруг позади раздался громкий переливчатый свист.

– Назад! – поднявшись, схватил лопаря за плечо боярин. – К мысу правь!

Нарты соскочили с гладкого наста на снег, прыгая и разбрасывая снежную пыль, стали быстро разворачиваться, направляясь к самому основанию камышовых зарослей. Басарга, выхватив саблю и сжимая щит, стоял на одном колене и смотрел, как по ту сторону мыса разворачивается смертная схватка. Его побратимы, спрыгнув с нарт, быстро шли вперед, прикрываясь щитами. Высыпавшие из зарослей люди бежали опричникам навстречу, размахивая топорами и мечами. В воздухе мелькнуло несколько гарпунов. Но попадали они, естественно, в щиты – бояре их просто отбрасывали, и холопы тут же подавали хозяевам другие.

Гарпунов подьячий опасался превыше всего – и о том, как от них прикрыться, позаботился особо, прихватив по четыре деревянных диска на каждого опричника. А вот поморы, похоже, до такой простой вещи, как передовой дозор у врага, не помыслили, прикрытия не выделили – и теперь Басарга с холопом беспрепятственно выскочили на мыс, отрезав татям единственный путь отхода к лесу.

Тут камыши затрещали, на тропку выскочили четверо мужиков в меховых шапках и длинных кафтанах из толстой кожи. Двое – с гарпунами, толщиною в руку, и наконечником, похожим на лезвие бердыша. Замахнулись…

Услышав резкий выдох, боярин пригнулся, толкнул вперед щит, подпирая левый край локтем, правый – рукоятью сабли, а

нижний опустив на колено.

Хруст, толчок! Толстое граненое острие пронзило доски, выйдя с внутренней стороны на добрых две ладони, и остановилось всего в вершке от лица опричника. От мощного удара колено и локоть сразу заныли, а щит отвалился. Крепко засевшее в нем оружие чуть не в пуд весом за рукоять было, понятно, не удержать.

Услышав второй выдох, подьячий кинулся вправо, падая в снег, и второй гарпун, что должен был пронзить его, когда опустится деревяшка, мелькнул мимо.

– Тришка!

– Лови! – Холоп отстал на несколько шагов и потому запасной щит не подал, а метнул, только чудом не раздробив им хозяину ступню.

– Запорю! – выдохнул Басарга, но совсем тихо и невнятно. Поморцы сейчас его беспокоили куда более, нежели наказание непутевого слуги.

– Бей его! – Четверо разбойников дружно ринулись вперед, теснясь на узкой тропке, и один тут же отстал, ступив в сторону и увязнув по колено. – Смерть!

Несмотря на грозный вид, широкие плечи и немалую силу, грумланы Басаргу особо не пугали. Метнув гарпуны, они остались с ножами, а вот хмурые бородачи в малицах за ними походили на охотников и могли удивить неожиданностью…

– Сдохни! – Первый попытался уколоть коротким лезвием засапожника.

Опричник просто отгородился от него щитом, рубанул второго по груди. Тот отпрянул, раскидывая руки – чтобы не отрубили. Басарга же, отдергивая клинок, увел его под щит, подсекая первому противнику ноги, прыгнул на второго. Тот пригнулся. Не столько увидев опасность, сколько почуяв ее нутром, боярин качнулся, поворачиваясь, – топор врезался ему в плечо, снося, срывая с бахтерца железные пластины и опрокидывая опричника на спину.

– Ага!!! – Грумлан кинулся в атаку, вскидывая нож, и сам же напоролся на выставленное острие сабли. Вскрикнул от боли, опустил глаза, бросил нож и схватился за живот, пытаясь задержать струящуюся кровь. Отпихнув его ногой, Басарга поднялся.

Бородач осуждающе поцокал языком, вытянул косарь, удерживая его лезвием вниз, левой рукой расстегнул пояс, быстрым движением намотал на руку, превращая ее в подобие щита.

Тут неожиданно для обоих на тропу выбрался завязший в

снегу второй охотник, вскинул топор, ринулся в атаку…

– А-а-а!!!

Опричник подставил под удар щит, а когда помор попытался выдернуть крепко засевшее в дереве оружие, оглушил его ударом рукояти в челюсть.

К этому моменту как раз подоспел Тришка-Платошка, тоже выхватил саблю и стал по широкой дуге обходить бородача, норовя оказаться за спиной. Басарга решительно двинулся вперед, не позволяя врагу ни отступить, ни оглянуться, и… Охотник распрямился, решительно бросил на снег и нож, и пояс:

– Твоя взяла, боярин, вяжи… Верно Потап сказывал-то, нельзя тебя трогать. Токмо хуже прежнего все-то обернется.

– Верно сказывал, – согласился Басарга. – Раньше я токмо про пятерых из вас проведал, теперича половина в руки пришла.

– Дозволь пораненным помочь? – Охотник указал подбородком на грумланов, что катались в снегу, оставляя кровавые пятна.

– Дозволяю. Токмо… Тришка, пощупай его. Как бы засапожника или кистеня бывалый человек не заныкал.

– Эх, боярин… – Бородач вытряхнул из рукава на снег железный шарик на ремешке, потом извлек из голенища короткий нож с роговой рукоятью, положил рядом. – Верно Потап молвил-то, провидец.

– Тришка, проверь!

Холоп подступил, охлопал пленника и вскоре показал Басарге еще один, узкий и длинный, как шило, нож.

– Вот теперь лечи, – разрешил опричник.

Боярин Леонтьев бросил щит с засевшим в нем топором, отобрал у холопа целый, быстро обогнул камышовые заросли – но его побратимам помощи не требовалось, справились.

Поморов в засаде сидело осьмнадцать человек, еще трое ждали в лесу с лошадьми и санями. Бояре взяли всех, кроме коноводов, успевших прыгнуть в седла. Кого оглушили, нескольких ранили, иные сдались сами, поняв, что топором и ножом одетых в доспехи опытных воинов не одолеть. Кабы гарпуны в цель попали… Но не вышло, щиты помешали.

– Теперь и в Умбу не надобно, – решил подьячий, брякая оборванными пластинами доспеха, и приказал холопам: – На сани татей кидайте и в Кемь везите. Теперь сыск не то что сдвинется, птицей полетит…

Учитывая прежний опыт, опричники первыми подвесили на дыбу не упрямых мужиков, не привыкших к лишениям груманов или покрытых шрамами охотников, а поморов помоложе. Тех, что считали разбой за игру, а про войны знавших лишь из лопарских

сказок. И начался спрос не с двинского разбоя, а с засады, устроенной против царских слуг, – отрицать которую взятым на месте татям смысла не имело. А когда бедолаги разговорились – уже и на прежние душегубства разговор перешел.

Вскоре допросные листы стали заполняться – а вслед за ними заполняться застенки, под которые воеводе пришлось отвести еще два амбара.

Перед Рождеством собачьи упряжки снова въехали на лед Варзуги, промчались до деревни, легко вознеслись на берег, остановились перед храмом, сзывающим мерным звоном на службу. Опричники, сверкая бронями, поднялись на крыльцо, скинули шлемы и вошли внутрь, остановившись у дверей. Перекрестились на иконостас. Басарга принюхался к сладкому ладанному дыму, посматривая по сторонам.

Могучего Потапа Рябуна найти было нетрудно: на голову над всеми остальными возвышался. Подьячий поманил его пальцем. Тот несколько раз осенил себя знамением, отвесил алтарю низкий поклон, подошел:

– За мной?

– Ты знаешь, нет, – с усмешкой покачал головой Басарга. – На тебя разбойники выловленные не указывают. Видать, и вправду чист…

В церкви наступила звенящая тишина. Прихожане внимательно прислушивались к разговору.

– Однако же сыск проведенный показал, что в нападении на слуг царских еще трое татей замешаны. Малые Зимник, Неждан и Трошка из Варзуги в схроне лошадей удерживали, пока разбойники старшие на убийство отправились. От места нападения они скрылись, однако же имена их известны, и ныне к допросу их призвать надобно, а опосля и к наказанию.

Среди прихожан кто-то охнул, метнулся к выходу – и отпрянул, ударившись в закрывающих собой двери опричников.

– Ты, Потап, местный, здешних жителей знаешь. Вот и укажи, где сии недоросли прячутся. На дыбе их место да на виселице. Сам понимаешь, как за дела кровавые платить надобно. А ты живи вольно и счастливо. Супротив тебя никаких показаний нет.

– А коли не укажу? – пересохшим голосом ответил мужик.

– Ничто, – пожал плечами Басарга. – Сами найдем. Дело привычное. Живи, детям радуйся. Совесть твоя чиста, ты оправдался. До тебя сыску дела нет.

– Молчи-и!!! Потапушка! Милый, родненький, нет! – Жена рыбника раньше всех поняла, чем кончится этот разговор, побежала к мужу, сорвав с головы цветастый платок. – Как мы без тебя?!

– Коли покаюсь… Детей-то помилуешь?

– Покаешься и как на духу обо всем расскажешь, – потребовал подьячий. – Во всех подробностях. Кто зачинщик, кто грабил, кто колол и резал, куда добро спрятали? Все!

Женщина с разбегу врезалась в мужа, обхватила руками за шею, дотянулась губами до щеки, но разбойник даже не покачнулся, он повернулся к варзужцам, собравшимся в церкви, и низко им поклонился:

– Простите, люди-то добрые, коли обидел кого али обижу. Виноват. Грешен. Ужо-то не исправить.

– Иди, собирайся, – похлопал его по плечу Басарга. – Собаки ждут.

Впрочем, с таким же успехом можно было приказать Потапу приехать в Кемь и явиться в пыточную. Куда бы он теперь делся? Рыбарь и ехал несвязанным, и в допросную избу пришел сам, и сам разделся, присев голым на скамью в ожидании того, пока подьячий разложит свои бумаги и письменные принадлежности.

– Откуда ты проведал-то, кто средь поморцев на разбой пошел, боярин? – неожиданно спросил рыбак. – Ты же с Москвы-то, никого здесь не знаешь!

– Это просто, – ответил Басарга. – Так просто, что и сказывать не стану. Лучше провидцем считай.

– Стало быть, ловушкой-то обещание твое было? – кивнул Потап. – Я сразу догадался. И не сказал бы никому, да баба-то разболтала. Упредить хотела, позаботилась… Они же, дураки, испугались-то, решили голову твою, больно умную, снести. Насилу сына дома удержал. Он ведь тоже-то рвался.

– На воре шапка горит, – ответил опричник. – Достаточно крикнуть погромче, сами себя и выдаете.

– Обманом, стало быть, детей под дыбу-то да на виселицу заманиваешь? А опосля ими прикрываешься? И как тебе спится, боярин-то, после хитростей таких? Совесть черная-то не душит?

– Моя совесть о четырех убиенных, что на Терском берегу лежать остались, в ухо шепчет, – спокойно ответил подьячий. – Коли не так что сделал, они меня у Всевышнего отмолят. Так что давай, сказывай. Пора с делом сим заканчивать.

Потап перекрестился, вышел на середину пыточной, свел руки за спиной, подставляя их под веревку дыбы.

– Ты чего там мнешься? – удивился Басарга.

– Спроса жду, боярин. Кат-то где?

– На дыбе не твое место, Потап, а мальцов, каковые под кнут пойдут, коли чего утаишь али обманешь. Для тебя же дыба баловство. Коли что, ими тебя пытать стану.

– Подлая-то у тебя все же душа, боярин, – скрипнул зубами

вожак разбойников. – Ох, подлая да лживая-то.

– О своей подумай, – ответил опричник, макая перо в чернильницу. – Сказывай, как о душегубстве сговаривались. Чей умысел? Твой али самого совратили?

Допрос длился до утра, однако же мучился подьячий Леонтьев не зря. Сыск был окончен. Теперь он знал все до мелочей.

Самолично отведя разбойника в амбар и затворив за ним засов, Басарга поднялся в свою светелку, стал раздеваться, отчаянно зевая. В глубине комнаты послышался шорох. Боярин тут же метнулся в сторону – на случай, если что-нибудь кинут, – на ходу сцапал с сундука пояс, выдернул саблю, развернулся, вскинув клинок:

– Кто тут?!

– Это я, Светлана. – Наступивший за окном рассвет высветил в изголовье постели девушку лет пятнадцати в платке и нарядном вышитом сарафане. – Исидора-то Кандина дочка.

Она облизнулась и внезапно стала торопливо раздеваться: скинула платок, сдернула сарафан, развязала пояс и спустила юбку, уронила на пол рубаху, в считаные мгновения оставшись совершенно обнаженной. Выпрямилась, опустив руки вдоль тела и развернув плечи.

Опешивший от такого зрелища опричник медленно опустил саблю.

– Делай-то со мной, что токмо пожелаешь, боярин. В невольницы-то свои забирай. Токмо батюшку помилуй!

– Душегуб твой батюшка, – вздохнул Басарга. – Суд его ждет. Ныне сбираемся да через неделю в Москву поедем.

– Отпусти… Его токмо-то отпусти. Тихонечко. Никто и не узнает-то, не заметит. А я отслужу, отработаю. Верной рабыней стану!

– Не могу. Права такого не имею.

– Но ведь малых вазугских-то ты отпустил? Так почему батюшку…

– Вот проклятье! – зло сплюнул подьячий. – Теперь уже и о сем проступке молва разошлась! Раз двадцать теперь донесут!

Он схватил с пола одежду девушки, сунул ей в руки, отворил дверь и выпихнул вон.

Выспаться не удалось. Не успел опричник провалиться в небытие, как его плеча уже коснулся холоп:

– Прости, боярин, воевода кличет.

– Чего ему надо?

– Нешто он мне сказывать станет!

Тихо ругаясь, Басарга оделся, вышел на двор. Здесь светило

солнце. А стало быть, при здешнем коротком дне, ему не удалось отдохнуть и часа. Крепость же была бодра и шумна. У застенка и амбаров с пойманными разбойниками гудела толпа – родичи пришли подкормить своих братьев или мужей, показать им детей, поведать о домашних делах. Стрельцы выгружали солому, что уходила ныне с невероятной стремительностью. Ее ведь и заместо постелей стелили, и у порогов всех кидали ноги вытирать, и земляные полы застилали от грязи. А коли вместо трех десятков стрельцов в Кеми две сотни народу постоянно толчется – так и солому стаптывают вдесятеро быстрее.

У коновязи хорошо одетые слуги расседлывали тонконогих туркестанских скакунов. Упряжь была под стать лошадям – шитая серебром, украшенная самоцветами, седла крыты бархатом.

Внезапно на пороге воеводского дома появился в распахнутой шубе купец Прокоп Бачурин, подергал себя за бороду, сошел по ступеням, направился к амбару, растолкал баб, остановился в дверях:

– Что, попались-то, душегубы, голодранцы поморские? Знал я, ведал-то, царский сыск все до донышка раскопает! Висеть вам всем-то ныне, висеть окрест на сосенках и тушками морожеными звенеть! – Откупщик довольно расхохотался и зашагал через двор дальше. Видать, до ветру.

Опричник, с трудом разлепляя глаза, вошел в дом, прошел в горницу – где, понятно, был накрыт богатый стол, – сел напротив боярина Оничкова, решительно налил себе вина в стоящий на краю медный кубок, выпил и спросил:

– Чего звал, воевода?

– Да тут, вишь, купцы холмогорские нагрянули… Подарков привезли… Угощение… – Судя по тому, как заплетался язык боярина, угощение было обильным и хорошо опробованным. – Я тебя к столу кликнуть-то и намеревался. Тебя же нет нигде и нет…

Басарга только вздохнул. Понятное дело, никто днем и не подумает, что другой человек спать может. С искренней душой боярин желал с ним трапезу разделить.

Опричник налил себе еще, выпил, передернул плечами:

– Рябиновая?

– Горчит?

– Крепка… – Подьячий осмотрел стол и наколол себе буженины. Здешнее рыбье изобилие уже начало его утомлять. Хотелось мяса, курятины, потрошков.

– О, боярин Леонтьев! – появился в дверях пахнущий снежной свежестью и сливянкой купец. – Прошу принять-то мои уверения восхищения! Так быстро-то, и всех до единого! Всех татей

отловить! Теперича будут-то знать свое место, голодранцы! Дозволь сим скромным даром-то выразить свое уважение…

Откупщик сунул руку под шубу и выложил на стол тяжело звякнувший кошель.

– Хочу увидеть, как их повесят!

– Коли суд в Москве сие решит, так и увидишь.

– Отчего в Москве? – изумился откупщик. – Тут разбойничали-то, тут и вешать!

– Я не судья, – наколол еще буженины Басарга. – Мое дело сыск провести и на суд боярский представить.

– Ты же подьячий, боярин! Нечто своей-то волей не можешь справедливость утвердить? Известное дело, любой-то боярин, любой староста пойманного татя вешать в полном праве! Так чего тянуть?! Увидеть желаю сие чудесное зрелище.

– А потому, как ты иск подавал, – пропустил мимо ушей его слова опричник, – то и тебе туда ехать.

Откупщик, поджав губы, хмыкнул. Снова полез под шубу:

– Чего тянуть, боярин-то? Давай здесь с делом-то сим покончим. Ведомо мне, в полном ты своем праве. Быстро-то и по справедливости.

– Суд такие дела решает, не я.

– Время жаль понапрасну-то терять. Дело-то ясней ясного.

На стол лег еще один тяжелый кошель.

– Я государю служу, купец. Не тебе, – покачал головой Басарга. – Посему по царским законам дела вершить стану, а не по своеволию или обычаям местным. Добром поедешь али вязать надобно?

– Да добром-то добром, – усмехнулся откупщик. Правда, безо всякого веселья. – Коли только в Москве увидеть-то выйдет, как душегубов вздергивают, то уж съезжу.

– Тогда собирайся. – Опричник выпил еще кубок и, решительно развернувшись, отправился к себе.

Однако, войдя в светелку, обнаружил там сразу трех разительно различающихся внешне девок: светлую, темноволосую и рыжую; большегрудую и совсем плоскую, широкобедрую…

– Никого не отпущу! Пошли вон отсюда! – рявкнул подьячий. – Тришка, паршивец, ты пропустил?

– Ты погодь, боярин-то, не горячись, – подал голос седобородый щуплый старик в вытертом заячьем тулупе, что сидел за столом на сундуке, поставив подбородок на клюку, вырезанную из соснового корня. – Не со зла-то твой холоп двери открыл, а Бога ради, слова моего послушав. Ступайте, девоньки, дозвольте-то наедине с человеком царским поговорить…

Простая одежда, смелость в речах и возраст гостя пригасили

гнев опричника. Не иначе, старец среди местных людей блаженным числится. Такая уж у юродивых манера: где нагишом с прибаутками попляшут, а где степенную речь заведут. Где молятся истово, а где слово важное на ухо шепнут.

Басарга посторонился, выпуская баб, закрыл за ними дверь, перевел взгляд на гостя.

– Я дряхл и слаб, – не снимая подбородка с посоха, продолжил свою речь старик, – смерти-то не боюсь, давно уже дожидаюсь. Посему скажу тебе прямо: недобрым-то людям ты служишь, с бесами и злобой черной-то связался, беда за тобою идет. Гореть в аду тебе предречено, коли-то не одумаешься. Однако же мы тоже нечисты. Грех душегубства на нас лежит, того отрицать не могу.

– Кто ты таков, вещун? – поинтересовался боярин.

– Никто, боярин, – поднял на него бесцветные глаза старик. – Голос я, каковым-то с тобою берег Терский беседует. Общество меня прислало, о суде-то своем известить.

Басарга Леонтьев молча кивнул. Как это нередко случалось, устами блаженных народ земной свое мнение власти Божьей высказывал. И представителем власти здесь, в северных краях, ныне был он, царский опричник, подьячий Монастырского приказа.

– Так решило общество, что грех-то смертный есть и за то виновных покарать ты вправе. На дурной поступок зачинщики-то людей многих смутили. Имена оных тебе ведомы. Потап Рябун, Урсус-варяг, Никодим Ледяной. Они артельщиков-то своих и соседей на душегубство подбили. Их можешь смертию казнить, то тебе и для сыска надобно, и государю о сем доложиться удобно. Семьи убиенных-то община на свой кошт возьмет, вдов прокормит, детей вырастит. Остальных же повязанных, боярин, тебе по совести отпустить-то надобно. Полста мужей крепких, боярин! Это же всему краю разор. Кто в море ходить-то станет, тони править, лес рубить? Семьи многие есть что станут? Тех же вдов и сирот-то кормить кто станет? Коли мужиков изведешь, так ведь и семьи погибших безвинно без куска оставишь.

Старик выложил на стол звякнувший металлом замшевый кошель. Не такой тяжелый, какими откупщик Бачурин разбрасывался, но все же немалый.

– Тебя, знамо, тоже живота-то лишить пытались. Но ты за то не серчай. Спужались. Ты же человек служивый, тебе смерти бояться-то не к лицу. Общество наше небогатое, большого откупа за помилованных разом-то дать тебе не сможет. Однако же на себя тягло возьмем по пятку рыб-то хороших тебе от семьи каждое лето класть, по пуду соли. Девок ладных присылать

станем, дабы прислуживали-то да веселили… Ну, знамо, их не от семьи, а от всего общества, и не в лето раз, а как прежняя надоест. А соль и семгу… Скольких помилуешь, со стольких-то и тягло.

– Один Бог на небе, один царь на земле, – подумав, ответил Басарга. – Иоанн Васильевич есть помазанник Божий, и посему токмо его суд решать станет, кто прав, а кто виновен и какой мерой кого карать. Его волю исполнять стану и общество заставлю.

И Басарга уже который раз за день красноречиво отворил дверь.

Старик ушел, опричник упал на постель – однако выспаться все равно не удалось. Только Басарга погрузился в дрему, как дверь громко хлопнула, в светелку ввалились побратимы, наполнив комнатенку топотом и гомоном, запахом вяленой рыбы и ароматом меда. Кто-то сразу бухнулся за стол, кто-то зашуршал у окна, кто-то направился к постели. Леонтьев попытался притвориться спящим, мерно дыша и не шевелясь, но Софоний Зорин все равно с силой похлопал его по плечу:

– Ты чего, спишь, друже?! То-то тебя нигде не видно.

– Сплю, – ответил Басарга, не открывая глаз.

– Так вставай, день на дворе! Илья, корец подьячему поднеси, да с закусочкой… Отпробуй, побратим, каким балыком сладким нас нынче угостили. И вином хлебным, двойной перегонки, да фильтрованным, да на грибах и клюкве настоянным!

– Не хочу!

– Попробуй, попробуй, оно того стоит. Вкус изумительный. Запах же, ровно нос в кадку с пряностями засунул. Как в усадьбу вернусь, обязательно велю такую же настаивать… – Это уже был голос Тимофея Заболоцкого.

Потом в нос забрался чуть горьковатый аромат белых грибов… И опричник сломался – сел на постели, принял чеканный медный кубок, опрокинул в горло, взял из рук Ильи нож с толстым ломтем рыбы и сразу попросил:

– Еще налей. Может, хоть упаду?

– От это дело! – обрадовался Софоний, отошел к столу за кувшином. – Кстати, друже, не скажешь, чего ты с душегубами пойманными решил? Люди сказывают, в Москву их гнать собрался.

– Собрался. Иоанн с сыском послал, ему и отчет, он и судить будет.

– Где же это видано, чтобы государи самолично на каждого разбойника время свое тратили? – изумился Илья Булданин. – Повесить их, и вся недолга! На осинах придорожных душегубам

самое место. Путникам для спокойствия, татям в назидание.

– Это ты так считаешь али научил кто? – окрысился Басарга.

– А чего, не так разве? – развел руками Булданин.

– По закону вешать взятых на месте полагается, – внезапно вмешался боярин Заболоцкий. – А кого через сыск выследили, того судить.

– Но ты ведь по сыску и своей волей дело решить можешь? – налил ему вина Софоний.

– И ты, брат? Тебя тоже науськали?

– Скрывать не стану, друже, – пожал плечами боярин Зорин. – Подходили многие, сказывали разное. Иные кого из татей вызволить желают, иные сжечь всех скопом прямо в амбаре. Мыслю, родичи убитых при разбое. Так крови жаждут, что приплатить готовы.

– Царь послал, царю судить! – упрямо набычился Басарга. – В Москву повезем!

– В Москву так в Москву, – согласился Софоний. – Так впредь отвечать и станем.

У Басарги словно камень с души упал. Он вскинул кубок и провозгласил:

– За вас, други! Что бы я без вас делал…

Попировав еще пару часов с побратимами, Басарга все-таки уснул – прямо за столом, повалившись набок на сундук. И снилось ему, как по дороге через лес он провалился в глубокую снежную яму, запутавшись там в прочных сосновых корнях. Как на крики его сбежались все лесные обитатели и стали что есть мочи рвать его в разные стороны: росомахи тянули одну ногу, лисы – другую, волки вцепились в левую руку, барсуки – в правую. Медведь же обхватил лапами голову и выкручивал столь яро, что опричник вздрагивал и тихонько рычал…

Однако, когда солнце осветило его лицо, опричник легко поднялся, ощутив себя хорошо отдохнувшим и на диво выспавшимся. Остальные бояре продолжали дрыхнуть. Илья и Тимофей – на постели, Софоний – на сундуке напротив, ухитрившись на столь малом месте раскинуть руки.

– Боярин? – шепотом позвал от двери холоп. – Тебя воевода к столу приглашает. Лакомство ему какое-то к завтраку привезли. Удивить желает.

Володимир Оничков одет был хорошо – шуба песцовая, штаны суконные, шапка соболья, – однако выглядел неважно. Красное, сильно опухшее лицо; осторожные движения, выдававшие у него сильную головную боль, грязные усы и борода, к которым присохли разные крошки.

– Присаживайся, подьячий, отведай, чем Бог послал, –

пригласил его воевода к небольшому столу, накрытому в светелке рядом с опочивальней.

Крохотная комнатка явно назначалась для посиделок семейных, наедине с женой, прежде чем ко сну отойти, либо на рассвете найти чего испить. Так что приглашение такое за честь можно было считать: почти в семью позвали, за близкого сочли. Стол ломился от яств: лотки с заливным, блюда с нарезанной рыбой, миски с грибами и ягодами, тарелки с каким-то красным мясом, два кубка, три медных кувшина… Вроде немного – так и столешница невелика.

– Давай выпьем, боярин, за успех сыска твоего, – взяв один из кувшинов, торопливо разлил вино воевода. – Славно ты управился, и быстро на диво.

– Быстрее хотелось, – признался Басарга, но воевода, не слушая его, опрокинул кубок, тут же налил еще, потянулся кувшином в сторону опричника. Пришлось тоже отпить.

Вино было прозрачным, чуть горчило и пахло грибами. Похоже, и побратимов, и воеводу Оничкова угощали из одной бочки.

– За здоровье! – Боярин выпил еще раз, веселея на глазах. Отрезал и положил себе на хлебный ломоть кусок рыбы, ткнул ножом в сторону тарелок мяса: – Вот, испробуй, подьячий. Медвежатина соленая. На морозе хорошо просаливается. Портиться не может, вот и просаливается. У вас в Москве такой не найти. Не везут. Мало медвежатины северной добывается, а цены хорошей не дают. Вот и не везут. Поморы сами ею наслаждаются.

Басарга послушался, отрезал себе ломоть мяса, потом еще один и еще. Согласился:

– Вкусно.

Правда, на его взгляд, ничего особенного в угощении не было. Мясо как мясо. Обычная солонина. Свинина, пожалуй, даже вкуснее будет.

Воевода наполнил свой кубок, выпил. Отставил опустевший кувшин, взялся за другой. И неожиданно прямо в лоб спросил:

– Отчего зачинщиков повесить не желаешь, боярин?

– Не по закону сие, воевода. Надобно судить их по совести и справедливости, коли все сведения о душегубстве собраны.

– Для разбойников-то справедливость одна: петля да осина. – Володимир Оничков осушил еще кубок и наконец-то расслабился, отставив его в сторону. – Так чего тянуть?

– Дабы закон соблюсти.

– Откупщики холмогорские жаждут увидеть татей повешенными, – шире раздвинул на груди шубу воевода. Вестимо,

от жары мучился. Все-таки дом был прекрасно натоплен. Однако же знатному боярину по обычаю положено шубу носить, что достоинство и достаток его доказывает. Вот и мучился Оничков. – Так желают, что за то сто рублей отсыпать готовы. А поморцы желают родичей своих спасти, выкупить. Детей, мужей. Никакого серебра за них не пожалеют. Ты подьячий, боярин царский, сыск полный учинил, виновных знаешь. Так давай при Бачурине-купце зачинщиков повесим, он порадуется да поедет. Время свое зело ценит, не задержится. Опосля остальных-то помилуешь и семьям отдашь. Тебя никто не попрекнет. Сыск проведен, виновные наказаны. Государь будет доволен. Откупщики довольны останутся, поморцы довольны останутся, ты с деньгами немалыми останешься. Да и мне перепадет. Всем хорошо. Так чего же ты упрямишься, боярин?!

– Разве не целовал ты креста государю на верность? – спросил в ответ Басарга. – Разве не клялся служить ему по чести и совести, не жалея сил? Так почему ты думаешь не о том, что честь и присяга от тебя требуют, а о том, кто доволен, а кто недоволен поступком твоим останется? Не об исполнении долга своего печешься, а о прибытке личном? Я прислан виновных в смуте найти, а не суд скорый творить! И как человек чести, приказ сей исполню неукоснительно! В Москву поедут все до единого, так всем ходокам и передай, – решительно поднялся опричник.

– Однако же сообщников оных лиходеев ты в Вазуге отпустил! – обвиняюще воскликнул воевода.

– Я прислан разбой и душегубство каравана с податями расследовать, – приостановившись, ответил подьячий, – а не баловство супротив меня и друзей моих. Посему с виновными в первом поступаю по долгу и чести, а со вторыми – по совести.

Опричник вышел, громко хлопнув за собой дверью, фыркнул себе под нос:

– Ох, чует мое сердце, отольются еще мне эти мальцы прощеные…

Однако про малых ему больше не напоминали. Напоминали о душегубах главных. Всю неделю, что ни день, два-три просителя являлись. Иные сулили за казнь наградить, другие выкуп за свободу накидывали, подарки несли. А потом еще и откупщик стал от поездки в Москву отпрашиваться, предлагая слугу доверенного вместо себя послать. И тоже золото сулил да на дела насущные ссылался…

Все это нытье измучило подьячего так, что он ускорил отъезд на два дня. Решил подвоза сена не дожидаться, по пути понадеялся купить. Басаргу не остановил даже отказ явно обозленного воеводы дать стрельцов для охраны – решил своей

силой обойтись. Четверо опытных бояр да столько же обученных холопов – для здешних малолюдных мест сила изрядная, от чужаков отобьется. Пленников же безоружных да баб, что с ними увязались, – и вовсе бояться нечего.

* * *

До столицы пеший караван арестантов добрался только на Сретенье[17]. Истосковавшись по своей ненаглядной, Басарга спешил как мог, не давая ни лошадям, ни людям и дня роздыха. Загнанные разбойники, переданные наконец-то в Разбойный приказ, откровенно обрадовались. В тюрьме Китай-города, может, и не кормят – зато крыша над головой имеется и охапка соломы под спиной. Лежи отдыхай.

Опричников ждал прием куда более теплый и ласковый. Побратимов – баня, сытное угощение и мягкая постель в теплой светелке. Басаргу – сладкие объятия любимой княжны…

В Александровскую слободу с отчетом он поскакал в субботу – добравшись, понятное дело, только в понедельник. Иоанн посвятил опричнику всего несколько минут, бросив на свиток лишь беглый взгляд, и вернул бумагу подьячему:

– Били двинцев. Моих, с земель опричных. Лиходеи же с берега Терского – все из земства… Стало быть, судить их надобно с боярами земскими. Опять же, узилища у меня тут нет, посадить под замок смутьянов некуда. А их, может статься, поспрошать понадобится. Выходит… Жди, когда в Москву дела меня призовут. Там сию оказию и рассудим.

* * *

В первый день марта, когда уже теплое по-весеннему солнце начало чернить сугробы, нарезая в них глубокие борозды и трещины, а печи съедали за день втрое меньше дров, нежели на Крещение, в ворота подворья подьячего Басарги Леонтьева постучал гонец в синем с золотым шитьем кафтане. Выпив вина, он достал из объемистой наплечной сумки грамоту, передал боярину, после чего поклонился, прыгнул в седло и выехал на улицу, тут же пустив скакуна в рысь. Умчался прочие послания развозить.

– Что там? – поинтересовалась Мирослава, выйдя на крыльцо в одном только платье иноземного покроя и в песцовой душегрейке.

– Иоанн Васильевич, оказывается, о разбойниках терских не забыл, – развернув свиток, ответил опричник. – Писарь извещает, что суд на утро послезавтрашнее определен. Вестимо, в Москве государь ныне. А мы и не ведаем.

– Со своим капризом монашеским он и от двора достойного, и от свиты отказался, – вздохнула княжна. – Интересно, каково супруге его живется, Марии Темрюковне, в монастыре слободы Александровской? Нешто и она тоже в келье тоскою мучается, как я в обители Горицкой?

– Скоро узнаешь, любая моя, – поцеловал ее в лоб Басарга. – На боярском суде самые знатные люди сберутся. Может статься, с кем и сговорюсь.

– Не так, – поправила княжна, взяла ладонями за щеки, опустила лицо ниже к себе и крепко поцеловала в губы.

Стыдиться любовникам было некого. Побратимы Заболоцкий и Булданин, пользуясь отсутствием новых царских приказов, отъехали в свои поместья к женам, а Софоний, вроде и оставаясь у друга на постое, исчезал где-то по нескольку дней, по возвращении отсыпаясь целыми днями, после чего лихо натирался во дворе снегом, переодевался в чистое и, весело побалагурив о свежих лубках базарных, слухах московских и девках на выданье, снова исчезал на несколько дней.

Холоп и служанка благоразумно старались на глаза хозяевам не попадаться – дабы лишних поручений не получить, и посему дом оставался для двоих пустым и тихим, окружая Басаргу и Мирославу безмятежностью и покоем. Ласкать друг друга, целовать, предаваться утехам можно было где угодно, не оглядываясь по сторонам и ни о чем не беспокоясь. Словно вернулась юность, жадная страсть первой встречи и первого свидания, словно и не было шести лет, проведенных вместе, не было общих детей, не было размолвок и расставаний. Каждый поцелуй снова казался первым, а каждая близость – воплощением мечты.

– Ты только поручителя искать не торопись, – чуть отодвинувшись, попросила княжна. – Государь согласие дал, и сие главное. А нам теперь главное сего не испортить, посмешищем себя не выставить али глупцами. Лучше подождать, но такого союзника исчислить, на какового, ровно на скалу, опереться выйдет. Какого оспаривать никто и не подумает.

– Как скажешь, – пожал плечами опричник. Тем более что, как Басарга ни думал, но подходящего поручителя придумать так и не смог.

– Умница, любый мой… – Его уста снова замкнул сладкий, как персидский инжир, поцелуй.

Боярский суд состоялся в думной палате кремлевского дворца – помещении пусть невысоком, но просторном, со многими окнами, тридцати шагов в ширину и полтораста в длину. Стены палаты были обиты темно-коричневым сукном с серебряной вышивкой, вытянувшиеся вдоль стен лавки укрыты цветастыми татарскими коврами. Особо, на государевом месте, возвышался трон – резной, из плотного красного дерева, украшенный местами узорными пластинами из слоновой кости. Здесь все было сделано и не богато, и не бедно; красиво, но не вычурно, все необходимое, но ничего лишнего. Помещение для работы, а не праздности.

Первым в думную палату, понятно, явился Басарга с зачинщиками разбоя на Терском берегу: с Потапом Рябуном, Урсусом-варягом, Никодимом Ледяным. Дабы было кому ответить, коли к татям у бояр вопросы появятся. Опасаясь задержек и препятствий в Разбойном приказе, подьячий отправился в тюрьму заранее – но узников отдали ему без проволочек. Потому и во дворец боярин Леонтьев пришел задолго до всех остальных. Четверо стрельцов, выделенных для охраны татей, сдернули с плеч разбойников тулупы, оставив в одних полотняных рубахах, со связанными за спиной руками, поставили на колени.

Думные бояре стали подтягиваться только через полчаса – по двое, по трое, по одному. Все в тяжелых московских[18] шубах, с посохами, в высоких бобровых шапках. Басарга знал далеко не всех. Все же в свите не состоял, от дел придворных был далек. Но с иными был знаком… Увы, недостаточно близко, чтобы обращаться с просьбами.

Поначалу знать московская держалась вместе, но потом, как по команде, разошлись вправо и влево вдоль стен – выстраиваясь, понятно, по знатности. Справа ближе всего к трону был седобородый боярин Федоров-Челяднин, бывший конюший, ныне глава земской думы, первое лицо после государя. Коли с царем что случится – именно он до появления нового государя местоблюстителем станет, а при сомнениях в преемнике – его слово определяющим может стать, кто достоин на трон взойти, а кто нет. Рядом с Челядниным опирался на посох престарелый князь Салтыков, ничем в деяниях своих не отметившийся, однако по роду один из знатнейших. Дальше князь Пожарский, потом Телепнев… Прочих же Басарга не ведал.

Напротив стояли опричники. И опять же – первым был Рюрикович, князь Воротынский, далее худородный князь Хворостинин, худородный боярин Алексей Басманов, худородный Иван Кошкин…

Отворилась дверь черного входа, предназначенная для слуг, появился тяжело дышащий Прокоп Бачурин – без шапки, в одном лишь кафтане, да еще и без пояса.

– Не пустили через белое крыльцо, – пожаловался он. – И шубу с поясом сняли, при входе оставить заставили…

Басарга только усмехнулся: тут тебе не Двина, золото не поможет. Коли родом до боярина не дорос – то и шубой красоваться нечего. Коли человек не служивый – нечего через парадные двери входить. На пир не зван – так на что тебе пояс с ножами?

Думные бояре встрепенулись, подровнялись, повернувшись к трону. В стене за государевым местом распахнулась дверь, и все склонили головы в низком поклоне.

Когда Басарга выпрямился, Иоанн Васильевич уже сидел на государевом месте – не в монашеском облачении, а в тяжелой от золотого шитья собольей шубе, с усыпанным самоцветами оплечьем на шее, справа и слева от него мрачными тенями замерли священники: митрополит Афанасий и архиепископ казанский Герман. Место возле трона было, может статься, и почетное – да дюже неудобное. Думные бояре вслед за царем сели на лавки – старцы же остались стоять.

– Собрал я вас, бояре, – громко объявил Иоанн, – дабы приговор по смуте поморской утвердить. По приказу моему сыск подьячий приказа Монастырского Басарга Леонтьев учинил, виновных отловив и пред очи ваши доставив[19]. Сказывай, боярин!

– Всех крестьян с берега Терского, что в разбое замешаны, я исчислил, государь, – вышел из дальнего конца палаты вперед опричник. – При сем лиходействе живота лишилось четверо корабельщиков двинских, товаров разграблено на тысячу двести семьдесят четыре рубля, плюс к тому семь ладей уведено со всем снаряжением, что еще в триста рублей убытка сосчитано…

– Зачинщик кто? – в нетерпении перебил его Иоанн.

– Зачинщиком считаю откупщика двинского Прокопа Бачурина, – повернувшись, указал в конец зала подьячий.

Купец, томящийся «ниже всех», в дальнем конце зала, на миг застыл с отвисшей челюстью, а потом вдруг рванулся вперед:

– Неправда-а-а!!! Навет! Оговор!

Однако стрельцы, прыгнув следом, сбили его с ног и отволокли, орущего, обратно.

– О как? – теперь уже всерьез заинтересовался царь. – Ты сказывай, сказывай.

– Ты, Иоанн Васильевич, – поклонился правителю всея Руси Басарга, – волей своей кормления на Поморье отменил, дозволил

людям тамошним по своему разумению старост избирать, споры решать да подати промеж собой делить. В первые годы они, как по книгам податным видно, прежним порядком жили, но опосля тягло заметно меняться стало. Купцы богатые двинские все подати казне с наддачей выплатили и по попустительству старост местных, двинянами выбранных, своей волей иным раскладом подати с крестьян требовать стали. Заметил я в книгах податных, что со своих, двинских людишек, каковые на сходах тамошних старост выкрикивают, податей более не берется вовсе. А с крестьян волостей дальних, каковым до схода не добраться, оные сборы возросли втрое. Они, так теперь вышло, и за себя тягло несут, и за бездельников двинских, что откупщикам земляки, и за наддачу, и барыш понятный откупщикам они же дают. Втрое, государь! Втрое больше супротив положенного! Вот поморцы Терского берега грабежа и не стерпели.

Басарга оглянулся, указал на стоящих на коленях душегубов:

– Сии крестьяне уважением средь односельчан своих пользуются, в артелях за старших неизменно выбираемы, в делах богобоязненных первые, подати от рождения платили исправно. Ни одной недоимки на них в книгах не нашел. Не со зла на разбой пошли, за справедливостью. Посему полагаю, крестьян всех терских надобно нам помиловать, купцам же двинским дело откупное запретить накрепко. А за то, что именем царским прикрывались…

– Где это видано, бояре, чтобы разбойников на волю отпускали?! – вскинулся князь Салтыков. – Их завсегда без суда вешали!

– А где это видано три шкуры со смердов драть? – повернулся к нему Басарга.

– Коли слабину дать, смерды быстро за вилы возьмутся, на тяготы ссылаясь, – покачал головой Федоров-Челяднин. – Надобно, чтоб боялись!

– Не запугивать честных крестьян надобно, а за порядком следить! Отчего земство грабеж людишек позволяло? Почему по рукам откупщикам не дало?! Не первый год двинцы свое тягло на Терский берег спихивали!

– Убивать и грабить все едино недопустимо! – стукнул посохом об пол бывший конюший. – Жаловаться надобно было старостам да воеводам.

– Воеводы ваши токмо пошлины за суд берут, да ничего не делают! Им чем жалобщиков более, тем лучше.

– А неча было кормления упразднять! Власть-то ныне к смердам ушла. А они не о державе, а токмо за надел свой мыслят.

– А ну, не балуй! – рявкнул Иоанн, почуяв, в чей огород

полетели камушки. И уже спокойнее обратился к Басарге: – Так как же смертоубийство, подьячий? Рази допустимо, чтобы человек русский русского же лишал живота? Как же сие без кары показательной оставить?

– Коли пяти десяткам слуг своих головы снесешь, государь, то заместо четырех вдов полста сотворишь. Заместо десятка сирот уже сто выйдет. Разве сия кара верной будет?

– Ты завсегда о сиротах разбойничьих печешься, боярин? – ехидно спросил юный князь Хворостинин. – Почему вдов душегубьих ты жалеешь, а вдовы жертв их немалых тебе ровно пыль дорожная?

– У лесных татей, воевода, – ответил опричник, – в их норах и чащах семей нету. И домов, тоней они не строят и податей не платят. Вздернешь такого мимоходом, никто всплакнуть и не подумает. Здесь же крестьяне оседлые, крепкие. У власти земской защиты не найдя, сами справедливость утвердить захотели.

– В крови твоя справедливость, – выдохнул подьячему в спину кто-то из земских. Басарга крутанулся, но кому отвечать не нашел и повернулся к царю:

– Разве по уложению твоему, государь, не дозволено вора, хозяином на месте преступления пойманного, смерти предавать? Вот он, вор! – указал на откупщика Леонтьев. – А поморы его поймали!

– Так жив он, боярин, сам посмотри, – усмехнулся Иоанн. – А невинные христиане русские мертвы. При чем тут уложение?

– За справедливостью они шли, государь, не за кровью! – выдохнул Басарга и опустился пред царем на колено, склонив голову: – Ты в державе нашей высшая справедливость, тебя Господь поставил землю русскую беречь. У себя на окраине поморы правды не нашли, теперь пред тобой на коленях. Скажи им, государь, разве вора в стороне оставить, а жертв его смерти предать – это по справедливости?

– Эк ты поворачиваешь… – крякнул Иоанн. – Ну, поведай тогда, в чем твоя справедливость будет?

– За разбой вынужденный поморян помиловать. За душегубство штраф наложить. По пятьдесят рублей семье каждой, что без кормильца осталась. Откупщика Бачурина за воровство от доходов отлучить, добро покраденное в казну переписать.

– Я законов не нарушал, государь!!! – заорал издалека двинец, трепыхаясь в крепких руках стрельцов. – Подати по раскладу на сходе решались, старостой утверждались! И пред казной я чист, все внес до копеечки!

– И сие тоже верно, – кивнул Иоанн. – Коли по справедливости, за что его разорять? Он в праве своем дело вел.

– Полторы тысячи рублей разора! – воодушевившись, пожаловался откупщик. – Я же вперед серебро вношу! Для казны расстаравшись, теперь по миру пойду!

– Я так полагаю, государь, за каждым из всех своя правда имеется, – степенно произнес Михайло Воротынский. – Коли полста данников своих казнить – это сплошной разор самим себе выходит. Однако же и за кровь пролитую не покарать нельзя. Полагаю, зачинщиков на плаху – всем прочим для науки, – остальных же выпороть, да пусть убытки возмещают. Ибо грабить нельзя, правду искать надлежащим порядком надобно.

– Завтра же опять поморы за гарпуны возьмутся, – предупредил подьячий. – Ибо порядка там ныне не найти. Своевольство сплошное у каждого, кто хоть кусочек власти себе урвал.

– Со своевольством управимся, – пообещал князь Воротынский.

– Коли оное признаем, за что казнить? – возразил Басарга. – Со своевольством они оным же и сражались!

– А ты возмужал, боярский сын Леонтьев, – неожиданно усмехнулся князь. – Больше не мальчик суетливый, что при каждой напасти за спасением бежал. Так в слове своем уверен, что и государю, и боярам думным в лицо перечишь. Что же, раз так уверен, стало быть, есть почему. Сыск вел ты. Узнал, знамо, многое, чего в отчете не вместилось. Ладно, пусть будет твоя правда. Согласен я с подьячим. По его воле приговор утвердить готов.

– А я не согласен! – решительно поднялся Салтыков. – Для разбойников, окромя плахи, иного пути быть не должно! Справедливость, нет, однако же хуже душегубства ничего быть не может! Его в первую голову искоренять надобно, а не подати считать!

Земская сторона думы согласно загудела:

– От разбоя главная беда! Еще и смерды в тати подались! Не должно быть душегубам спуску! Откупщик, что покрал, того и лишился. Казнить татей прилюдно, его же при своем оставить!

– Коли как есть все оставить, вскорости каженный год тут и там сборщиков резать начнут!

– Так вот как с плахи головы-то покатятся, тогда и притихнут!

Дума загудела, расколовшись на тех, кто был склонен взявшихся за оружие крестьян примерно наказать, – и тех, полагал, что этого мало. Как ни странно, больше всего на поморов взъярились земские бояре – хотя и земли, и люди, и подати вроде как к их казне относились. С другой стороны – смерды, готовые резать тех, кто обкладывает их излишним

тяглом, не нравились никому. Иоанн, опустив подбородок на упертую в подлокотник руку, задумчиво наблюдал за спором, иногда согласно кивая…

* * *

Эшафот, поставленный на Болоте, на торгу за Москвой-рекой, напротив Кремля, ничем не отличался от того, на котором два года назад казнили отца и сына Шуйских. А может статься – он самый и был, не разобрали за ненадобностью. Сюда, по прочному еще льду, и пригнали стрельцы под истошный бабий вой осужденных за разбой поморцев. С ужасом глядя на мрачное сооружение, на котором стояли опричник в темной рысьей шубе, епископ в черной рясе с приготовленным для последнего поцелуя крестом и кат, вогнавший свой тяжелый топор в массивную иссеченную колоду, – жены, скуля и плача, торопились в последний раз обнять и поцеловать мужей, матери прижимали буйны головы сыновей к груди, что-то им нашептывая и неистово крестясь.

С торга, с разных сторон, стали подтягиваться зеваки. Непривычны были москвичи к подобному зрелищу, особо ему не радовались – однако же оно хоть и страшило, но манило. Особливо тех, кто о сечах и походах только из лубочных картинок да сочинений книжных слышал. Такое увидишь нечасто – чтобы прилюдно голову отсекали. Была жизнь человеческая – и нет ее больше, подрезали.

Когда стрельцы подогнали арестантов поближе к помосту, Басарга прокашлялся, развернул зажатый в кулаке свиток и как мог громче прочитал:

– Государь решил и бояре приговорили крестьян поморских… – Он запнулся и решил: – Список я, пожалуй, пропущу. Царь решил, и бояре приговорили… Виновных в разбое на берегу Терском… помиловать, окромя тех…

Плач сменился восторгом и радостью. Бабы, которые только что выли и плакали, теперь кричали и еще крепче тискали все еще связанных мужей – хотя плакать все равно не переставали. Многие упали на колени, крестясь и кланяясь, другие счастливо улыбались.

– Да тише вы! – рявкнул Басарга, которого в поднявшемся шуме никто не слышал да и внимания уже не обращал. – Кого казнить велено, слушайте!!!

От такого возгласа площадь на торгу мгновенно затихла, и подьячий смог прочитать далее:

– Крестьянам сим надлежит расписки написать и поцеловать крест, что никогда более они преступлений в землях русских не учинят, а коли учинят, то казнены будут немедля, без суда нового! А кто отписку сию составлять и креста целовать не пожелает, того предать смерти ныне же… – Басарга поднял голову и спросил: – Есть средь вас те, кто не желает клятвы сей давать и подпись под ней ставить?

Площадь безмолвствовала. Внезапно средь толпы кто-то с ехидством мелко хихикнул:

– Нешто такой дурачок найдется?

В ответ рядом кто-то рассмеялся, потом другой, третий… Волна смеха прокатилась средь измученных людей, уже почти ощутивших дыхание смерти у своего лица, – и вскоре площадь хохотала уже целиком: и поморцы, и охраняющие их стрельцы, и зеваки…

Басарга посмотрел в так и не дочитанный до конца свиток, вздохнул, свернул его и сунул за пазуху. Махнул стрельцам:

– Ведите по одному!

Служивые стали распутывать помилованным разбойникам руки, толкать их в сторону помоста. Поднявшись по ступеням, каждый поморец, преклонив колени, давал архиепископу Герману клятву никогда более не преступать законов, целовал в том крест, потом расписывался в заготовленном для Разбойного приказа свитке и, теперь уже свободный, сбегал, а то и спрыгивал вниз.

Последним, понятно, к кресту подошел главный зачинщик, Потап Рябун. Пообещав впредь более против людей и Господа не грешить, он низко, в пояс, троекратно склонился перед опричником, каждый раз осеняя себя знамением:

– Прости, боярин… Прости, что хулили-то и поносили, что зарезать хотели, что в справедливость-то земную не верили. Ныне знать будем, что не только на небе, но и на земле суд имеется.

– Вас не только помиловали, вас еще и оштрафовали, – напомнил Басарга. – Тысячу семьсот шестьдесят четыре рубля. За товар разграбленный, за ладьи уведенные, и вдовам на прожитье.

– Живы будем – заплатим, боярин, – еще раз, но уже не в пояс поклонился рыбак. – Бога за тебя молить будем. Каждый раз в церкви свечу ставить за здравие.

– За слова добрые спасибо. Однако вам теперь спешить надобно, чтобы до сезона летнего домой успеть. Весной уже пахнет. Как бы в распутицу не попали.

– Будешь в наших краях, боярин, общество всегда примет с радостью.

– Буду, Потап, куда деваться? Штраф собирать тоже мне придется. Что присудил, то и исполнять…

* * *

За окном давно стемнело, и Москва начала затихать, что было верным признаком близости рассвета, а молодой человек и девушка все еще сидели у экрана компьютера, отсматривая присланные сканы.

– Бедный Басарга, – вздохнула Катя, когда Евгений указал ей на отметки о последних взносах в счет штрафа. – Знал бы он, на сколько лет все это растянется, наверное бы, и не связывался. Шлепнуть проще. А уж сколько дерьма на него по сей день выливается – это ни в сказке сказать, ни пером описать. «Злобная тварь», «исчадие ада», «образцовый пес опричнины», «разоритель и истязатель».

– Со следующего года все старосты и откупщики от сбора налогов были отстранены, – подвел последнюю черту в бухгалтерии «двинского дела» аудитор Счетной палаты. – Подати стали получать специально назначенные царские представители. Иван Грозный сделал выводы быстрые и правильные. Интересно, он во всей стране систему поменял или только здесь?

– Конечно, по всей, – пожала плечами девушка. – Он же демократию повсюду насаждал. Значит, и проблемы везде были одинаковые. Кстати, Терский берег тем же летом перевели в опричные земли. Тоже, видно, чтобы порядок лучше обеспечить.

– А ты откуда знаешь?

– Вообще-то, это в школе преподают, – рассмеялась Катя. – «Этапы развития опричнины» урок называется. Неужели ты вообще в учебник по истории не заглядывал? Знаешь, Женя, пожалуй, мне стоит копнуть архивы по поводу этого подьячего. Хотя бы те, что имеются в интернет-доступе. Уж очень интересная личность. Вроде как никто, незаметный худородный служака третьего плана. Решений никаких не принимает, приказов не издает. Тихий, скромный исполнитель. Но там, где мелькает его тень, обязательно происходит нечто тектоническое. Возле школы его имя мелькнуло – в тебя за это спустя полвека стреляют. На Терском берегу мелькнул – государство всю систему сбора податей поменяло. Надо копнуть. Вдруг еще что-нибудь неожиданное всплывет?

Монастырская наставница

Архиепископ казанский Герман, несмотря на возраст, был ладен и ухожен, как молодуха на выданье: румяные гладкие щеки, короткая остроконечная бородка, вырастающая из бакенбардов, длинные седые кудри, падающие на плечи из-под бархатной, отороченной горностаем скуфьи[20]. Ряса на нем была добротного сукна, золотой крест, залитый эмалью и усыпанный самоцветами, тянул на добрый фунт. И пах он сладко, как медовая пчела.

– А скажи мне, боярин, – ласково улыбнулся архиерей, потягивая вино из кубка, – сколько тебе поморцы заплатили, что ты защищал их столь рьяно, ни сил, ни судьбы своей не жалея? Ведь огневайся царь, сидеть бы тебе воеводой в каком-нибудь глухом остроге среди черемисов.

– Я, святой отец, родовитый боярин! – моментально вспыхнул Басарга. – На честь и совесть во первую голову полагаюсь! И никакое серебро и злато меня с сего не столкнет!

– Не горячись, сын мой! Я ведь тебя к исповеди не призываю, епитимью не накладываю. Да и не моя это забота – мирские хлопоты. Ты угощайся, боярин. Проголодался, поди, с утра на ногах…

В митрополичьи палаты архиепископ зазвал его с Болота, после того как счастливые поморцы наконец-то подались куда-то праздновать избавление от смерти и собираться в дорогу. От приглашения священника, что уже определен был в высшие православные иерархи, отказываться не стоило. Вот только стол у епископа был до ужаса постный: белорыбица, рыба заливная, рыба копченая, рыба соленая… Рыба, рыба, рыба – после нескольких месяцев на Студеном море Басарга на нее уже смотреть не мог. Даже на самую деликатесную.

– Государь мудр и справедлив, – сказал подьячий. – Я ему не перечил, я лишь разъяснил, как дело сложилось. Посему меня он и послушал, по-моему приговор утвердил.

– Сие я заметил, боярин. Говорить ты с Иоанном Васильевичем умеешь. Слушает он тебя, не отмахивается. А коли прислушивается, то и говорить ему надобно то, что на пользу и государю, и державе нашей пойдет. О том, что в обиде бояре многие, что любимцев царь себе выбрал и с ними заперся, прочих слуг отодвинув. Что негоже царю земному слуг Господа подменять и свои монастыри с уставом своим основывать. Делами христианскими митрополит и епископы заведуют, Собор их решает. Особый монастырь, по царскому разумению

созданный, богопротивен, и о сем осторожно намекать государю нашему надобно. Ты бы постарался мысль сию до Иоанна Васильевича донести. А уж Церковь православная тебе бы в сем зело благодарна была. Митрополия – это не поморы. Награждать умеет по-царски.

– Ты же сам к государю вхож, святой отец. Отчего сам ему не скажешь?

– Я говорю, он не слышит, – пожал плечами епископ. – Не знаю, как выходит сие. Тебя слышит, меня – нет. Так донеси ему слово истинное. Церковь за то тебе зело благодарна будет.

– Да? – Басарга уже собрался было осадить архиепископа, напомнив ему, что он царю слуга, а не учитель и указывать не должен, но последняя фраза заставила его задуматься. Подьячий взял со стола кубок, наконец-то пригубил здешнее едкое пряное вино, покатал его на языке, подбирая слова. Кивнул: – Хотел бы я совета спросить, святой отец. Встретил я недавно в храме княжну Мирославу Шуйскую, женщину набожную и строгую. Последние годы она в молитвах и отшельничестве провела, ныне же в свет желает вернуться, в свиту царскую. Вот бы кто заступился за нее, поручился за праведность дней отшельнических? Сам бы поклонился, да боюсь подозрение в корысти вызвать и тем тень ненужную на нее бросить. А коли от епархии кто словечко за нее замолвит, то в непорочности ее никто уж точно не усомнится.

– Княжна Мирослава Шуйская, – нахмурился архиепископ. – Слышал я что-то с ней связанное. Давно, правда, лет пять тому али более… Нешто и она своим умом отшельничество удумала? Что же за поветрие ныне такое пошло: каждый мыслит, что замысел Божий лучше предстоятелей церковных понимает! Кто о нестяжательстве глаголит, кто о лютеранстве, кто жития правит, а кто Библию мирянам дать требует. Царь своей волей монастырь личного устава основал, княжны отшельничать ударились, без благословения и поучения… Каяться ей надобно, исповедаться и каяться, в лоно церкви вернуться, так ей и передай!

– Передам, – пообещал Басарга и поднялся из-за стола. – Прости, отче, но на службе я. Приговор царский воплотил, однако же за то не отчитался. Надобно отписку составить для учета.

– Вижу, боярин ты старательный, – похвалил его казанский архиепископ. – Но о разговоре нашем помни и о долге своем пред миром христианским.

– Конечно же, отче. Не забуду.

Передать бумаги в Разбойный приказ было делом всего одного часа. После чего Басарга отправился домой, прокручивая в голове состоявшийся разговор. И с какой стороны ни посмотри, но казалось боярину, что архиепископ ему отказал. Или

Мирослава опять найдет намек хитрый и незамеченный? Тогда все слова нужно повторить в точности, ни одного не перепутать.

Княжна за день соскучилась и, когда хлопнула калитка, выскочила из дома, встретила любимого на крыльце, обняла, крепко поцеловала. Тут же в ворота кто-то постучал.

– Эй, Тришка-Платошка! – крикнул в никуда Басарга. – Не слышишь, что ли, стучат!

Холоп, распаренный и полуобнаженный, выглянул из-за бани, отбросил топор, пошел через двор, отирая лоб. Похоже, не баклуши бил, а дрова колол.

Створки поползли в стороны, и между ними прошел боярин в распахнутой на груди собольей шубе, под которой струился атласной отделкой кафтан незнакомого покроя. Веселый и бодрый, с морозным румянцем на щеках, стремительный и слегка подпрыгивающий при каждом шаге – словно какая-то сила рвется изнутри наружу, да хозяин не велит. Темная курчавая бородка, подстриженная ровным полукругом, длинный тонкий нос, узкие скулы.

Следом за гостем холоп, одетый в вышитую золотом ферязь, завел под уздцы двух тонконогих разгоряченных скакунов.

– Андрей Басманов, – тихо опознала гостя княжна.

– Басарга, друг мой и соратник верный, – широко улыбаясь, раскинул руки боярин. – Целую вечность не виделись! А на суде вроде как и не обняться было. Посему заехать решил. Коли ты в Москве, как нам меда хмельного вместе не выпить?!

Подьячий, понятное дело, спустился к царскому любимцу, вместе с которым кровь в Арской башне проливал, обнял, даже покружил немного, невольно усмехнувшись в ответ.

Гость стрельнул глазом на крыльцо, отвернулся, стрельнул снова, замер:

– Никак, покойная княжна Мирослава Шуйская? Ой, чур меня, прости Господи, – торопливо перекрестился он. – Прости, княжна, невольно вырвалось, слухи дурные ходили. Но, слава Богу, вижу, что обманули злословы! Жива и бодра пуще прежнего!

– Давно в Москву не приезжала. Вот, заглянула на минуту к опричнику царскому. Узнать, какие новости при дворе.

– Он ныне в почете, княжна… – Андрей Басманов оценил взглядом домашнее платье княжны, душегрейку на плечах, простой платок на голове, тонкие сафьяновые черевички на ногах, в коих на снег не ступишь, и согласился: – Да, верно… Я вроде тебя даже и видел, ты со служанкой впереди шла.

– В доме она, у печки греется, – не моргнув глазом подтвердила Мирослава.

– А побратимы твои где, друже? – весело попытался

перевести разговор гость.

– Все в разъездах. Илья и Тимофей в поместьях своих, Софония же, полагаю, в какое-то сладкое место погостить заманили.

– Да, податлив боярин Зорин на сладкое… – понимающе ухмыльнулся Басманов, снова глянул на княжну: – Выходит, опять мне с вами братчины не выпить? Что же это за напасть такая! Как ни приду, все эта чаша меня миновать ухитряется.

– Не везет…

– Славно ты на суде выступил, давно речей таких горячих не слышал… – Гость вздохнул, понимая, что сегодня он в этом доме оказался лишним и к столу его не позовут, и перешел к делу: – Архиепископа Германа, сказывают, так проняло, друже, что он тебя к себе на подворье пригласил?

– Быстро вести разлетаются. Быстрее, чем я на коне скачу, – удивился Басарга.

– Да уж, Москва город маленький… Архиепископа Пимена помнишь?

– Еще бы! Он поважскому монастырю несколько пушек подарил.

– Он тоже к твоей мудрости приобщиться желает… – подмигнул боярин Басманов. – Пока с ним не перемолвишься, ни на что не соглашайся. Ладно, пойду. Вижу, без меня тебе пировать интереснее. Завтра на новгородское подворье к полудню приезжай. Не задерживайся, вечером тебя государь видеть желает, в передней своей. Ну да я провожу…

Андрей Басманов свистнул холопу. Тот подбежал, подводя лошадей, опричник взметнулся в седло и, словно стриж, вылетел за ворота.

* * *

Архиепископ Пимен глянулся подьячему куда лучше, нежели Герман. Новгородец был полным – а упитанные люди, как известно, всегда добрее; его волосы были коротко бриты на боярский обычай, а борода, наоборот, оказалась длинной, до самого живота, что еще больше добавляло солидности. Одет Пимен был тоже хорошо – но без лишнего украшательства. Скуфья была без опушки, крест просто крестом, да и сукно мантии показалось самым обычным, местным. По всему архиепископ внушал куда больше уважения, нежели казанский иерарх. Хотя, может статься, дело тут было не в нем самом, а в тех пушках, что увез от него боярин к себе на Вагу, в опекаемую

по государеву поручению обитель.

Стол пастыря оказался не постным – тут были и буженина, и жареные лебеди, и заячьи почки на вертеле, и запеченные в тесте голуби. Так что в покоях новгородского подворья Басарга смог наесться от души, не чуя больше во рту рыбного духа.

Боярин Андрей Басманов сидел рядом, нахваливая угощение и подливая всем то морса, то сбитня. Видимо, чисто по привычке. Государь Иоанн Васильевич не переносил пьяных[21], а потому перед визитом к государю ничего хмельного архиепископ на стол не поставил. А выпить хотелось. Что же за пирушка, коли ни вина, ни меда?

– Наслышан я о заступничестве твоем за поморов, боярин Леонтьев, – после того как все подкрепились, поведал новгородский пастырь. – Полста душ христианских спас – великое дело. После сего на севере в справедливость государя нашего поверят без сомнения. Тоже достижение важное. Да и в твоей честности мало кто усомнится.

– Найдутся такие люди, – не согласился Басарга. – Иных даже по именам знаю.

– Без недовольных никогда не обойтись, сын мой, – развел руками епископ. – Токмо Господь пятью хлебами пять тысяч людей накормить мог. Нам же сие не по силам, и рядом с сытым, нами накормленным, завсегда голодный найдется, что за нищету свою нас винить станет. А что поделать, коли хлебов всего пять, а страждущих тысячи?

– Тут Басарга ловчее управился, – встрял Басманов. – У него спасенных полста, а недоволен един. Откупщик холмогорский.

– Ну, найдется и еще кое-кто, кому серебра поиметь из-за меня не получилось, – пожал плечами Басарга. – Мыслю, уже ябеды строчат на своевольство и укрывательство.

– А мы их все порвем, не боись… – пообещал Басманов, наливая еще морса. – Так зачем тебя митрополит Герман к себе звал, не поделишься?

– Он не митрополит, епископ.

– Его государь с Афанасием уже давно в преемники определили. Живет в палатах митрополитовых, вместе с оным на все думы и служения ходит. В суде, вон, тоже за мудрость нашу Бога молит. Старый митрополит со дня на день на покой уйдет. Сказывает, утомился. Не по плечу власть полученная.

– Что поделать, – пожал плечами Басарга. – Мне тоже ноша моя тяжелой слишком порою кажется. Вот только переложить ее не на кого.

– Да, деяния наши, на благо направленные, иной раз излишней тяжестью оборачиваются, – согласился архиепископ

Пимен. – Я, боярин, от имени думы боярской с государем об отречении его беседовал. Опосля по поручению боярскому согласие на опричнину подписывал, на права новые от земства… Вестимо, с тех самых пор государь меня за епископа думы боярской принимает, за земского сторонника. К себе не допускает.

– Гонит, что ли? – не поверил опричник.

– Не зовет. Не выходит. Дважды в слободу Александровскую приезжал, его токмо издалека видел. Кабы мне побеседовать с ним, подьячий… Может статься, тогда он мнение свое бы и переменил?

– По старшинству и авторитету архиепископ Пимен вроде как старше Германа будет, – добавил боярин Басманов. – По старшинству епархии, по своему посту при думе. Невместно Германа поперед новгородского владыки ставить!

– Не все в мире сем по справедливости выходит, – развел руками Басарга. – Вот взять знакомую твою, Андрей, княжну Шуйскую. После смерти царицы с горя от мира в отшельничество она ушла, за помин души молилась, живьем себя похоронила. Ныне, вот, сердцем отошла, вернулась – ан никто в чистоту ее и не верит. Ведь в затворничестве не казалась никому. Никто ее не видел, никто государю не поручится, что она послушницей безгрешной в отшельничестве жила.

– Княжна Шуйская после смерти Анастасии в монастырь Горицкий послушницей ушла, к постригу готовилась, – коротко пересказал давнишнюю историю Андрей Басманов. – А опосля… – Он замялся. – Опосля еще дальше удалилась.

– А не ее ли я в Покрово-Зверином монастыре видел? – задумчиво погладил бороду архиепископ. – Вроде сказывали мне монахи о сей тихой и скромной молельщице, от глаз чужих скрывающейся, имени своего не называющей. За Анастасию, рабу Божию… Да, за Анастасию она поклоны клала. Скромница на диво, тихая, богобоязненная. Да, боярин, пожалуй, поручусь я государю за ее добродетель. Хотя что я? Не допускает меня царь пред очи свои грозные.

Басарга открыл было рот, чтобы сказать, как сильно ошибается архиепископ, пояснить, что никогда княжны в новгородских краях не бывало, но вовремя спохватился. Ведь свою близость с Мирославой ему прилюдно показывать нельзя. А если так – то откуда он сие знать может?

– Она-она, – уверенно подтвердил Андрей Басманов. – Я тоже видел. Сразу не признал, но теперь припоминаю: она! Послушница скромная, благочестивая. Все ею восхищались и в пример ставили.

– Достойная женщина, – кивнул архиепископ. – Коли увижу сию скромницу, обязательно под свое покровительство приму.

– Засиделись мы, отче, – внезапно спохватился боярин Басманов. – А нас государь дожидается. Благодарствуем за угощение. Идем, Басарга…

Новгородское подворье стояло в Китай-городе возле Рыбных ворот. До Кремля идти было столь близко, что в седло подниматься лень. Тем паче что верхом дальше Фроловских ворот все едино не пускали.

– Великое дело, когда митрополит с государем едино мыслят, одного хотят, к одному стремятся. Когда государь, любое дело зачиная, всегда благословение свыше получает и молебны искренние по всей Руси. Когда над ратями царскими рука Божия простирается, а изменники с каждого амвона проклинаются. Такой силой и единством любую преграду своротить можно. Когда народ не по приказу, но по душевному желанию волю высшую исполняет… – быстро идя рядом, горячо объяснял Андрей Басманов. – Пимен, он такой, опереться можно. Сколько лет его знаю, никогда не подводил. И не за земство он, родовитость во первую главу не ставит. Нам же с тобой, друже, иного и не надобно. Как всем опричникам прочим. Сковырнем Рюриковичей – сами на их места сядем. Новые династии зачнем…

Передней комнатой была просторная светелка недалеко от царской опочивальни. Здесь помещался не только стол, на котором стояло несколько мисок со сластями – прозрачной розовой курагой, изюмом, ягодными цукатами и дынями в меду, – но и несколько сундуков, пюпитр, пара тяжелых шкафов из цельного дерева. Иоанн, в одном исподнем, просматривал страницы толстенной книги в кожаном тисненом переплете, с желтыми пергаментными страницами и вычурным текстом, выдающим в древнем томе монастырские летописи. Впрочем, древняя вязь писцов государя ничуть не смущала, и он решительно вносил правку как в текст, так и делая пометки на полях, иногда азартно восклицая:

– Не надобно Вяземским сей славы, и так обойдутся! Пусть лучше Костомаровы будут! И этих всех на Рюриковичей заменить, токмо они на сие способны[22].

– Басаргу Леонтьева я привел, государь, – доложился боярин Басманов.

– Иди сюда, подьячий, – поманил боярина ближе Иоанн. – Как мыслишь, что за народ на Студеном море пять веков назад жил?

– Варяги, – быстро нашелся Леонтьев. – Там и ныне у многих клички такие, и места многие с сим названием. Варяжка, Варяжий мыс, Варяжий дол…

– Твоя правда, – сделал отметку Иоанн, поднял голову. – Ты славно потрудился с сим сыском, Басарга. Копал глубоко, со всем тщанием. И награды достоин. Получишь. Однако ныне, я так мыслю, лучше тебя в делах тамошних никто не разбирается. Посему план составь, каковые изменения надобны, чтобы смут, подобных терской, не случалось более. Недели тебе хватит? Составишь – и в слободу привози. Ступай.

Царь опустил голову, вернувшись к своему увлекательному занятию.

– Дозволь спросить, государь! – храбро окликнул его подьячий.

– Говори… – покосился на него царь.

– Скажи, пошто архиепископа казанского в митрополиты сажаешь?

– Отчего спрашиваешь?

– Говорил я с ним намедни. Надменен больно, слушать других не желает, в корысти подозревает каждого, в чистоту помыслов душевных не верит. Подбивал меня тебя от опричнины отговорить, – короткими фразами перечислил Басарга. – Что сие за митрополит, коли ни в людей, пастырем которым поставлен, не верит, ни помазанником Божьим недоволен? Митрополит с государем должны заедино мыслить, одного хотеть, к одному стремиться. Дабы ты, любое дело зачиная, всегда благословение свыше получал и молебны искренние, а изменники твои с каждого амвона проклинались. Такой силой и единством таким любую преграду своротить можно. Герман же с тобою в раздрай мыслит.

– Это ты верно заметил, – согласился Иоанн. – Митрополитом еще не стал, а уже упреки от него слышу. В дом мой норовит забраться и, как мне там жить, поучает.

– Не верит он, что люди честными бывают и по совести поступают. А коли не верит, значит, и сам таков… Ровно игумен соловецкий, каковой без воровства не может. Его крестьяне, кстати, тоже к разору двинскому причастны…

Боярин Леонтьев запнулся – поскольку царь, только что хмурый, неожиданно захохотал:

– Ай Басарга, ай шельмец! Еще Настенька замечала, ни одной твоей истории не бывает, чтобы настоятеля соловецкого хоть как-то да не пнуть! Ждала каждый раз, веселилась, как слышала… Порадовал, повеселил. И как ныне тот безумец поживает, что на камнях своих новую Москву построить намеревался?

– Не заезжал, – покачал головой подьячий. – Но казанский епископ мне тоже не по нраву.

– Нет у меня иного, – развел руками царь. – Он старший и

достойный. Остальные либо немощны совсем, либо не выслужились еще до места нужного.

– А как же Пимен новгородский?

– Этот с князем Старицким снюхался, да еще и от Литвы к нему письма приносят.

– А вдруг навет, государь? Ты бы с ним хоть парой слов перемолвился. Оправдаться позволил.

– Не в чем оправдываться. Не верю. Земству он предан. И говорить с ним не о чем. Но о Германе слова твои суровые верны. Поразмыслить тут надобно.

– Дозволь хоть раз архиепископу новгородскому с тобой встретиться, государь! – взмолился Басарга и в отчаянии признал: – Он Мирославу Шуйскую в монастыре видел! За чистоту ее поручиться готов.

Иоанн изумленно вскинул брови, потом чему-то улыбнулся и кивнул:

– Будь по-твоему. Как только отписку приготовишь, вместе с ним приезжай. Послушаем, что скажет.

Подьячий поклонился, вышел, и едва за ним затворилась дверь, как Басманов вцепился ему в плечи:

– Как?! Как ты это делаешь, Басарга?! Я полный год Иоанна обхаживаю и так и этак, он о Пимене и слышать не желает! Ты же всего две фразы сказал, и царь уже к себе приглашает!

– Коли правду в глаза говорить, она всегда любую стену пробивает.

– И Германа, Германа, почитай, отодвинул! – горячо выдохнул боярин. – Столько вестей от одного разговора! Надо епископа новгородского порадовать, побегу…

Опричник троекратно расцеловал Басаргу и умчался по сумрачным коридорам, подсвеченным редкими масляными лампами.

Подьячий ушел степенно, не спеша, раздумывая над тем, как рассказать княжне обо всем, что случилось с ним в этот теплый мартовский день. Однако рассказывать, на диво, не пришлось. Княжна, по заведенному у них обычаю встретившая боярина на крыльце, неожиданно сбежала по ступеням и кинулась ему на шею, закружила, весело смеясь:

– Получилось? Нечто получилось?!

– Откуда ты знаешь? Упредил кто?

– Любый мой, да у тебя все на лбу написано! – Мирослава подтянулась и расцеловала его лоб, брови, глаза. – Не землей, небесами мы повенчаны, любый мой. Телами едины и душами, помыслами. И потому, ненаглядный мой боярин, все твои мысли я наперед знаю.

– Еще не твердо решено сие…

– А у тебя на лбу написано, что твердо! – снова рассмеялась она и вдруг вздохнула: – Как же хорошо, что я тебя встретила. Какая я счастливая!

– Почему так грустно, драгоценная моя?

– Потому что мне тебя всегда мало. Даже когда рядом, когда в объятиях сжимаю, когда целую и во власть твою отдаюсь – все равно мало.

– Тогда чего мы тут стоим? – подхватил ее на руки Басарга и понес вверх по ступеням.

* * *

Архиепископ Пимен самолично заехал за скромной богобоязненной послушницей, знакомой ему по Покрово-Звериному монастырю, и пригласил в свой возок, дабы побеседовать в дороге о Боге, молитве и смирении. Басарга с холопом скакали верхом, однако боярин Леонтьев все равно догадывался, что после сих долгих разговоров в воспоминаниях новгородского священника и его княжны уже не найдется ни единого расхождения. Почти сто верст дороги, полных три дня пути. За это время любой псалтырь наизусть можно выучить.

Вечером третьего дня они остановились на подворье какой-то деревенской церквушки, воспользовавшись гостеприимством местного батюшки, немало польщенного приездом столь высокого иерарха, тронулись в путь еще в сумерках и на рассвете, аккурат к заутрене, въехали в ворота, встреченные Андреем Басмановым.

Опричники в монашеских рясах со всех сторон подтягивались к величественному Троицкому собору. Знающий здешние распорядки и пути опричник провел гостей на мощенную кирпичом дорожку, остановился на развилке. И вскоре Иоанн сам подошел к ним, в священническом облачении следуя на молебен. Увидев архиепископа, остановился:

– Вижу, сам пастырь новгородский ныне решил службу у нас отстоять. – Он протянул руку, и архиепископ, склонясь, почтительно ее поцеловал.

– А это что за скромница в твоей свите? – перевел взгляд на княжну Иоанн.

– Послушница Мирослава Шуйская. Пострига она так и не приняла, но богобоязненным своим поведением и целомудрием всеобщее уважение заслужила. Шесть лет, почитай, отшельничала, госпожу оплакивая. Однако же ныне убедил я ее к

миру вернуться и слово Божье людям заблудшим нести, пример всем прочим своею благочестивостью подавать.

– Да ты изменилась, кравчая моей супруги Анастасии, сразу и не признал, – кивнул Иоанн. – Остепенилась, посуровела. Благонравна. А средь служанок моей супруги Марии девки сплошь горячие, в няньки благонравные никак не годятся. Вот ты бы им пример благочестия подала. Не согласишься ли ношу сию на себя принять, княжна? Воистину, кравчая твоего рода и воспитания моей черкеске давно надобна.

– Воля твоя, государь, – покорно прошептала женщина, почтительно кланяясь.

– Отпустишь ко мне свою послушницу, епископ новгородский?

– Воля твоя, государь, – поклонился и Пимен.

– Моя, – весело согласился Иоанн. – Басарга! Поручение исполнил?

– Отписка подробная готова… – полез было за пазуху подьячий.

Но государь его остановил:

– Потом. Вон, кравчей оставь, она опосля передаст.

Иоанн поманил боярина и пошел вперед, негромко признавшись идущему рядом Басарге:

– Разговор наш последний снова о Настеньке ненаглядной мне напомнил. Еще один вклад на помин души ее хочу сделать. Зело любопытно голубке моей было, чем сказка твоя про безумного игумена закончится? Да и я давно о нем ничего не слышал. Посему прошу тебя, боярин. Ныне же скачи в обитель Соловецкую. Сделай вклад, оглядись хорошенько, глаз у тебя острый. А с первой водой возвертайся, и мне обо всем в подробностях доложишь…

Иоанн отступил, оглянулся:

– Андрей! Вели полста рублей брату нашему Басарге выдать, и еще пять на расходы подорожные.

– Слушаю, государь!

Царь двинулся дальше во главе спешащей свиты. Мирослава задержалась рядом, протянула руку. Подьячий достал и положил в ладонь тугой бумажный сверток.

Снова, как в далекой юности, они могли позволить себе лишь мимолетное прикосновение пальцев и жадные, пожирающие взгляды.

Миг! Пронзительная молния от соприкоснувшихся ладоней, от устремленных друг в друга черных зрачков, мимолетная улыбка – и новая кравчая поспешила догонять царя.

– Иоанн что-то сказал? – с надеждой спросил боярин

Басманов.

– Хочет еще один вклад в память об Анастасии сделать, – не стал скрывать Басарга. – Так можно в расходы и записать. Идем! Царь желает, чтобы я успел до половодья. А распутица может случиться в любой день.

И снова, уже который год подряд, началась для Басарги гонка с природой: кто успеет первым, он – домчаться до Студеного моря или весна – растопить зимники? Посему боярин не жалел ни лошадей, ни холопа, пролетая в день по пятьдесят верст и вечером буквально выпадая из седла. По Нерли – до Волги, потом на Шексну, через Белое озеро на Ковжу, с нее на Вытегру. Через две недели он был уже на Онежском озере, еще через неделю – на Выгозере, откуда до Кеми оставалось всего полтораста верст – три дня, рукой подать.

Понятно, что после такого путешествия воеводе он смог сказать только:

– Здрав будь, боярин. Дозволь в светелке прежней полежать… – после чего ушел в свою комнату и спал без просыпу целый день и еще ночь и все равно потом поднялся только к полудню.

На удивление скоро его пригласили к воеводе Оничкову отобедать. Видать, все это время боярин ждал с нетерпением, когда можно будет расспросить опричника о столичных новостях.

Стол был все тот же: маленький – в личных покоях воеводы, обильный – ибо угощение помещалось на нем с трудом, и конечно же – рыбный.

– Здрав будь, боярин. – Воевода неуверенно отер курчавую бородку рукавом и развел руки. – Как-то не по-христиански мы с тобой встретились.

– Прости, друже, очень уж дорога измотала. – Басарга, не сомневаясь, крепко обнял воеводу, похлопал по спине, сел к столу, зацепил кончиком ножа толстый ломоть семги. – Господи, как же я по ней соскучился! В Москве, не поверишь, никакая рыба в горло не лезла. А тут, как только увидел, так сразу душой возрадовался.

– Да, боярин. Семга есть наше главное сокровище. Ничего вкуснее на свете нет. Весь свет ею у нас закупается, от голландцев до персов, – самодовольно похвастался воевода, снова утирая усы, и разлил по кубкам прозрачное вино с уже знакомым Басарге запахом. – А ведь припозднился ты маненько, боярин. Аккурат пятого дня поморы мимо Кеми прошли, домой возвертаясь. Зело интересно о Москве сказывали. Выходит, отпустил ты их все-таки, боярин? Помиловал?

– Не я помиловал. Суд боярский приговорил. Царской волей,

по закону и по справедливости.

– А то поморы не знают? – громко хмыкнул воевода, раздвигая на груди дорогую жаркую шубу. – Ты же сам кого-то из них думе показывал. Они слышали, как ты за головы их бился, самому государю перечил.

– Кабы перечил, в ссылку бы сюда ехал, а не с поручением, – ответил Басарга. – Согласен со мной Иоанн Васильевич оказался. Выходит, что и размолвки у нас не имелось.

– И все же ты выговорил им помилование, боярин… – утвердительно кивнул Оничков. – Не понимаю я тебя, подьячий. Кабы здесь отпустил, то и мороки меньше вышло бы, и серебра в кармане зело прибавилось бы. А так: и в Москву гонял, и у плахи держал… А тем же самым все и кончилось. Токмо без прибытка.

– Прибыток-убыток, серебро-золото… – поморщился Басарга. – Что ты, будто купец, все на кошель переводишь? Бояре мы, слуги царские, державе русской опора. Ты пойми, кабы я деньги взял, то поморы, двинцы, крестьяне здешние в уверенности остались бы, что опричника царского купить можно! Тут заплатил – так решили. Здесь заплатил – иначе. Ныне же они запомнили, что в стране власть есть. Неподкупная, справедливая, правильная. Разве сие серебра того не стоило?

– Справедливость на хлеб не намажешь, подьячий…

– Экий ты, воевода… – рассмеялся Басарга. – Думаешь, я серебра и злата не люблю? Еще как люблю! Да токмо каждый человек для себя выбор сделать должен: что для него важнее, чем он торговать способен, а за что живот свой отдаст не колеблясь? Коли для тебя честь дороже злата – ты боярин. Коли кошель важнее – купец. Вот по сему выбору граница и проходит. Иной купец куда как богаче слуги государева бывает. Однако же все едино, как мошна ни тяжела, он остается смердом, а служивый – боярином. И всегда купец ниже боярина стоять будет!

– Я тоже честью не торгую! – вскинулся воевода.

– Так я в сем и не сомневаюсь, боярин… – Подьячий заглянул к себе в кубок и громко спросил: – Слушай, мы пить с тобой собрались али разговоры разговаривать?

– Пить, знамо! – встрепенулся воевода. – Долгие лета государю Иоанну Васильевичу!

– Долгие лета!

На некоторое время разговор затих – опричник старательно угощался, воевода тоже закусывал. Налил по кубкам еще вина, помялся и решился на вопрос:

– Ты, видно, с самим государем знаешься, взлетел высоко, дела большие ворочаешь… Может, замолвишь и за меня перед царем словечко? Мне тоже и дел больших хочется, и наград, и

славы. Здесь же в безвестности сгнию.

– Разве ты не знаешь, воевода, откуда у бояр слава и награды берутся? – поднял на него глаза Басарга. – Через сечи смертные, через кровь пролитую, через походы тяжкие. Кто сейчас к царю всех ближе? Князь Воротынский, коего в Казани от смерти токмо крепость брони спасла, татары ужо ногами топтали. Андрей Басманов, что три дня в Арской башне супротив всего войска басурманского с малыми людьми отбивался. Да и меня, грешного, из сей башни к ногам царским умирать вынесли. Токмо повезло, выжил.

– Я согласен, – моментально кивнул воевода.

– Я знаю, какой же боярин от схватки кровавой уклонится? Да токмо прости, друже, но нет для тебя ныне войны никакой. Токмо схватки мелкие на порубежье тут и там случаются. Однако же и здесь тоже порубежье. Готовься и жди. Бог даст, прямо здесь тебя слава и найдет.

– За славу давай выпьем, – поднял бокал Володимир Оничков. – Чтобы каждого боярина его слава находила!

Ни тот, ни другой не знали, что слава все-таки найдет воеводу Оничкова. Но только через долгих тринадцать лет, когда тот разгромит каякских немцев – крупный шведский отряд, вторгшийся на поморские земли.

* * *

От Кеми до Соловецкой обители по хорошо накатанной дороге – всего сорок верст. Сей путь отдохнувшие лошади промчали на рысях всего за половину дня. Скакунов боярин не берег – все равно на острове опять отдыхать будут. Куда более его беспокоили промоины, тут и там обозначавшие себя обширными темными пятнами. Но Бог милостив – не провалились боярин с холопом, задолго до вечера спешившись у причала и осторожно заведя лошадей на обледеневший берег.

Тришка-Платошка скинул шапку, стал класть поклоны, отчаянно крестясь. Басарга же просто замер в остолбенении, не веря своим глазам.

– И куда это нас занесло? – пробормотал он и даже тряхнул головой, надеясь избавиться от наваждения.

Со времени последнего его приезда обитель не просто изменилась. Это был уже совершенно другой, невероятный монастырь. В центре его огромный белоснежный собор с черными куполами возносился к небесам, подавляя непостижимой каменной мощью[23]. Откуда он взялся, когда, если всего шесть

лет назад тут не было ничего, кроме развалин, – непостижимо…

Однако тут возник не только храм с высокой звонницей. По сторонам от него выросло еще множество каменных домов, десятки изб. В отдалении дымили трубами огромные сараи, размерами похожие на навесы для ладей. На ручье, не боясь мороза, крутилось большущее мельничное колесо, вал от которого уходил в кирпичный дом, гремящий и ухающий молотами. Через двор брели монахи, неся полные корзины рыбы, дальше полоскалось на веревках белье. За дальними постройками расстилалось Святое озеро – но и за ним темнел еще сарай, с освещенными окнами, возле которого что-то крутилось и стучало…

– Ну-ка, Тришка, возьми лошадей, – шепнул холопу Басарга. – Найди конюшню, расседлай, напои… Ну, ты знаешь. А я пойду огляжусь.

Посмотреть было на что. Два из сараев с трубами оказались работающими в полную мощь кирпичными заводами – похоже, они для строительства новых домов и храмов материал и поставляли. Дом напротив них был пивоваренной мастерской – именно мастерской, ибо сюда заходил один из валов мельницы и деревянной мешалкой крутил мутную, кисло пахнущую жижу в гигантской бадье. Кузня опричника уже не удивила так, как монастырская прачечная и палаты с двумя книгоделательными станками с ременным приводом. Было похоже, что игумен протянул крутящиеся валы во все строения, до которых только мог дотянуться, и любую работу норовил переложить на мельничное колесо. Странным стало то, что рыбу вручную разделывают, ничего механического к работе не приспособив, – все остальное через ремни и деревянные шестерни приводилось в движение водой.

Покружив между домами в поисках хоть одного свободного инока, боярин Леонтьев заглянул еще в один сарай, оказавшийся всего лишь хлевом, теплым и низким, пахнущим сеном и навозом. Самым обычным, как в любой деревне. Тут топтались в стойлах несколько волов – широкогрудых, с высокими горбами и широкой грудью. Опричник заметил в углу свет, заглянул туда, перекрестился:

– Хорошего тебе дня, святой отец. Бог в помощь.

– И тебе не хворать, сын мой.

Суровый инок с изрезанным шрамами лицом и большими мозолистыми руками старательно натачивал бруском… Что-то на чем-то – большое железное сооружение из рамок, пластин и листов, снабженное лезвиями, беспорядочно приклепанными тут и там, и корзинами редкого плетения с одной стороны. Больше

всего сооружение напоминало пыточное колесо, адову мельницу для расчленения грешников.

– Это что за ужас? – спросил Басарга.

– Да все игумен наш неугомонный, – по-доброму усмехнулся монах. – Не нравится ему, что глину для кирпичей руками копать да месить приходится. Вот и придумал упряжки воловьи, каковые сами сие все делают. И хорошо бы все, да ножи быстро тупятся. А к тупым глина липнет. Не волокуша, а комок большой получается.

– Так ведь зима! Где ее сейчас копать?

– А глину, мил-человек, прежде чем кирпичик слепить, поперва в яме с водой потомить надобно да помешать, дабы пропиталась равномерно, да проследить, чтобы ни лишней влаги не набралась, ни сухостью не схватилась. Так что для печи ее, все едино, из теплых ям брать надобно, хоть в жару, хоть в мороз. А добывать, понятно, летом.

– За озером тоже кирпичный завод?

– Нет, там кожевенная мастерская. Мнут, квасят, чистят, треплют… Воняет зело, потому подалее от обители и отнесли.

– Вручную али там тоже мельница?

– Знамо, мельница, – согласился инок. – Святой отец наш, игумен Филипп, ныне их по всему острову наставил. Озера каналами все соединил, и где ручей сильный – обязательно колесо приспосабливает. И полотно ими набивает, и сукно валяет, и лес пилит. С каналами удобно стало: где дерево ни свалят – по воде и на лесопилку. Доски, брусья сюда на стройку, а обрезки да стружку – на солеварни, море выпаривать.

– Когда же он все это успел? – не удержался от вопроса Басарга.

– Курочка по зернышку клюет, – пожал плечами инок, сдвинувшись к следующему ножу. – Каждый день каждый паломник или послушник что-то да делал. Что лучше умеет, тот то и творит. Кто камень долбит, кто кирки кует, кто лес рубит, кто колеса смазывает. А коли мастеров хороших в недостатке, так и нанимает. Каменщиков лучших, вон, по всей Руси собирал. Уж который год не покладая рук трудятся. Токмо на Рождество по домам отпускает. Однако же всех призывает семьи сюда привозить. По гроб жизни, сказывает, работы хватит.

– И где этот сказитель ныне? Я всю обитель обошел, а ни игумена не встретил, ни келаря, ни благочинного, ни казначея, ни ризничего[24].

– То в библиотеке смотреть надобно. В новом соборе сбоку лесенка приставная, так по ней на второй этаж подниматься приходится. Не пристроили еще нормальной, токмо летом

полагают срубить. А келарь, мыслю, и вовсе в отъезде, у Троицкого скита. Игумен наш выпас там устроил, оленей на мясо завел. Но полагает вскоре и для коров место найти.

– Тут, стало быть, уже и библиотека есть? – хмыкнул Басарга. – Что же, спасибо, святой отец. Пойду искать.

Теперь, зная, куда смотреть, он нашел вход в библиотеку без труда. Лестница, даром что была приставной и крутой, ступени имела широкие и частые, а потому боярин легко поднялся наверх, заглянул в заставленные стеллажами комнаты. Общение с Матреной-книжницей научило его слегка разбираться в книгопечатном деле, и он сразу почуял носом запах свежей краски и бумаги, свернул в нужную сторону и легко обнаружил несколько десятков «Лествиц»[25]. Остальные книги были старыми и числом невелики. Почти все полки покамест оставались пустыми.

– Кто тут бродит без дела?! – громко окликнули его откуда-то издалека.

Опричник пошел на голос и вскоре попал в свежевыбеленную светелку без двери. Зато в ней имелись образа в углу и стол с расходными книгами. Их боярин уже давно с легкостью отличал по характерным потертостям, чернильным пятнам и истрепанному переплету.

– Подьячий Монастырского приказа Басарга Леонтьев от государя, – назвался опричник. – Что, еще не доделали?

– К осени освятим, – пообещал казначей.

– Игумен где?

– В келье своей, в молитве молчальной отшельничает.

– Где келья?

– Дык там, на берегу морском, – неуверенно ткнул куда-то в стену монах. – В ските своем. – И зачем-то добавил: – Безмолвствует.

– Далеко?

– Версты две али три. Часа два идти.

– Пошли, покажешь.

– Зачем игумена на молении тревожить?

– Нешто не слышал, святой отец? Дело государево. Опосля помолится. Как книги расходные проверю, так самое время и настанет.

– Суров ты, боярин…

– Служба такая.

До Филиппова скита, как назвал отшельничье место казначей, монах его не повел. Просто тропинку указал, что на берегу начиналась.

– Вот, аккурат до места нужного и доведет, – пообещал

инок. – Не заплутаешь, россохов на ней нет, прямая.

Над Студеным морем уже сбирались сумерки, и Басарга усомнился – надо ли топать в такое время невесть куда? Однако, раз уж собрался, отступать было поздно.

Опричник быстро зашагал по тропе, петляющей меж невидимыми под снегом препятствиями. После нескольких поворотов путь пошел наверх, на взгорок, пронзил заиндевевшую рощицу, скользнул вниз по другому склону – и Басарга вдруг понял, что оказался в тишине. Сюда не доносились стуки кузнечных молотов и скрип мельничных колес, здесь не перекрикивались трудники, не плескалась на лопатках и чанах вода. Здесь не было ничего, кроме скрипа его шагов.

Басарга замедлил шаг… и очутился в звенящей тишине, полной и безупречной. Настолько пронзительной, что казалось – можно услышать свет звезд, крепость мороза, дыхание снега. Все то, что нигде более никаких звуков никогда не издает. Свет звезд сыпался с небес, подобно снегу, разбегался по насту множеством разноцветных искорок и вот-вот должен был зазвенеть, словно бисером по камню.

Боярин честно прислушался, вздохнул – нет, не звенит. Пошел дальше. Здесь, среди чистых белых снегов, даже слабого света звезд хватало, чтобы хорошо различать все вокруг.

Тропа запетляла змейкой по участку крутого склона, вышла к большой избе, размером с половину крестьянского двора, и оборвалась на краю широкого утоптанного полукруга. Он заканчивался у скамьи над уходящим дальше, к морю, склоном. И на скамье сидел монах, плечи которого поверх рясы укрывал пухлый, добротный овчинный тулуп. Похоже, тоже надеялся расслышать звон звездных лучей.

Усмехнувшись, опричник с размаху сел рядом, толкнул его плечом:

– Давно не виделись, отец-настоятель. Вижу, ты времени зря не терял. Эк отстроился. А половина денег, небось, от казны утаена. Давай исповедуйся. Все воруем?

Игумен смиренно промолчал.

– Конечно, помню. Безмолвствуем, – кивнул Басарга. – Первый раз вижу охальника-сквернослова, с языком, что помело, поганым, каковой себя молчальным молитвам посвящает. И как, отче, получается?

– Откуда в тебе столько злобы, боярин? – не выдержал испытания инок. – За что ты так меня ненавидишь? Что за ярость на мне выместить желаешь? Мы ведь и незнакомы даже, а ты с первой встречи в драку полез. Твой кулак я раньше тебя самого узнал.

– Коли лжец, сквернослов и вор праведной жизни людей поучать пытается – как к нему относиться, игумен? Разве не вижу я, что плевать тебе на Господа нашего Иисуса, на благочестие и самоотречение? Что токмо о хитростях и развлечениях ты заботишься, игрушки разные собирая. Гордыню свою тешишь тем, что приспособы придумываешь, отродясь ни у кого не бывалые. Пиво, что само в погреб течет да по бочкам разливается. Рыба в садках морских да озерных, светильники жировые, мясо парное, пекарня с маслобойней… Это такую твоя братия аскезу и самоотречение избрала? Так вы плоть свою умерщвляете во имя очищения души?

– Изобилие пищи, каковое я для обители нашей добился, – размеренно ответил игумен, – в амбарах наших, а не в животах. Трапезы же монастырские скудны, как положено для иноков, испытания для себя ищущих. Злоба в тебе клокочет, боярин. Потому и глаз черен, токмо черноту окрест себя видит.

– Стало быть, это в моем «черном глазу» келья твоя отшельничья больше на дворец путевой смахивает, с печами, сенями, несколькими горницами и, я так полагаю, периной на кровати и одеялом пуховым? А на деле сие лишь сруб с домовиной и тесом на крыше?

– Богохульствуешь, боярин! – повысил голос игумен. – Прогневать меня намерен?

– Не тебе, сквернослову мерзкому, о богохульстве поминать, – отрезал Басарга. – Пошли в обитель, игумен. Пошли, пока я на кроватку твою не посмотрел. Обо всем ведь государю поведаю. Лично мне книги выдашь и на постой определишь. Дабы потом на других ни на кого кивнуть не мог. Опять же, государь вклад на помин души царицы Анастасии направил. Хочу, чтобы деньги сии с надлежащим указанием были при казначее тобою в прибытки вписаны. А то как бы не затерялись.

Разжиревшее хозяйство Соловецкого монастыря обросло расходными книгами, как полинявший лось – шерстью. Опричнику пришлось сидеть над ними уже не пару дней, как в минувший приезд, а целых две недели. Зато результаты его порадовали – казну монахи обкрадывали пуще прежнего, только успевай утайки записывать. Пять бумажных страниц заполнил подьячий цифрами и отметками: где, за что и сколько не плачено, где послабления государевы превышены, где вовсе о доходах донесения нет.

– Ну что, игумен? – спросил он настоятеля Филиппа, заглянув к нему попрощаться. – С холмогорскими откупщиками вороватыми я ужо управился. Теперь твоя очередь. Жди!

Из обители они с холопом поскакали уже не в Кемь, а в

Холмогоры. Здесь, на севере, зима держалась куда дольше, нежели в иных русских землях, однако же даже на Студеном море морозы возвращались только темными ночами. Днем же солнце припекало так, что путники скидывали налатники и скакали в одних душегрейках поверх рубах. Лед вовсю таял, зимник был покрыт водой больше чем на ладонь, – однако Басарга очень рассчитывал на толщину намерзшего за долгую зиму панциря и в прибрежных деревнях не останавливался, как его ни убеждали здешние поморы.

Впрочем, он был не один. Несколько раз навстречу всадникам попадались такие же торопыги, что надеялись добраться до нужного места прежде распутицы. Иные верхом, а иные и на санях, скользящих мокрым брюхом от лужи к луже.

Поначалу, пока путь лежал через море, путникам было страшновато – но когда дорога приблизилась к берегу, опасения исчезли. Коли лед и тронется – всегда на сушу можно выскочить, отсидеться. Однако зимник держался и день, и два, и целую неделю, позволив опричнику со слугой добраться до Холмогор без особых приключений, остановившись в одном из постоялых дворов. Теперь у них, как и у всех путешественников, купцов, мореходов и рыбаков, осталось только одно занятие: встав поутру и глянув с порога на пустую реку – разворачиваться, идти в харчевню и пить пиво.

От избытка свободного времени Басарга облазил свой стоящий на козлах струг от носа до кормы, найдя массу трещин, плесени, гнилых снастей и прочих пакостей и на царские подорожные нанял трех местных корабельщиков, чтобы привели лодку в порядок: мачту проолифить, днище проконопатить, трещины просмолить. Влажные места залить дегтем, трухлявые заменить, сухие проветрить, ванты перебрать, паруса просалить…

Впрочем – делал все это он все равно не сам. Ему оставались для провождения времени только хмельной мед или вино – на выбор…

* * *

Короткий хруст выдернул Басаргу из сна и заставил нащупать рукоять сабли.

Нападение на постоялом дворе в Пошехонье, когда его вместе с холопами повязали тепленькими в постелях, научило боярина быть осторожным. Теперь, укладываясь спать, он всегда оставлял пояс с оружием у изголовья и засовывал в косяк двери возле подпятников деревянную щепку, благо этого добра всегда и везде

валялось в избытке. Не сундуками же вход заставлять, в самом деле, или ловушки какие ставить? Ночью ведь иногда по нужде выскочить надобно. Забывшись, в собственный капкан легко можно угодить. А щепка хрустнет – и все. Никто и не заметит.

Створка замерла. Неведомый тать прислушивался, не зная, откуда появился звук и не разбудил ли он кого из постояльцев. Потом поставил масляную лампу на пол, толкнул дверь дальше, бесшумно протиснулся в щель, сделал пару осторожных шагов. Опричник затаил дыхание, предвкушая, как неожиданно наставит клинок в горло подобравшемуся врагу, – но тут на сундуке, сладко причмокивая, заворочался Тришка-Платошка, и незваный гость, резко повернувшись, вскинул нож…

– Я здесь! – крикнул Басарга, пока его не оставили без слуги. – Ты ведь не за холопом пришел? – Он рывком поднялся, сгребая пояс с оружием, и в три шага оказался у двери, перекрывая гостю путь к бегству. – Ну что, лис? Полез в курятник, да во псарне очутился?

– Нет, петушок, – рассмеялся гость. – Курятник – он курятник и есть. Сейчас от тебя перья полетят…

Он чуть отступил, скользнул рукой к поясу, и в руке его оказался топорик.

– Не дело это, – покачал головой Басарга. – Ничего не видно. Давай чутка обождем… Тришка, свечи зажги! И расставь по комнате.

– Это верно, недолго ноги в темноте переломать, – согласился гость.

Холоп, испуганно прижимаясь к стене, прокрался до двери, забрал оттуда масляную лампу, запалил от нее двурогий местный подсвечник с хвощевыми свечами, потом два восковых огарка, что были в походном сундучке подьячего, и одну новую свечку, еще непочатую. Расставил их на столе и подоконнике, масляную оставив у порога.

Теперь ночной тать стал хорошо виден. Лет тридцати, смуглый и остролицый; бритый подбородок, темные усики. Узкие высокие сапоги с отогнутым верхом, тонкие облегающие штаны, поверх которых болталась серого цвета свободная рубаха из грубого домотканого полотна. Завершал странный наряд толстый и широкий ремень и суконная крестьянская шапка с ушами.

– Однако же… – хмыкнул Басарга. – Шаровары такие отродясь никто на Руси не носил. Пояс тоже дорогой, не для ложки деревянной резан. А по рубахе – так голытьба подзаборная. Каких краев будешь, гость неведомый?

– Холмогоры – город портовый, – на хорошем русском языке ответил тот. Хотя слова в его устах звучали несколько странно,

непривычно. – Кого тут токмо не встретишь. Начнем?

Он стремительно кинулся вперед, рубя сразу и топором, и ножом, словно это оружие ничем не отличалось, заставляя подьячего отступить. Но Басарга попятился лишь для того, чтобы принять правильную стойку: левая нога назад, корпус повернут боком, правая рука выставлена для укола – по всем правилам «Готского кодекса». Тут же присел в прямом выпаде, потом еще в одном.

Настала очередь отпрыгивать душегубу: стоя к врагу грудью, человек чисто физически неспособен вытянуть руку так же далеко, как стоя боком. А у опричника еще и сабля была в полтора раза длиннее. Топором же особо не попарируешь, это не меч.

– О, курсе ротте!!! – Прижатый к постели, тать вдруг перехватил нож в зубы, сцапал подушку, метнул вперед, скользнул за ней и, ловко резанув Басаргу по животу, нырнул за спину, с разворота попытался разрубить голову – однако опричник сообразил прыгнуть вперед, одновременно разворачиваясь.

Послышался глухой стук – топор вонзился в пол. Тать задерживаться не стал, кинулся вперед, перехватывая нож из зубов. Басарга рубанул – и вместо того, чтобы колоть, врагу пришлось заслоняться. Сталь звякнула по стали – тать отлетел к постели, сдернул одеяло, опять же метнув на опричника, кинулся в обратную сторону и, пока боярин отмахивался от ватного полотнища, выдернул из пола топор, тут же крутанулся, рубя на уровне пояса, промахнулся, отскочил, метнул нож, следом кинулся сам, метясь по голове. Опричник насилу успел подставить под рукоять свой клинок – и тяжелый удар едва не выворотил саблю из пальцев. Жесткий удар кулака в солнечное сплетение – аж искры из глаз – заставил опричника согнуться. Но хотя дышать он не мог, однако сообразил, что сейчас рубанут по спине, толкнулся дальше вперед, то ли кувыркаясь, то ли просто падая, чтобы тут же встать.

Глухой удар – топор опять засел в полу, и тех мгновений, что враг потратил на его вытаскивание, боярину хватило, чтобы перевести дух и выпрямиться во весь рост.

– Ну ты блоха! – покачал он головой. – Скачешь, как пришпоренный.

– На абордаж ты ни разу не ходил, боярин, – усмехнулся, тяжело дыша, душегуб. – Толпа всегда большая, а палубы чуть-чуть. Токмо задержись на месте… Справа или слева, а то и сверху, но обязательно кто-нибудь прихлопнет. Хочешь жить – скачи, словно кузнечик, и бей всем, что попадется под руку.

– Подушкой в битвах меня еще не били, – усмехнулся Басарга, чуть скосил глаза вниз, потрогал ладонью разрез на рубахе. Прижатая к телу ткань моментально напиталась кровью.

– Был бы палаш, ты бы уже мертвый лежал, – с явным сожалением произнес гость. – Топор режет плохо.

– Попробуй еще раз. – Опричник поднял с пола подушку.

– Ага… – Тать быстро стрельнул глазами, сцапал со стола подсвечник, ринулся вперед, занося топор.

Басарга, встав в позицию, вскинул саблю – и противник тут же отскочил, причмокнул, качнулся из стороны в сторону, швырнул подсвечник вниз, в ступню. Басарга невольно поддернул ногу, теряя равновесие, – и чужак взмахнул топором, торопясь пробить ему грудь, пока опричник снова не встал на ноги.

Но боярин вставать и не стал. Он даже толкнул вверх тяжелую подушку, ускоряя падение, а когда топор шаркнул мимо ребер – вскинул саблю, пронзая противнику грудь, и тут же вырвал с оттягом, разрезая рану вширь.

Тать споткнулся, с грохотом рухнул на пол, привстал – но опять не удержался, врезался головой в лавку, опрокидывая ее на пол. Вновь поднялся, но только на колени, повернулся и опять упал. И снова приподнялся, сел, опершись спиной на ножку лавки, покачал головой:

– Инне ваер… Но я еще жив! – Стиснув зубы, он все-таки встал на ноги, добрел до топора, наклонился. Попытался схватить правой рукой. Увы, она висела как плеть, и только пальцы совершали бессмысленные хватательные движения. Тать выругался, взялся за топор левой ладонью. Покачиваясь, распрямился.

Боярская сабля со свистом резанула воздух и уперлась ему в горло.

Чужак подумал и выронил топор:

– Твоя взяла, боярин… – Он попятился и в очередной раз с грохотом упал на спину.

– Тришка, сумку тащи с припасами лекарскими! – кинулся к раненому Басарга. – Надо разрез закрыть, пока кровью не истек.

– А чего его лечить? – пожал плечами Тришка-Платошка. – Сдохнет, душегуб, туда ему и дорога.

– Если сдохнет, как спросить, кто его послал?

– Ду ер ен генттлеман… – открыв глаза, внезапно горячо зашептал тать. – Сом икке дрепе… Епнеде…

– Чего это он? – не понял Басарга.

– Бредит, наверное, – подошел холоп. – Дай тебя поперва перевяжу, боярин.

– Ты ведь боярин, боярин, – тяжело выдохнул, перейдя на

русский, тать. – Ты не добьешь пленного? Чего-то жить вдруг зело захотелось…

– Других резать горазды! – возмутился Тришка. – А как самим отойти, так сразу жить просятся!

– Разве это не был честный поединок? – улыбнулся душегуб. – Будем благородны и далее. Я признаю себя твоим пленником и даю честное благородное слово не делать попыток к бегству.

– Для начала скажи, кто ты такой?

– Карст Роде, мореход датский, к вашим услугам. Перегулял по осени. Уж очень вино у вас тут крепкое. Отстал от корабля. Ледостава капитан больно боялся. Вот и отвалил, едва трюмы заполнились, ждать не стал… – Раненый хоть и говорил урывками, но ощущал себя явно лучше. Видно, когда лежал, кровь к голове лучше приливала.

– Почему хотел меня убить?

– Так без денег остался, боярин. Свои пропил, новых не получить. Зима. Где мореходу золота добыть, коли море замерзло? Одежду пропил, меч пропил. За деньги на боях кулачных дрался, тем и выжил. Однако же нашлись намедни добры люди, предложили работу прибыльную для бывалого пирата. Местные тебя, сказывают, тронуть боятся. А я мыслил кошель тяжелый получить да по весне на первом же борту уйти за тридевять земель… Вай-вай гут энд джор! – Тришка-Платошка полез под рубаху пленника с охапкой болотного мха, и тот вскрикнул от боли.

– Какого «пирата»? – не понял Басарга.

– «Судовая рать» по-вашему. На кораблях для охраны плаваем. Коли кто кого ограбить хочет… То и сам раздетым бывает.

– Вот откуда у тебя мастерство такое странное… – понял опричник.

– Нам, трюмным крысам, в тесноте меж палубами не размахнуться. Да и на палубе ванты, куда ни сунься. Посему длинным клинком особо не повоюешь. Тесак да топор, нож да кастет – вот и все наше оружие.

– Кто нанял?

– Не скажу. Нехорошо получится, коли выдам.

– Ты ведешь себя как человек чести, – наклонился ниже к нему опричник. – Ты признал себя моим пленником. Так отвечай на вопросы без утайки.

– Разве по законам чести пленник обязан выдавать секреты? – спросил Карст Роде.

– Разве по законам чести пленного запрещается пытать?

– Проклятье!!! – Тать снова оскалился от боли. – Будь по-

твоему, я скажу…

На рассвете опричник, волоча за собой пленника в накинутом на плечи тулупе, ворвался на двор откупщика Бачурина, цыкнул на дворню, сунувшуюся было навстречу, поднялся по крыльцу, через лабиринт хорошо знакомых еще с осени коридоров быстро дошел до купеческой опочивальни, ногой распахнул дверь, ворвался внутрь, в пахнущую иван-чаем и дымком негу, бросил пленника на ковер.

Рыхлая баба, утопавшая в перине и подушках рядом с хозяином, завизжала и зачем-то выпрыгнула из постели, попытавшись забиться под кровать. Щель там оказалась для нее узковата, и баба, пыхтя и скуля, просто вжалась между ножками. Купец же присел и лишь немного попятился, упершись затылком в подголовник.

– Нечто ты забыл, Прокоп, что сыск я веду умело? Что славно и быстро у меня дело сие получается? – поинтересовался Басарга, ступая ногой на боковину кровати и вытаскивая саблю. – Ась? Чего же тебе тогда неймется? Али полагал, не догадаюсь я, что за поморец безвестный с рожей лоснящейся золотишком за душегубство платит?

Откупщик глянул в сторону датского морехода. Бледное лицо того, окровавленная рубаха, примотанная к телу рука произвели должное впечатление. Купец сглотнул и хрипло прошептал:

– Помилуй, подьячий… Бес попутал…

– И чего тебе надобно-то, Прокоп, не понимаю. – Кончик сабли плавно скользнул по одеялу и зарылся в бороде откупщика. – Государь ведь приговорил поморцам добро разграбленное и ладьи тебе возместить. Выходит, и убытка никакого. Али обиделся за то, что вором назвали? Так ведь вор и есть, на том я тебя и поймал. И отчего вы все такие обидчивые, откупщик? Не себя за лихоимство корите и проклинаете, а тех, кто вас ловит. Ась?

Откупщик сосредоточенно следил зрачками по путешествующей сабле возле шеи.

– Ты чего, спужался, что ли? – прищурился Басарга. – Так ведь зря. Понимать должен, не трону. Я свой сыск по закону завсегда веду. Поперва листы допросные, после сего с обвиняемого спрос. Дыба, кнут, дабы память очистилась. Но то не страшно. Коли сдюжишь, может, и оправдаешься.

– Помилуй, боярин… – На миг купец даже забыл про саблю, дернулся вперед, но накололся и откинулся обратно: – Не губи! Что хочешь проси!

– Я? Царский опричник? У смерда просить? – удивленно вскинул брови подьячий. – Да ты воистину обезумел, Прокоп!

Вестимо, от сего и дуришь. Надобно тебя поскорее вязать. Бо, пока ты на свободе, мне постоянно за спину оглядываться придется, новых душегубов опасаясь.

Боярин Леонтьев отступил, спрятал саблю и, рывком подняв пленного, пошел из опочивальни, в дверях бросив через плечо:

– Скоро увидимся.

Пройдя через переднюю комнату, он оглянулся, тихо спросил датчанина:

– Этот платил? Узнал?

– Похож… – застонал Карст Роде. – Не рви так, боярин, рана откроется. Только-только запеклась. Тот в шубе был и солидный. Борода чесана, шапка горлатна, гонору, будто у кита окиянского. А этот бледный да шуганый, что кролик в садке. Поди разбери. Да токмо он меня, мыслю, узнал.

– Вот и мне так почудилось, – согласился подьячий. – Стало быть, верно я угадал. Да и некому меня в Поморье ненавидеть. Токмо игумену да откупщику. Но игумен чудной, не кровожадный. В игрушки играет. Этот же до виселиц охоч. Да в силу золота больно верит, хозяином здешним себя мнит. От и не удержался…

– Так вязать надо немедля! Сбежит!

– Куда он денется, Карст? Его на Поморье каждая собака знает. Не-ет. Я, наоборот, еще денька три выжду. Пусть теперь он каждого шороха боится и от каждого стука вздрагивает. Ишь чего удумал: бретеров подсылать!

– Какой из меня бретер? – поморщился датчанин. – Кабы повезло, спящими бы зарезал. Шляпами махать и ножкой стучать не приучен.

– Проклятье, на боку влажно, – остановившись, поморщился Басарга. – Похоже, пока я тебя дергал, у самого повязка сползла. Давай на постоялый двор двигать. Нужно переделывать.

Когда Тришка-Платошка, раздев хозяина, отер его рану и снова закрыл полоской рыхлого болотного мха, прижимая его повязку, дверь неожиданно открылась, в светелку вошел купец Прокоп Бачурин, одетый в неожиданно простой тулуп, скроенный из волчьих шкур. Скинул шапку.

– Ты чего? – удивился опричник. – Ты не спеши, я сам за тобой приду.

– Вот… – пройдя вперед, купец положил на стол два листа бумаги.

– Что это?

– Купчая, – ответил Бачурин. – Вижу я, ты к нам на море Студеное зачастил. Что ни год, по два раза появляешься. Я же причалы возле монастыря Михайло-Архангельского новые

поставил, для кочей больших да кораблей немецких. Ну, знамо, и дом неподалеку срубил. Добротный, просторный, с двором. Как приезжать станешь, боярин, по дворам скитаться не понадобится, сразу к себе поселишься. Там и прислуга, и порядок будет. Покуда жив и здоров, прослежу. Это купчая на дом сей. На тебя. И расписка моя, что деньги сполна получил. Живи, пользуйся.

– Да ты, Прокоп, никак меня купить удумал?! – вскинулся подьячий.

– Осторожно, боярин! Опять повязка уползет! – предупредил холоп.

– Ты же по справедливости судишь, боярин царский? – ответил откупщик. – Вот и рассуди по справедливости. Супротив царя али казны я ничего не сотворил. Супротив общества, земства – тоже. Только твоя кровь на мне и твоя обида. Тебе за сие страдание какое возмещение приятнее будет: дом теплый и большой али зрелище краткое, как меня, старика, в петлю засунут? Твоя воля, ты и выбирай.

Басарга прикусил губу, глядя на грамоту. В душе мелькнула подленькая мыслишка прибрать купчую, а откупщика засудить… Мелькнула и пропала – не умел царский опричник жить с такими мыслями. По совести, надо было выбирать одно из двух: или месть, или купеческий особняк. Боярин представил себе, как на шею Прокопа Бачурина, раздетого до исподнего, накидывают петлю, как заправляют ее под сбитую в колтыши бороду, как вздергивают и откупщик судорожно дергается в петле, потом замирает – а из расслабленных кишок…

Опричник невольно передернул плечами. Может, дружелюбия у него вороватый откупщик и не вызывал. Но не до такой степени.

– Я оставлю дело незаконченным, – сказал Басарга Леонтьев. – Если со мной что-нибудь случится, новый подьячий будет разбирать мои бумаги, найдет незавершенный сыск и доведет до конца.

– Благодарствую, боярин, – степенно поклонился купец и вышел.

Басарга помолчал, потом раздраженно сплюнул:

– Будь я проклят! Все-таки его взяла… Прокоп меня купил.

– Ерунда, боярин, – простонал с сундука Карст Роде. – Твоя кровь, твоя и плата. Я свою куда дешевле продал. А от лишнего трупа наш мир лучше не станет.

Митрополит всея Руси

Залив раздражение парой кувшинов красного вина, улучшающего, по словам местного лопарского лекаря, кроветворение и потому зело полезного при ранах, на третий день Басарга собрался съездить к устью Двины, к Михайло-Архангельскому монастырю – посмотреть бывший дом купца Бачурина, а ныне его. Раз уж взял – нужно принимать во владение. Правда, лошадей опричник уже успел продать, рана при резких движениях могла открыться, пленника одного оставлять не хотелось… Пришлось договариваться с хозяином, чтобы тот одолжил крытый возок.

Однако на рассвете, когда Тришка-Платошка уже начал таскать в легкую кибитку немногочисленные дорожные пожитки, со стороны реки донеслись истошные вопли. Волна криков покачалась у реки, после чего покатилась дальше по городу.

Хозяин, запрягающий лошадей, прислушался, хмыкнул и стал развязывать только что затянутые узлы.

– Ты чего? – не понял холоп.

– Обратно все тащи, – посоветовал ему холмогорец. – Не успели. Ледоход…

Для портового города вскрытие реки стало всеобщим праздником. Сюда уже съехались в ожидании работы рыбаки, грузчики, моряки, плотники и прочие мастеровые, ремесло которых было связано с работой порта или ремонтом кораблей. Ледоход означал, что вот-вот к причалам прибудут корабли, заскрипят тали, распахнутся ворота амбаров, оживет и зашумит торг. И мужики радостно пропивали последнее серебро в свои последние свободные дни. Когда начнется навигация – всем будет уже не до хмельного.

Впрочем, ледоход еще катился по реке толстым одеялом из рыхлого, вспученного и переломанного льда, местами присыпанного снегом, а местами – землей с песком и ветками, а на берегах уже заскрипели ворота, закачались мачты крутобортых кочей с набитыми на брюхо лыжами, а на борта – толстым дубовым тесом. Они первыми заскользили в сделанные в припае возле причалов проруби, первые распахнули крышки трюмов и стали принимать заждавшиеся покупателей товары из ближних амбаров. Уже через неделю после начала ледохода один за другим кочи начали поднимать паруса и отважно врезаться носами в густую ледяную мешанину, отправляясь в далекий путь вокруг Мурманского берега к портам датчан, англов и франков.

Хозяева ладей и ушкуев с завистью смотрели вслед

счастливчикам, ушедшим за прибылью, но поделать ничего не могли. Поморские кочи не боялись ни ударов острых льдин по усиленным бортам, ни затирания торосами, ни обледенения, а при нужде могли и вовсе скользить по льду на брюхе – лишь бы ветер был попутным, а лед ровным. Правда, и стоили они куда поболее других суденышек, а по мелководным извилистым рекам передвигались с немалым трудом – и потому дальше Северной Двины предпочитали не соваться.

Лед еще сплавлялся вниз огромными белыми полями, когда река начала подниматься. Это стало сигналом для большинства купцов грузить и свои посудины – на большой воде от столкновений уйти проще, да и в зажор попасть маловероятно. Риск, конечно, остается, но ведь каждый день простоя – убыток.

Глядя на соседей, стал собираться в путь и Басарга. Рана у него уже почти затянулась, боярин обходился без повязки. Карст Роде выглядел бодро – вино явно пошло на пользу. Однако и рана у него пока не зарастала, и рука висела на привязи. Похоже, сабля порезала какие-то мышцы, и теперь пленник надолго остался одноруким.

Дату отплытия назначила Северная Двина. Быстро поднимаясь, она добралась до козлов, на которых зимовал струг, и однажды вечером тот просто всплыл. Холоп бросил якорь, но эту ночь они провели уже на борту, а поутру подняли парус, и по сторонам зажурчала вода…

Ветер был боковым, однако просторы разлившейся реки позволяли холопу лавировать, словно в море, и он ловко пробирался вверх по реке, то поднимаясь с попутным ветром против течения, то резко перекладывая руль и проскальзывая к подветренному берегу, чтобы потом опять повернуть наверх.

– Глазам не верю, – покачал головой датчанин, – чем заслужили вы милость Господа, русские, что он наградил вас такими просторами? У нас, куда ни сунься, уже через час пути на деревню наткнешься, а через два – на крепость или город какой. Каждый куст кому-то принадлежит, за каждой канавой надсмотрщик, за каждый чих налог полагается. Здесь же, поди, отошел от реки, дом построил да и живи где хочешь и сколько хочешь?

– Коли заметят, подати придется платить, – предупредил Басарга. – За пашню, тони или меха. Чем жить станешь, за то и платить.

– Чего? – вытянул шею Роде.

– Подати платить, – повторил опричник.

– Прости, боярин, но я, видать, ослышался. Не сочти за труд, еще раз повтори, чем мне такая вольность грозит?

– Придется платить подати… – размеренно произнес Басарга Леонтьев.

– Подати! – нервно расхохотался датчанин. – Подати! Бери что хочешь, живи где хочешь… И всего лишь – подати! Эх, боярин, не бывал ты в местах, где у каждой крысиной норы моментом хозяин находится, сборами обложить норовит, а то и в рабы с потомками вместе записывает… А ваша жизнь суть вольная вольница. Ничто не запрещается, ничто не наказывается. Коли другим зла не делаешь, то и живи по своему разумению, где пожелаешь! Мечта…

– Так живи, – предложил с усмешкой боярин. – У нас всяким людям рады, лишь бы зла не замышляли.

– Рад бы в рай, грехи не пускают, – пожал плечами датчанин. – Я человек моря, от земли кормиться не умею. Поверишь, даже дома у меня на берегу нет. Иные от берега до берега живут, а я на берег от моря до моря попадаю.

– Но ведь родился ты где-то? Не на корабль же тебя чайки принесли?

– Чайки? На корабль? – Роде громко расхохотался, оценив шутку. – Можно и так сказать. Ибо вольной земли на Лабе, на которой я родился, нету более. Датский король завоевал. Я, правда, к тому времени уже в море жил. Сперва простым моряком, потом суденышко прикупил и торговать попробовал…

– Нешто моряки у вас такое жалованье получают, что на корабль с товаром деньги так быстро скопить могут? – удивился Басарга.

– За то, как я копил, меня в Гамбурге и Киле виселица ждет, боярин, – безмятежно признался датчанин. – Однако серебро скопленное все едино на пользу не пошло, рассыпался мой пинт еще до того, как прибыль успел принести. После того я к королю Фредерику на службу и пошел, корабли его в походах охранять. Посему датчанин я, так получается, по службе, а не по рождению. Ныне у тебя в полоне, можешь за русского считать.

– Что же с тобой делать, полонянин? – почесал подбородок опричник. – Я так понимаю, родичей у тебя нет? Выкупа за тебя никто не заплатит?

– Прости, боярин… – Карст Роде, забывшись, попытался развести руками и тут же охнул от боли.

– А король Фредерик выкупит?

– Так ведь я от судна отстал! Мыслю, в списках еще с осени не значусь.

– И у самого казны прикопанной тоже нигде не спрятано?

– Токмо не говори, что камень на шею и в воду, боярин, – рассмеялся пленник. – Я тебе еще пригожусь.

– Ишь ты, селезень сказочный… – хмыкнул опричник. – Откуда ты токмо так хорошо по-русски болтаешь?

– Так всю зиму в Холмогорах! – напомнил датчанин. – Там ни по-английски, ни по-нашему никто со мной беседовать не собирался. Пришлось самому тумкать, где, что и как здесь обзывается. Да быстро, ибо немому пожрать себе найти не так-то просто. Но, вишь, ничего, управился.

– Русский, английский, датский, – согнул по очереди три пальца Басарга. – Знаю, куда тебя определить. Поместье мое по дороге у нас будет. А в нем у меня приют сиротский и школа. Грамоте детей окрестных учат, счету. Стрельбе из лука, снаряжению пищали, «Готскому кодексу»…

– Ах, вот оно что! – посерьезнел датчанин. – Выходит, ты не деревенский увалень из леса, а фехтовальщик известной школы? Знал бы, с топором и ножом не сунулся, тесак бы и кастет прихватил и в сарай какой тесный для схватки выманил.

– Ты и так неплохо дрался, Карст, – утешил его Басарга. – Посему я тебя у дома своего высажу и прикажу к школе определить. Языкам детей будешь учить и хитростям боя корабельного, владению парусом. Пока исцелишься полностью, иной пользы от тебя все едино не будет. А там посмотрим на старания твои. Коли хорошо себя покажешь, так, может статься, умом, а не золотом из плена выкупишься.

* * *

Переезд государя в Александровскую слободу сделал прежний, привычный путь неудобным. От обжитой подьячим Яхромы что до Москвы, что до нового монастыря царского в верстах путь получался одинаковым, однако же по воде выходило, что округ слободы струг огромную петлю описывает, на полтораста верст, не менее. И все – против течения, либо на бечеве, либо на веслах пробиваться надобно. Посему на этот раз Басарга Леонтьев оставил струг в Калязине, взял под его залог четырех коней и во весь опор помчался узкими лесными проселками к Сергиеву посаду – хороших дорог в этом направлении накатать еще не успели. А к Александровской слободе путей не имелось вовсе.

Скачка заняла три дня, на исходе которых Басарга едва стоял на ногах. Однако же приказ царский он помнил: вернуться с вестями как можно скорее, а потому, как был – запыленный, пахнущий потом, в грязных сапогах, – решительно вошел на крыльцо «игуменского дома», как называли здесь царские палаты.

Опоясанные саблями монахи, укоризненно глядя на неопрятного собрата, тем не менее проводили его в трапезную – имя подьячего Леонтьева говорило само за себя.

Монастырская братия ужинала. Именно братия, ибо здесь опричники сидели без оружия, в рясах и скуфьях. Длинные столы, заставленные блюдами и мисками, кувшинами и открытыми бочонками, застеленные коврами скамьи. Напротив двери, на высоком престоле, один из царских иноков громко читал псалтырь… Или жития святых – Басарга не прислушивался, он сразу направился к сидящему во главе «игумену». Пройдя вдоль стены, остановился за плечом, громко кашлянул.

– Я видел тебя, мой верный слуга, – чуть повернул голову Иоанн. – Верно, вести срочные, коли от снеди отрываешь? Сказывай.

– Ты приказал торопиться, государь, – обиделся на такую отповедь Басарга. – Вот я и поспешаю!

– Я не гневаюсь, – тихо ответил Иоанн. – Просто чтеца перебивать не желаю. Сказывай кратко.

– Ворует пуще прежнего пройдоха соловецкий. Несколько заводов и мастерских поставил, садки, верфь корабельную, семнадцать судов рыболовных. И все мимо росписи податной. Вот здесь в подробностях все исчислено, – протянул бумаги подьячий.

– Давай… – неожиданно заинтересовался царь, на время забыв про чтеца. – Нешто токмо заводы на скале своей настоятель и строит?

– Трапезую соорудил для братии своей всемеро больше твоей да две церкви. И обе велики настолько, что все население двинское вместить способны. Братия его гордыней излишней попрекает, однако же Филипп над сими укорами токмо насмехается, бесстыдник.

– Экий ты замызганный, – изумился Иоанн.

– Спешил с докладом… – опять нахмурился Басарга.

– Я понимаю. Устал, проголодался. Но тебя такого и к столу не пригласишь. У меня, правда, баня сегодня топлена. Но ведь поперед себя я тебя не пущу… – Царь подумал несколько мгновений, коснулся плеча сидящего справа монаха:

– Брат Давид, проводи боярина в левый придел, пусть помолится. А как я с супругой попарюсь, в баню его отведешь.

– Слушаю, отец настоятель… – Опричник поднялся из-за стола и поманил подьячего за собой:

– Идем…

Из дворца они перешли в Троицкий собор, свернули влево, и Басарга оказался в небольшой обособленной часовне с образами Богородицы и списком иконы «Житие Сергия Радонежского» на

стене. Или, может, истинная икона находится именно тут, а ранее, в Воротынске, боярский сын Леонтьев видел копию?

Здесь было тихо и покойно. Никто не тревожил, не торопил; никто не пытался его убить или обмануть, не озадачивал душегубством или подношениями.

– Прости меня, ибо грешен, – перекрестился перед распятием опричник. – Искусили, не устоял. Пугал, пытал, кровь христианскую проливал, едва живота иных не лишил. Гореть мне, вестимо, в аду. В том тебе и каюсь. Ибо ведаю, что творю, но нет у меня пути иного, коли справедливость желаю найти. А разве справедливость не важнее всего прочего? Ради нее грешил и грешить буду…

Он опустился на колени и осенил себя знамением еще раз, закрыл глаза и попытался открыть душу Господу, ощутить его свет, что должен сиять в любом храме, неся людям благость. Получалось почему-то плохо, как опричник ни старался. Может, потому, что молился редко, а чаще мчался на рысях, допрашивал, считал, выписывал, рубил людей, встающих на пути, не спрашивая ни имени, ни звания?

– Хоть ты, матушка, заступись за меня перед Всевышним, – обратил подьячий свои молитвы к Богородице. – Не может он тебя не послушать, ведь он же сын!

Тут Басарга вспомнил, когда в последний раз видел собственную мать, и ему стало совсем тоскливо. Боярин опустил голову и стал молить только об одном: о милосердии.

– И один раскаявшийся грешник дороже ему тысячи святых праведников, – негромко произнес появившийся в приделе опричник. – Раскаяние искреннее половину греха снимает, подьячий, душу просветляя. Пойдем, пора.

– Сколько я здесь был?

– Третий час молишься. Я поначалу ждал, но сколько же можно?

– А чем снять вторую половину греха? – поинтересовался Басарга.

– Искуплением. Коли задержишься, слуги со стола прибирать начнут. А царь велел оставить.

У подьячего моментально заурчал желудок, и он встрепенулся:

– Идем!

Баня правителя всея Руси не особо отличалась от самой обычной бани, каковая есть на каждом русском дворе. Разве только украшена была с роскошью: персидскими коврами на стенах, кошмой толстой на полу, шкурами медвежьими, лисьими и рысьими на скамьях, столом из заморского черного дерева,

светильником из серебра с эмалью. Так ведь и то – лишь в предбаннике. Сама парилка была обычной: стены и полки осиновые, веник березовый, бочка дубовая, котел медный. Печь голубыми изразцами отделана – вот и вся разница.

Жар хорошо натопленной комнатки высушил и трехрядные полки для томления, и пол, и только слегка влажный еще воздух подсказывал, что совсем недавно тут намыливался и плескал квасом на каменку кто-то другой.

– Эх! – За квасом в предбанник идти было лениво, и боярин зачерпнул из бочки воды, плеснул на печь, придвинулся в облако разбегающегося с шипением пара. Тело мгновенно покрылось потом, от нестерпимой жары защипало в глазах. Басарга крякнул, черпнул медной бадейкой холодной воды, опрокинул себе на голову, злобно зарычал, сграбастал мыло, покрутил в ладонях, наскоро ими отерся, черпнул горячей воды, следом холодной и, пока она не смешалась, вылил на себя длинным потоком, направляя его то на голову, то на плечи, смывая мыло со всего тела. – Ну, для первого раза хватит…

Подьячий вышел в предбанник, сел за царский стол на царское место, придвинул блюдо, полное раков, но тут же передумал – долго их есть, муторно. А он голоден как волк. С белорыбицей копченой куда проще будет.

Откушав примерно треть осетра, Басарга потянулся за вином, но тут же обнаружил, что руки липкие, словно в меду. Пришлось утолить возникшую жажду мочеными яблоками с черносливом и снова идти отмываться.

В этот раз, наскоро ополоснувшись, он снова наддал пару и забрался на верхний полок – отогреваться. Лег на живот, вытянув вперед руки, зажмурился, позволяя теплу просачиваться в тело, медленно погружаясь в покой, очень похожий на молитвенный…

По спине пробежала череда мелких когтистых лапок, остановилась, ударила по плечам влажной горячей волной, хлестко защекотала по лопаткам, по ребрам, распространяя в стороны густой березовый аромат.

– Кто здесь? – Из своего положения боярин мог увидеть только босые ступни. Он чуть повернулся, взгляд скользнул вверх по коленям, бедру, животу. – Мирослава?!

– Ты по какому месту меня узнал, охальник?! – хлестнула его прямо по лицу княжна. Впрочем, совсем не больно. Опричник же сграбастал свою любимую в объятия и стал покрывать лицо поцелуями.

– Только не здесь! Только не это… У меня сейчас волосы загорятся!

Волосы женщины влажными змеями ниспадали на плечи и

грудь и, конечно, полыхнуть не могли – однако жар в парилке был еще тот, и любовники, выскользнув за дверь, упали на кошму, прячась в уцелевшую пока у самого пола прохладу.

– Ой, что это у тебя? – улыбнулась оказавшаяся внизу Мирослава и тут же охнула, закатывая глаза и раскинув руки, заскребла кошму пальцами: – Басарга… Басарга-а…

Уже через несколько мгновений она жадно охватила его руками и ногами, перекатилась, оказавшись сверху, наклонилась, прикусив губу, глядя в глаза почти в упор и мерно покачиваясь…

Опричник, внезапно оказавшийся бесправной игрушкой своей женщины, поначалу взбрыкнул, вызвав у княжны только нервный смешок, потом откинулся на спину, отдавшись на ее волю. Но душа воина очень быстро взяла свое – он резко поднялся вперед, опрокидывая Мирославу на спину, и его решительный последний рывок привел к сладкому взрыву, плавно переходящему в истому.

– Я и не думала, что на кошме так хорошо может быть, – выдохнула княжна. – Эк оно… А на перине и не шевельнешься, ровно младенец спеленутый… Басарга, нам нужна еще одна постель. Из кошмы.

– Пол из кошмы… – поправил ее боярин. – В опочивальню.

– Да… – согласилась княжна. – Но надо все же ополоснуться…

Она с трудом поднялась, добрела до парной. Там всплеснула вода, послышался крик. Басарга пошел следом. Пол был холодный, а княжна распласталась на втором полке. Ледяной водой, понятно, обливалась. Боярин замешал для себя теплой, окатился, взял веники и подступил к женщине, принялся стегать ее от ног к плечам. Княжна блаженно застонала и вроде как обмякла.

После веников Мирослава, понятно, помылась, потом загнала Басаргу на верхний полок и тоже хорошенько отхлестала. А потом оба, чистые до хруста, они вышли в предбанник и развалились на шкурах царской скамьи напротив друг друга, угощаясь курагой и глотками пробуя вино. На большее их пока не хватало.

– Ты откуда здесь, милая моя? – наконец спросил боярин.

– Государь передать велел, что тебя завтра на посольском приеме ожидает, после полудня.

– Разве ты в его свите? – удивился Леонтьев.

– Ты иногда такой глупый, – рассмеялась княжна. – Коли царица к мужу своему пришла, где я быть могу?

– Ну да, конечно, – хлопнул себя кулаком по лбу боярин. – Тогда расскажи, каково тебе ныне в свите царской?

– Буйно… – выдохнула все одним словом Мирослава. – Черкеска ярая, кровь с молоком, в глазах огонь, в душе азарт.

Непоседливая, шумная, ехидная, ловкая. Не хочет вышивать, на охоту рвется. Не хочет в подушки каретные, в седло норовит прыгнуть. Не хочет псалтыри читать, в пятнашки бегать желает. Как службы в храме выстаивает, уж и не представляю.

– Как же ты ее выносишь? – удивился Басарга.

– Укоряю… – забавно фыркнула носом княжна. – Меня государь к ней привел, упредил, что послушница я монастырская и наставлять ее буду в благонравии. Она первым же днем донимать начала. То одно спросит, то другое. Как пояс завязывать, как шапку поправлять, как платок на волосы класть. И каждый раз: «А сие благонравно?» А опосля на прогулке зайца увидела, да шпоры как даст, да за ним! Он в рябинник – она следом. Он через реку – она за ним. Он в кусты – она через верх. Он в сугроб – она туда же. Я насилу в седле удержалась, пока за ней гналась. Ну, куда зайцу супротив туркестанца? Нагнала Мария косого в поле и цап за уши! Он визжит, брыкается. Я подъехала и говорю: «Нехорошо так зайца держать. Нужно лапами от себя, дабы одежду не порвал. А так не благонравно». Царица так хохотала, что и упустила косого-то. С тех пор коли и донимает, так больше в шутку. А как серьезно что говорю, коли не по обычаю поступает, так и слушается.

– Верхом? За зайцем?

– Засиделась я в четырех стенах, любый мой, пока пряталась. Устала от покоя-то. Вестимо, буйство царицыно мне ныне токмо в радость. Не хочу вышивать! Хочу в седло и на охоту! – Похоже, Мирослава чувствовала себя совершенно счастливой.

– Как же государь такую жену выносит?

– А никак, – пожала плечами княжна. – Она сама по себе живет, он сам по себе в дела погрузился. Встречаются, токмо чтобы долг супружеский исполнить. По субботам обязательно, да еще на неделе бывает… – Мирослава пригубила вино и хитро прищурилась: – Так скажи мне, милый, по какому месту ты меня узнал?

– По всем, ненаглядная моя… – Боярин придвинулся вперед, опустился со скамьи на кошму, встав на колено, скользнул ладонью по ее ноге, наклонился к ступне, поцеловал мизинец: – Я в тебе и этот пальчик узнаю, и этот, и этот. И эту родинку, и этот пушок, и этот изгиб…

Когда он добрался до бедра, слабые стоны кравчей подсказали, что слов его она уже не слышит. И вместо слов жаждет совсем другого…

В бане было тепло и просторно, удобные лавки, вкусное угощение. Посему расстались они только на рассвете. Мирослава, торопливо чмокнув Басаргу в губы, умчалась облачать царицу

после пробуждения, а подьячий, неспешно собираясь на прием, с некоторым запозданием обнаружил, что его одежда исчезла. Остался только пояс с оружием и плоский поморский засапожник. Вместо его серого тряпья лежала белая шелковая сорочка, коричневые штаны из тонкого плотного сукна, густо шитая золотом ферязь с собольей опушкой, стояли коричневые сафьяновые сапоги.

Покрутившись, опричник смирился с обстоятельствами и оделся в то, что есть, – благо наряд пришелся впору. Этаким гоголем он и вышел на двор – где почти все были одеты в серые и черные рясы и различались разве что наличием или отсутствием сабли на поясе.

До полудня времени было в достатке – и Басарга решил поискать холопа, оставшегося вчера возле дворца. После некоторого размышления он направился к конюшне и тут же обнаружил Тришку-Платошку, дремлющего в стоге сена.

– Вставай, – пнул его в подошву подьячий. – Тебя кормили?

– Да, боярин! – засуетившись, выбрался на свет холоп, выдергивая соломины из волос и из-за ворота. – Боярин Зорин угостить изволил!

– Софоний? – изумился Леонтьев. – Он-то здесь откуда? Я так мыслил, его из Москвы никакими ковригами не выманить!

– Тебя искал, боярин.

– Откуда он знает, что я здесь?

– Это совсем нетрудно, – ответили ему от угла сарая. – Куда бы, в какую даль тебя Иоанн Васильевич ни заслал, но возле княжны Шуйской ты обязательно вскорости появишься.

– Софоний, побратим! – Бояре крепко обнялись, и Зорин предложил: – Пошли, посидим? Меда выпьем, пирогов поедим. Я тут на постоялом дворе две комнаты снимаю. Могу и тебя туда определить.

– Отчего там? Ты же тоже опричник, здесь можешь оставаться.

– Тесно здесь, друже, – поморщился Софоний. – И монастыри, сам знаешь, у меня с детства поперек горла.

– Тришка! – подозвал холопа Басарга. – Лошадей забирай. В другой конюшне отдыхать будут.

Вскоре они уже сидели за сколоченным из толстого теса столом, на котором стоял лоток заливной щуки с хреном и тяжелый жбан меда, с двумя ковшами в нем.

– Ну, сказывай, – предложил подьячий. – С какой такой стати тебя вдруг на службу потянуло? Вроде другой совсем интерес у тебя в последние дни образовался…

– Образовался, не без этого, – согласился Софоний и

пригладил подбородок. Явно хотел подергать себя за бороду, но коротка была, дергать не за что.

– Ну, так давай твоему интересу удачи пожелаем, – зачерпнул меда Басарга.

Боярин Зорин потер себе нос. Выпил. Подергал кончик куцей стриженой бородки.

– Что? – с напором спросил его Басарга.

– Помню я, друже, какой славный у тебя сиротский приют в поместье… – Боярин Зорин замолк, черпнул меда, попил.

– Так по слову из тебя и вытаскивать?

– Спросить хотел… Дитя в него не примешь?

– Конечно, возьму! – даже удивился такому вопросу подьячий.

– А если он еще не родился?

– А-а-а… – озадаченно почесал в затылке Басарга. – Вот, стало быть, отчего ты две комнаты снял?

– Она на богомолье… – шепотом пояснил Софоний. – Нехорошо выйдет, коли кто увидит.

– Там не увидят, коли сама в город не покажется… – согласно кивнул подьячий. – Приму, конечно, какие тут вопросы? Вот только как? – Он немного подумал: – Вот что. Струг мой в Калязине. Где – холоп знает. Бери его, нанимай возок какой-нибудь да поезжайте туда не спеша. Как государь определится, чем меня теперича озадачить, я весточку пришлю.

– Спасибо, побратим.

– Да мне токмо в радость. – Басарга черпнул еще меда и поднялся: – Холопам повезло.

– Ты о чем?

– Прием посольский у государя. Скоро полдень, идти надобно. А меда еще почти полный жбан. К вечеру упьются.

– Тебе-то какая разница?

– Ты о чем, друже?

Софоний многозначительно улыбнулся.

В посольской палате подьячий оказался и вовсе единственным, кто был одет так богато. Словно белая ворона в обычной серой стае. Или, вернее, золотая. На фоне монашеских ряс расшитая ферязь смотрелась особенно ярко, точно светилась. И то, что в зале опричников собралось всего три десятка, Басаргу никак не утешало. Чувствовал он себя зело неуютно. А когда в палате появился Иоанн – ему и вовсе захотелось провалиться сквозь землю. Царь и его малая свита из пяти бояр тоже вышли в рясах, да еще и скромно подпоясанные пеньковыми веревками. Единственная роскошь – клобуки на головах вместо скуфий.

Подьячий попятился, намереваясь прижаться к обитой

коричневым сукном стене, раствориться в ней, стать невидимым, незаметным. Но не тут-то было. Государь заметил золотой блеск и, усаживаясь на трон, поманил его пальцем:

– Боярин Леонтьев! Подь сюда.

Опричники раздвинулись, пропуская его вперед, Басарга остановился перед троном, низко поклонился:

– Твой верный слуга, государь…

– Рядом встань, – распорядился царь. – Свены послов с жалобами прислали о спорах порубежных. Коли о кольских землях речь зайдет, так лучше тебя о тех делах никто не ведает.

– Слушаю, государь.

– Отписку твою посмотрел, – уже не так громко добавил Иоанн. – Читается ровно былина с чудесами. Мастерские кирпичные, кожевенные, пивоварные, лесопильные, садки рыбные, мельницы водяные… Когда ты в последний раз на него жаловался, окромя солеварен ничего не имелось. Нешто вправду так много наворотил?

– И все беспошлинно, государь! И все без твоего дозволения! Не о вере христианской и духовном служении сей настоятель помышляет, а токмо о доходах мирских да хитростях розмысловых…

– Однако… – Иоанн откинулся на спинку трона, подумал, сделал жест рукой. Дверь посольской палаты распахнулась. В залу, тиская в руках шапку, вошел молодой боярин в добротном, но неброском кафтане, низко поклонился государю:

– Князь Тихон Киясов тебе челом бьет, игумен Иоанн Васильевич! Дозволь службе державной себя посвятить, мысли мирские отринув. Нет для меня большего желания, нежели царство твое видеть великим и процветающим, могучим и бескрайним. Во имя веры православной и чести предков своих готов живот свой отдать. Любые повеления твои исполнять стану без сомнения, ни на кого более не оглядываясь!

– От сердца ли идут слова твои, князь Тихон, али власти и прибытка желаешь ты от обители нашей? Не гордыня ли влечет тебя в обитель царскую?

– В чистоте помыслов своих готов пред Богом и людьми любой клятвою поклясться!

– Сомнения терзают меня, княже… – Иоанн пощупал подбородок собранными в щепоть пальцами. – Не знаю я тебя вовсе. Можно ли верить словам твоим?

– За слова сии иноки твои бояре Лыков, Безобразов, Овицин и Благово головами своими поручиться готовы! – гордо сообщил князь.

– Так ли сие?

Из рядов стоящих по сторонам палаты опричников вышли четверо монахов, склонили головы:

– Ручаемся, государь!

– Понимаете ли вы, братья мои, что за измену делу нашему инока, за которого ручаетесь, вы головами своими заплатите?

– Да, государь!

– И все же от ручательства не отказываетесь?

– Мы ручаемся за него, игумен, – вразнобой, но одинаково ответили опричники.

– А ты, князь Тихон, понимаешь ли, какую ношу принимаешь на плечи свои? – Иоанн поднялся, спустился с трона к просителю. – Отречься от мира ради служения державе и православию? Забыть о себе, о роде своем, об утехах обыденных, посвятить себя и помыслы все служению высшему?

– Приму сие послушание с радостью! – сжал на груди шапку проситель.

– Знай же, что по законам братства нашего клятвопреступнику полагается смерть через отсечение головы! – грозно повысил голос Иоанн. – За сношение с людьми земскими – смерть! За встречи с семьей своей – смерть![26] За укрывательство изменников – смерть! Не щадя жизни своей, княже, обязан ты искать и выгрызать измену, ересь любую, разить врагов державы нашей и делать все для ее блага и возвышения!

– Клянусь! – с готовностью согласился Тихон Киясов.

– Не мне клянись! Господу нашему должен ты клятву принести на образе его в иконе Спаса Нерукотворного! – Иоанн вернулся на трон, а в посольскую палату торжественно внесли потрескавшуюся от времени икону в переливчато сияющем окладе, полностью сшитом из бисера со вкраплениями самоцветов…

Пострижением это назвать было нельзя: князь Киясов по боярскому обычаю брил голову наголо. Дело ограничилось целованием образа, поклонами на все четыре стороны и еще одной клятвой отречения от мира.

После того как новоявленный инок получил свою рясу, в посольскую залу вошел с той же просьбой боярин Микитка Игнатьев, следом боярский сын Иванец Лыков, а потом – князь Дмитрий Горчаков. Басарга даже вздрогнул от такого нарушения местнических правил: родовитый князь вслед за худородным слугой впускается! Однако здешний инок и глазом не моргнул, обойдясь с князем ничем не лучше, нежели с боярским сыном до него.

Вслед за «новообращенным» Дмитрием Горчаковым в посольской зале наконец-то появились свейские послы – в

забавных суконных чулках и деревянных туфлях с самоцветами, в коротких кафтанах, разрезанных во многих местах. Жаловаться они стали на самовольство русских рыбаков, ставящих сети и бьющих тюленя на отмелях, что свеи считали своими.

– Нечто обезумели вы, смерды?! – внезапно разъярился Иоанн. – Не срамно ли вам, ровно мужикам торговым, хвосты тюленьи считать да головы рыбьи?! Да ко мне, царю русскому, с мелочью подобной челом бить?! В Новгороде наместник мой сидит, с ним по бедам своим и сношайтесь! Он на месте вам мели посчитает, и где ваши, где наши определит! Пошли вон! В Новгород!

Свеи недовольно побурчали, поклонились и ушли. Из чего Басарга сделал вывод, что его подсказок Иоанну сегодня не понадобится.

Следом были послы литовские, пространно предложившие мирный договор, дабы прекратить порубежные стычки и кровопролитие. Этим Иоанн ответил с благосклонностью:

– Слова ваши приятны моему сердцу, ибо в князе литовском вижу я не врага, а лишь заблудшего единоверца. Ныне повелел я в Москве созвать собор Земский, дабы всем людом православным узнать чаянья народа моего и с сими чаяниями впредь державу свою строить. На сей собор вынесу предложение о вечном мире и дружбе с князем литовским. О чем господину своему и донесите…

За окном потихоньку начало смеркаться, а в животе – бурчать. Непривычный к дворцовой службе Басарга уже давно мялся с ноги на ногу, в нетерпении поглядывая на дверь, а послы все кланялись и кланялись, уговаривая Иоанна на немедленное перемирие и разграничение земель, дабы договор мирный обсуждать уже потом, не торопясь.

– Коли сегодня я с вами перемирие заключу, весть о нем до ратей моих токмо через месяц доберется, – резонно ответил царь. – К тому дню ужо и Земский собор свой приговор учинит. А каким он окажется, откуда я знаю? Может статься, не о мире, а о наступлении новом приказывать придется. Идите с Богом. К словам вашим я благожелателен, однако же супротив приговора Земского собора не пойду.

Иоанн хлопнул ладонями по подлокотникам трона и решительно поднялся.

Басарга едва сдержал вздох облегчения – и оказалось, что правильно.

– Славно мы потрудились сегодня, братья мои, – произнес «игумен», – и за успехи деяний наших надобно нам молитву благодарственную вознести.

От молебна с царем Басарга, понятно, уклониться не посмел и еще полчаса стоял в его свите в храме. Опричники тут были не одни, в церковь входили и другие обитатели Александровской слободы. Крестились, молились, ставили свечи, целовали образа, уходили. Одна из женщин, с укутанной в платок головой, проходя мимо, сунула подьячему в руку бумажку. Басарга резко повернул голову – но лица не разглядел. Хотя холодник[27] из горностая сразу выдавал в незнакомке царедворку.

Дождавшись, когда Иоанн закончит молитву, подьячий вышел на улицу, развернул записку и в слабом свете позднего вечера обнаружил на ней довольно подробный план: храм, дом за ним, дальше еще один, с лестницей, коридором на втором этаже, который загибается влево. Линия со стрелочками указывала путь именно туда.

Вернувшись в церковь, опричник взял свечу, с нею дошел до указанного дома, там, порывшись в поясном наборе, достал огниво и зажег фитиль, поднялся по узкой лестнице, повернул в холодный тесный коридор. Согласно рисунку, дошел до места, отмеченного крестиком. Сбоку мелькнула тень, легким выдохом задула свечу, крепко обхватила его за шею, потянула в сторону…

Мирослава продержала боярина у себя в светелке два дня, утром убегая на службу, а вечером возвращаясь в его объятия. На третий с грустью призналась:

– Государь тебя ищет. Интересно, и почему именно у меня все слуги спрашивают, как тебя известить можно?

– Думаешь, кто-нибудь догадывается?

– Вряд ли. Я ведь осторожна. Полагаю, знать про нас никто ничего не знает. Кроме, конечно, государя, епископа Пимена, Андрея Басманова, моей служанки, твоего холопа, побратимов… – На этом она перестала перечислять исключения, ткнувшись носом ему в шею и захихикав: – Почти никто… Однако же завтра в переднюю комнату к Иоанну явись. Пока и вправду не нашли.

Новым утром они вышли из светлицы кравчей вдвоем. Княжна ушла в покои царицы, Басарга же направился к Иоанну.

В этот раз прием был краток до предела. Государь поднял на него глаза, произнес нечто похожее на «Ага», пробежал пальцами по сложенным сбоку свиткам, выбрал один, развернул, свернул и протянул подьячему:

– Со всей поспешностью поезжай в Спасо-Преображенский монастырь, что на островах Соловецких, моею волей настоятеля тамошнего Филиппа возьми и сюда доставь. Скачи!

Подьячий Леонтьев, задохнувшись от радости, схватил грамоту, низко поклонился, отступая, и выскочил из передней.

* * *

Путь к Соловкам через Онежское озеро был, конечно, короче, ибо Северная Двина идет от Шексны по огромной дуге. Однако на прямом пути было два волока, две реки, по которым нужно идти против течения, и два обширных озера со стоячей водой. На Двину же вел всего один волок – Славянский, после чего стругу оставалось катиться и катиться вниз. Река ведь даже при встречном ветре неплохо корабли везет. Так что еще неизвестно, какая дорога быстрее…

Понятно, Басарга выбрал путь мимо своего поместья. И, наверное, выбрал бы его, даже не будь на борту боярина Софония с новым холопом и паломницы, старательно прячущей свое лицо за платком.

Несчастной женщине пришлось несладко – плыть на одной лодке с четырьмя мужчинами, скрывая при том свою личность. Ни перемолвиться ни с кем, ни на воздухе посидеть, лицо встречному ветру подставив, ни ноги толком размять, ни поесть спокойно. Куда ни повернись – обязательно кто-то чужой рядом окажется. Посему почти все время она сидела внизу, в каюте, в самом носу струга, действительно молясь. Иногда перешептывалась с Софонием, но чаще – стараясь никак не напоминать о своем существовании.

Басарга, не желая лишний раз тревожить путницу, предпочитал все дни проводить наверху, благо погода стояла солнечная, и подменял Тришку-Платошку у руля. Чем больше холоп спал днем, тем меньше опасности, что врежется куда-нибудь ночью.

Вниз по течению да с ночными переходами – на Ледь струг домчался всего за неделю. Здесь Басарга задержался всего на день: поцеловал Матрену-книжницу, обнял некоторых из учеников своей школы, дал наказ старосте по обращению с новой гостьей: с уважением, но без любопытства; забрал оброк, каковой уже не первый год исчислял серебром, – и снова покатился вниз по течению, провожаемый дворней и крестьянами, машущими вслед платками.

Своего боярина крепостные любили со всей искренностью: набожный, чадолюбивый, не жадный. Монастырь отстроил, приют организовал и школу бесплатную, над душой не стоит, барщиной не донимает, большого оброка не требует – как такого не любить? Басарга же, получая от государя жалованьем и подарками куда более, нежели можно со смердов в поместье стрясти, относился к своему уделу, как к дому: больше старался улучшить и облагородить, нежели в доходное место превратить. И крестьяне

это отлично чувствовали.

Излучина, другая, третья. Берега разошлись, и Тришка-Платошка, засуетившись, стал поднимать парус.

Боярин Зорин перебрался на нос, сел на настил перед каютой, привалившись к передней стенке спиной. Басарга, достав из припасов бурдюк, тоже полез вперед, устроился рядом. Выдернул зубами пробку, сделал несколько глотков, протянул вино побратиму, спросил:

– Никак уже заскучал?

– Что за судьба у нас такая, друже? – спросил в ответ Софоний. – Сами сироты, дети сироты. Внуки, мыслю, тоже сиротами станут? Род, что ли, такой основался: Сиротский?

– Какой же ты сирота? – покачал головой подьячий. – Ты есть сын боярский. Боярин даже, ибо доходы у тебя свои, а не от хозяев старших. Имя родовое есть: Зорины. Женись, рожай, воспитывай. Пусть растут!

– Знаешь, в чем разница меж нами? – отхлебнув вина, спросил Софоний. – У тебя отец с матерью есть. Они тебе невесту присмотрят, коли уже не высмотрели. Они и посватают, и приданое обговорят, и условия брачные, и красоту невесты оценят. Приведут и скажут: вот твоя жена, сынок, живи! Все, как было у Ильи и Тимофея. Письмом домой отозвали, свадьбу сыграли – и точка. Ныне они у нас бояре женатые. Я же про отца с матерью токмо гадать могу. А уж невесту они мне точно искать не станут. Ибо вроде как есть они, но все же их нет. Теперь и мой ребенок таким же будет…

Он вскинул бурдюк над головой, сделал несколько больших глотков, поморщился:

– О матери ему сказывать нельзя. Ибо он есть позор материнский, а не радость. Про отца тоже не стоит. Ибо с отца за матушку твердый спрос будет. А мамино имя честным ответом марать нельзя…

Басарга тоже скривился, отобрал вино, надолго к нему приложился. Мысль о том, что дети его и Мирославы растут точно таким же безродным бурьяном, внезапно обожгла его душу.

– Зато ты можешь девицу по своему выбору сосватать, на родителей не полагаясь, – попытался найти хорошую сторону подьячий.

– По своему выбору и у родителей испросить можно, – пожал плечами Софоний. – Мне же что, посаженых или крестных свататься засылать? Так ведь все едино, первым вопросом будет: из какого роду жених? А жених – выблядок. На сем разговор и завершится.

Он потянул к себе бурдюк, выпил и продолжил:

– Я с судьбой такой уж смирился давно. Изменить ничего не в силах, вот и несу свой крест молча. Но как-то не думал, что сам таких же горемык плодить стану.

– Не будут они горемыками! – твердо пообещал Басарга. – Уж я постараюсь. Ныне их учат так, как детей царских никогда не учили! Языкам иноземным учат. Счету учат, письму учат, делу морскому учат, бою на мечах, огненному бою, искусству драки в подвалах и на воде. Всему, что только человек знать может, что в жизни возвыситься помогает. Как повзрослеют, они в мир выйдут, ако львы в чащу лесную. Ни умом, ни хитростью, ни силой никто с ними не сравнится! Таких про родителей никто не спросит. К таким сами станут в родичи напрашиваться.

– В нашем мире, друже, ни ловкость, ни разум, ни храбрость не значат ничего, – покачал головой Софоний. – В нашем мире слава твоя дается при рождении. И чем выше род, тем больше славы. Будь ты даже туп, как дерево, и труслив, как заяц.

– Раньше не значили, – ласково пригладил свою бородку подьячий Леонтьев. – Ныне же, старанием Иоанна Васильевича, лучше быть храбрецом худородным, нежели чистокровным Рюриковичем. И мыслится мне, обратно государь наш всего этого уже не повернет.

– Долгих лет государю Иоанну Васильевичу! – вскинул к небу бурдюк боярин Зорин и сделал несколько больших глотков.

– Долгих лет, – согласился Басарга, отбирая вино.

– Розмыслов толковых хорошо бы еще найти, – неожиданно сказал Софоний. – Ныне, смотрю, умение сие тоже весьма важное. Где храм поставить, где мельницу с мастерской, а где и осадную башню собрать али бой огненный наладить.

– Надо, – согласился подьячий. – Токмо нет на примете никого.

– Я найду, – пообещал боярин Зорин. – И еще над сей затеей поразмыслю. Ну что, за львят? Острых им клыков, железной воли и крепкого здоровья!

– За львят!

Струг с шелестом резал воду, слегка наклонясь, и стремительно уходил в длинный северный день…

Великое дело – попутный ветер с попутным течением. Утром нового дня струг под всеми парусами промчался мимо Холмогор, к полудню – мимо Михайло-Архангельского монастыря. Здесь быстро разрастался новый город. Морская торговля расширялась, корабли становились все крупнее, и уходить в реку почти на сто верст против течения им было не с руки. Без ветра попутного на узкой реке сего не сделать, да еще и на мель легко налететь ненароком. Поэтому причалы ставились теперь здесь, возле

самого устья. Рядом с причалами поднимались амбары, навесы, мастерские, дома для работников, хоромы купцов. Какой из этих богатых дворов принадлежал ему – Басарга не знал, но причаливать времени не было, как любопытство ни мучало. Царский приказ – превыше всего.

В море они вышли без опаски. Волнения большого не было, а дни в начале лета на Студеном море такие, что ночей порой и вовсе не замечаешь. Солнца, может, и нет – но видно все окрест, словно оно еще только-только садиться собралось. Ветер, правда, дул боковой – но Тришка-Платошка половину дня проспал, отдохнул, так что с неудобным морем должен был справиться.

К рассвету уставший холоп уверенно подвалил к одному из пустующих причалов и принялся увязывать парус. Дежуривший в порту послушник, поймав конец, намотал его на причальный бык и сразу предупредил:

– Сие для шняк монастырских место! Ныне на промысле они, однако же в любой час вернуться могут.

– Не бойся, мы ненадолго, – пообещал Басарга, сходя на берег.

В этот раз он нашел игумена-сквернослова быстро. Наудачу, тот стоял у приставной лестницы, все еще не замененной нормальным крыльцом, и горячо объяснял нескольким плотникам:

– Да не надобно мне гульбища! На что мне гульбище, коли тут десять месяцев холод с ветрами пополам! Кому тут гулять?! Сосулька тот же час из любого инока выйдет! Делайте, как сказано. На столбах, со стенами да потолком. Дабы, поднявшись, прихожанин сразу в дверь нырнул, в тепло!

– Так ведь не по обычаю, отец-настоятель, не по-христиански, – возразил чернобородый мужик в длинной рубахе, тут и там заляпанной смолой. – Округ собора завсегда гульбище делать положено…

– Ты меня еще вере Христовой поучи, Волкоед! – погрозил ему пальцем Филипп. – За то, что ты мне на исповеди наговорил, тебе не епитимия, тебе ежи в штанах полагаются!

Плотники дружно расхохотались, ехидно поглядывая на старшего – а это был явно чернобородый плотник. И по кличке, и по тому, что за артель с заказчиком спорит, все на него указывало.

– Без гульбища качаться станет, – ухмыльнулся и сам плотник. – Оно завсегда лестницу распирает.

– А ты крестовины ставь, не ленись…

Басарге надоело слушать этот спор, и он положил руку Филиппу на плечо.

– То уже не твоя забота, сквернослов. Собирайся. К царю пора, за шкоды свои ответ держать… – Подьячий протянул настоятелю грамоту. Тот, сразу посерьезнев, принял, прочитал, глянул на печать, потом на подьячего:

– Стало быть, добился своего, боярин?

– Тебя вязать али сам пойдешь?

– Дозволь с обителью проститься, боярин… – Игумен мгновенно осунулся, и голос его стал серым, как рубахи окружающих плотников.

– Прощайся, – великодушно смилостивился Басарга над побежденным врагом. – Полдня тебе хватит? Мой струг у рыбного причала. Туда приходи.

– Приду… – кивнул бывший игумен и побрел к ручью, текущему из Святого озера на гулкое мельничное колесо.

Плотники переглянулись. Лица их были столь красноречивы, что опричник положил руку на рукоять сабли, уверенно посмотрев старшему в глаза. Тот шумно втянул носом воздух, выдохнул:

– Пошли за бревнами, мужики. Будем ставить, как настоятель сказывал. А то как бы не осерчал.

Поведение монастырских работников побудило опричника отступить на струг и не будить лиха. Припасов у них имелось с избытком, без вина тоже не страдали. Так что от обители ему вроде как ничего и не требовалось.

Филипп появился часа через два в сопровождении такой толпы, что у Басарги по спине пробежал холодок. Все это походило на крестный ход – с крестами и хоругвями, прихожанами и прихожанками, священниками, послушниками, иноками. От обычного молебен этот отличался лишь тем, что многие бабы рыдали в три ручья, а иные – и в голос. Мужики не рыдали, но были грустны… Очень грустны. И хотя оружия при них не имелось – такая толпа вполне способна порвать и голыми руками, никакой саблей не отмашешься.

Перед самым причалом бывший настоятель остановился и повернулся к соловецкому люду. Те, как по команде, опустились на колени, истово крестясь и кланяясь:

– Да пребудет с вами милость Господа нашего, Иисуса Христа, – сказал Филипп, осеняя их крестом. – Исполняйте поручения мои в точности, работы завершайте согласно планам, мною составленным… Всем вроде обо всем поведал, каждый дело свое знает… Да… – Он еще раз перекрестил плакальщиков и громко произнес прощальные слова: – На покровительство небес и милость царскую уповаю! Бесчинства государь наш Иоанн Васильевич не попустит!

Плачущая и молящаяся толпа взвыла в горести пуще прежнего, а бывшему их настоятелю осталось только спуститься на причал, пройти по нему до конца и перевалиться через борт струга.

– Отваливай! – торопливо приказал Басарга, пока никому из провожающих не пришло в голову остановить столь почитаемого священника.

Тришка сдернул с быков петли, толкнулся веслом, несколько раз с силой гребнул. Очень вовремя, поскольку толпа сорвалась-таки с места, ринулась по доскам.

– Батюшка наш! Отец родной! На кого же ты нас покидаешь… – покатился над волнами жалобный плач.

– Не соскользнул бы кто, – с беспокойством проронил Филипп и снова подарил осиротевшим детям своим еще одно крестное знамение…

* * *

В этот раз никакого выбора у подьячего уже не было. Пробиваться по Двине против течения – это путь на многие недели. Поэтому пошел он через Выгу волоком в Онегу, дальше через обширное озеро под парусом, вверх по Вытегре к волоку на Белое озеро и из него уже на хоженую-перехоженую Шексну. Две недели – и струг приткнулся носом в песчаный пляж у Калязина, в ожидании того, чтобы его выволокли на сушу и поставили на козлы – на воде и без того места мало. Обсыхать на берегу куда дешевле, нежели причал занимать. Причал летом работать должен, а не лодки попусту держать.

Дальше взятого инока пересадили в возок – и знакомым путем покатили в Александровскую слободу.

Государя Басарга опять застал за ужином. И опять не стал ждать, войдя с пленником прямо в трапезную. Молча поклонился…

– А-а, так вот ты каков, розмысел соловецкий? – обрадовался Иоанн. – Мастеровой в рясе… К столу присаживайся, отец Филипп. Откушай, чего Бог послал.

– Благодарствую, государь, я сыт, – степенно кивнул священник.

– Да и я наелся, – поднялся государь, промокнул рот тряпицей и вышел из-за стола. – Коли сыт, пойдем. Наслышан про тебя немало. Знать хочу, правду сказывали али нет?

Басарга и Софоний от угощения отказываться не стали, наскоро подкрепившись, после чего боярин Зорин ушел искать

постой, а боярин Леонтьев, стараясь не привлекать внимания, направился совсем в другую сторону…

Вечером следующего дня Мирослава вернулась в светелку сильно удивленная:

– Кого ты там государю привез? Он ныне даже к заутрене не вышел! Спорят о чем-то. Рынды даже крик слышали, но вроде бы обошлось. Кинулись спасать, а государь токмо вина и угощения к себе истребовал.

– Он же не пьет!

– Что же он, не человек, что ли? – взяв его лицо в ладони, чмокнула любимого в губы княжна. – Все пьют. Токмо он сие мало и редко себе позволяет. Вестимо, для вкуса, а не для хмеля.

– О чем столько говорить? – удивился подьячий. – Отписку мою в нос сунуть – и на виселицу за воровство!

– Священника даже царь казнить не может… – Княжна поцеловала его в нос, потом в глаза. – Токмо суд церковный. А он токмо Богу подвластен, и никому более. Ни мне, ни тебе, ни царю, ни даже митрополиту… – Она целовала уже его брови, лоб, макушку, потом неожиданно резко спустилась к шее, и боярин выкинул лишние мысли из головы…

Между тем долгая беседа соловецкого настоятеля и Иоанна Васильевича завершилась богослужением, которое проводил уже не сам царственный игумен, а доставленный с севера священник, – после чего государь объявил, что отправляется в Москву, и повелел готовиться к отъезду. Сам Басарга этого не видел – его предупредила Мирослава. Царь уезжал – царица оставалась. Значит, двоих влюбленных снова ожидала разлука.

В новом развлечении государя имелся очень большой плюс: изображая аскета-монаха, Иоанн ездил без пышной царской свиты, без карет и обозов. Поднялся в седло – и поскакал в окружении лихих молодых монахов, с посвистом размахивающих плетьми. Черные рясы, черные кони, сабли и ножи на поясах, луки и щиты на крупах коней – было отчего шарахаться мирным купцам и прохожим, в ужасе крестясь и поминая конец света и диаволово нашествие. Зато быстро: два дня гонки – и государь с опричной свитой уже в Москве.

Расположившись в кремлевских хоромах, он повелел скорейше собрать Церковный собор.

Эту неделю Басарга провел дома, с нетерпением ожидая наказания своего богомерзкого врага. Зачем нужен собор, он догадывался со слов Мирославы: прав судить священника у царя нет. Осудить и покарать воришку может только суд, никому, кроме собора, неподотчетный. Впрочем, жалкий жулик в церковном звании главного места в его мыслях отнюдь не

занимал. Выдавшееся свободное время он посвятил тому, что купил на торге тюк толстой, добротной и недорогой черной тургайской кошмы, после чего обил ею пол в опочивальне.

Звучит легко и просто – но на деле нанятым мастеровым пришлось выносить всю мебель, перебирать и стругать пол, который уйдет под обивку, только после этого класть плотный войлок и заносить сундуки, шкафы и кровать обратно. Неделя ушла полностью, от утра первого дня и до вечера седьмого. Зато на душе появилось легкое щекочущее предвкушение того, как на это отреагирует одна неназываемая гостья, когда рано или поздно войдет в эту комнату…

Съехавшиеся в Москву по призыву государя церковные иерархи собрались на Собор в Чудовом монастыре[28], совсем рядом с царским дворцом. Но, несмотря на это, две сотни саженей от своего крыльца до ворот монастыря государь Иоанн Васильевич проехал в тяжелой, богато украшенной карете, запряженной цугом шестеркой лошадей. И одет он был в этот раз не в монашеское облачение, а по-царски: сияющая золотым шитьем соболья шуба, под ней – столь же драгоценная ферязь, на голове – украшенная россыпью самоцветов шапка с песцовой оторочкой.

Басарга, пользуясь благосклонностью Иоанна, в этот раз нагло втерся в свиту, держась совсем рядом с царем. Ему хотелось увидеть позор своего врага собственными глазами. Ферязь с царского плеча и шелковая сорочка со штанами из дорогого сукна в этот раз пришлись к месту. В свите подьячий выглядел ничуть не хуже прочих царедворцев, при всей их знатности и богатстве. Несчастный же Филипп был одет просто: ношеная ряса, скуфья на понуро опущенной голове, сложенные на животе ладони крепко сжимали красный медный крест.

Палата, в которой собрались архиереи, размера была небольшого – полтораста человек вместится, не больше. В центре стоял овальный стол, за которым восседали самые старшие из архиепископов, вторым кругом размещались просто епископы, третьим – архимандриты и иеромонахи. О чем они совещались между собой – неведомо, ибо при появлении помазанника Божьего все они сразу замолчали, почтительно встав и склонив головы.

Государь Иоанн грозно осмотрел собравшихся, затем положил руку на плечо Филиппа и толкнул в сторону архиепископов и епископов простого игумена из окраинного северного монастыря:

– Вот вам митрополит!

Братчина

Трехведерная медная братчина стояла на краю стола, накрытая с верхом белой пеной, пахнущей горьким хмелем и сладким липовым медом. Вокруг было наставлено изрядно мисок с соленьями и маринадами, подносов с мясом и рыбой, сластями и пирогами. Однако ничто вокруг не привлекало к себе такого внимания.

– Я ведь уже забыл, побратимы, как выглядит она, – повел плечами Илья Булданин. – Когда мы в последний раз братчину пили?

Ныне он был в сапогах, шароварах и косоворотке, поверх которой опоясался саблей.

– Давно, – ответил ему Софоний Зорин. Он тоже был в шароварах и рубахе, но только атласной.

– Уж не помню, когда мы так, вчетвером, собирались? – почесал в затылке Тимофей Заболоцкий. На нем, единственном, был надет кафтан, и пояс прятался под расстегнутыми полами. – Басарга, не скажешь, с какой такой стати государь нас всех вдруг к себе вызвал?

– Иоанн не сказывал, а спрашивать я не стал, – пожал плечами подьячий. – Повелел вас созвать и отослал.

– Лишь мы четверо знаем о его тайне, – перекрестился Софоний. – О существовании его старшего брата. Вот он нас вместе и собрал, чтобы разом прихлопнуть.

– Вечно ты страсти какие-то придумываешь, друже, – поежился боярин Заболоцкий. – Положим, не мы одни сие знаем. Да и секреты хранить умеем.

– Кто еще знал, нам неведомо, – пожал плечами боярин Зорин. – Может статься, они уже на небесах. Али договорился с ними Иоанн… А нам проще головы с плеч снести. Я бы обязательно снес.

– Хорошо, что ты не государь, друже, – ухмыльнулся малорослый боярин Булданин. – Иначе пришлось бы нам в Литву али в Крым драпать.

– Дык еще не поздно, други…

– Ты думай, чего сказываешь, Софоний. – Басарга вспомнил, что он все-таки царский подьячий. И такие беседы при нем вести негоже.

– Шучу, – мрачно оправдался боярин Зорин.

– Что хорошо, так это то, что приказ царский нас наконец-то вместе опять собрал, – расстегнул и отбросил пояс Илья Булданин. – И чужих, на диво, никого с нами нет. А казнить нас

царь надумал али возвышать – дело десятое. Главное, что всех четверых.

– Ну, так чего же мы ждем? – Тимофей Заболоцкий скинул кафтан, подошел к столу. – Пусть всегда средь нас, побратимы, и хлеб будет общий, и радость общая, и слава общая, и беда одна на всех. Как эту чашу мы на всех поровну делим, так бы и судьба делилась!

Он взялся за рукояти братчины, напрягся. Сквозь влажную ткань тонкой льняной рубахи стало видно, как напряглись мышцы. Двухпудовая чаша оторвалась от стола, поднялась на высоту его роста – могучий боярин коснулся губами и стал жадно пить. Через несколько мгновений он опустил братчину обратно и отступил, отирая усы и бороду от пены рукавом.

– Ох ты! Да, крепок брат! – как всегда, не сдержали восхищения его друзья.

– Чтобы у нас всегда и хлеб, и беды, и радости, и судьба общими были… – подошел к чаше Басарга, взялся за рукояти, напрягся… Но братчина не поддалась, пришлось наклоняться к ней самому, благо хмельной мед покачивался у самого края.

– Как эту чашу на всех делим, так чтобы и судьба делилась! – подскочил к столу Илья, но, хотя за рукояти и взялся – поднимать, похоже, даже и не пробовал.

– Как чаша общая, так бы и остальное все делилось… – последним, утерев тонкие усики, к братчине подступил Софоний, но и ему в руки она не далась, пришлось пить так.

Только после шестого круга промеж побратимов братчина полегчала настолько, что Басарга начал отрывать ее от стола. Но теперь на это никто уже не обращал особого внимания. Друзья сидели за общим столом, угощаясь выставленными хозяином яствами, смеялись, вспоминали минувшие стычки и победы. И хотя соединившая их Арская башня была когда-то местом кровавого побоища, ныне о ней бояре вспоминали вовсе не с содроганием, а даже с какой-то теплотой.

– Как же так получилось, что ныне мы все по одному да каждый за себя? – удивился Тимофей. – Вроде братчину пили, в союзе над нею клялись. По обету обязаны каждую осень собираться и неделю пить без просыху! А мы уж забыли, сколько она весит и как выглядит.

– У кого служба, у кого семья, – пожал плечами Софоний.

– Ну, так мы же вместе! – сжал кулаки боярин Булданин. – Так нужно вспомнить об обете и более уж не нарушать. Снова вместе стать! Навеки!

– Как бы нас завтра государь воистину навеки вместе не свел, – мрачно ответил ему Софоний. – Подожди клясться. Утро

вечера мудренее…

Государь пребывал в Москве и принял четверых бояр в думной палате кремлевского дворца, в которой до того обсуждал что-то с земскими князьями и православными иерархами. Рынды впустили побратимов еще до того, как знать разошлась, и им пришлось, поминутно низко кланяясь, протискиваться вперед между князьями, думными боярами и архиепископами. Однако слова, что услышали они от Иоанна, разом возместили все неудобства.

– Ныне оставьте меня все! – сказал царь, увидев четверку. – Желаю наедине с сими слугами верными побеседовать!

И всей знати, что за миг до этого надменно поглядывала на худородных бояр, пришлось, низко кланяясь, пятиться к дальним дверям длинной узкой палаты.

Когда толстые двери палат затворились, Иоанн поднялся с трона, приблизился к замершим с высоко вскинутыми подбородками боярам. Усмехнулся:

– Чего бороды-то выставили? Опустите от соблазна… Догадываетесь, зачем позвали?

– Нет, государь, – ответил за всех Басарга.

– И спросить ничего не хотите?

– Желаю! – встрепенулся Басарга. – Поведай мне, государь, отчего ты игумена вороватого над всеми архиереями, над всей верой православной старшим поставил?

– Не такого вопроса я ждал от вас, подьячий, – поморщился Иоанн. – Но так уж и быть, отвечу. Средь слуг своих, увы, ни единого не знаю, кто бы в казну лапу запустить не желал, о мошне своей не позаботился. Коли всем головы рубить, так ведь без слуг останешься…

После этих слов Басарга сразу прикусил язык, вспоминая о стоящем возле Михайло-Архангельского монастыря домике.

– Филипп же сей, хоть от казны доход и утаивал, однако не о личном прибытке заботился, а о благе обители древней. Он ныне здесь, а все утаенное там осталось и на благо монастыря работает. Опять же, безумным он лишь в прожектерстве своем казался, а как мастерские, заводы и дома расти начали, сие уже не фантазией безумной, сие хваткой хозяйской речется. В вере, может статься, он и не так крепок, как мученики святые, однако же верой крепкой меня московские епископы уже до тошноты умучили! Отчего монастырь не ими освящен, отчего я служу в нем без рукоположения, как вообще посмел своей волей обитель учудить, отчего живут в ней все послушники с семьями, отчего им не исповедаются и не каются? Тьфу! – мотнул головой Иоанн. – Нешто я не властен в доме моем и державе своей?! Доносят бояре

многие: не иначе как бесовской пародией иерархи промеж себя обитель мою называют! Филипп же, хоть и укорил, но в безумие по сему поводу не ударился.

Царь вернулся к трону, но не сел, остановился рядом:

– Правда, и мне поступиться немало пришлось. Опасался игумен, что одною моею волей на пост свой встав, он зело зависим от меня станет. И Церковь православная уж не Богу, а мне в служение попадет. Посему пришлось с ним, ровно с купцом на торгу, урядиться, что в дела церковные я отныне ни ногой! Никак и ничем вмешиваться не стану! Прямо на бумаге соглашение сие мы с ним составили и подписями собственноручными скрепили. Он в дела мирские, государевы никак не лезет; не поучает меня, как мне во дворе собственном жить, я же в дела митрополии Русской[29] не суюсь… Доволен ли ты ответом моим, подьячий Басарга Леонтьев? Достоин ли я оказался чаяний твоих?

– Прости, государь, – склонил голову боярин, почуяв, что показное смирение в любой миг может вылиться в гнев.

– Пустое, – снисходительно простил слугу Иоанн. – Ну, коли вы спросить не догадываетесь, то сам отвечу. Добрался до Москвы брат мой старший, вернулся. Событие сие столь важное, что равного, верно, и не сыскать. Не без ваших стараний вернулся, а посему за службу верную и успешную каждого из вас землями ныне награждаю! Двоих из вас поместьями по разные берега реки Нондрус, а двоих – по берегам реки Большая Шеньга. Жалованные грамоты еще неделю назад в Поместный приказ[30] отправлены, там их можете и получить.

– Благодарим за милость, государь! – Бояре дружно поклонились царю в пояс.

– Ничего спросить не желаете? – опять поинтересовался Иоанн.

В этот раз промолчал даже Басарга.

– Вы, бояре, по совести спросить должны были, отчего я все еще на царском престоле сижу, а не брат мой сводный? – вроде даже укорил своих слуг Иоанн. – Но я отвечу, дабы слухи возможные еще в зародыше пресечь. Сказывал я, что знака свыше ждать буду, дабы волю небесную принять, побратимы, как свою? И сей знак есть! Мой брат мусульманин, веры басурманской придерживается. А в державе православной магометянину быть на троне невозможно! Посему ныне и впредь править стану я, а брат мой лишь гостем дорогим жить в державе остается…

Никто и никогда не открывает летописцам, иноземцам и простолюдинам важных тайн, судьбоносных решений, фундаментальных перемен. Поэтому никто и никогда не узнал,

почему вдруг худородный костромской боярин, до того деливший малый надел с братом на двоих, внезапно взлетел чуть не в небеса, получив одну из высших должностей государства, пост постельничьего. В одночасье никому не ведомый Дмитрий Годунов оказался правителем двора, в обязанности которого было не только заведовать обширным хозяйством царя, распоряжаясь огромной казной, но и спать с государем в одной опочивальне, охраняя по ночам, держать при себе государеву печать, следить за одеждой и постелью.

Точно так же внезапно безвестный татарский царевич Саин-булат, приехавший в Москву со своею тетушкой, получил себе в удел целое княжество – Касимовское ханство, из полного небытия разом встав вровень с древнейшими русскими княжескими родами.

И тому, и другому событию в исторической науке нашлось лишь одно лаконичное объяснение: «В силу случайных обстоятельств…»

* * *

Домофон запел протяжной соловьиной трелью, заставив Евгения Леонтьева оторваться от форума. Который, впрочем, в отсутствие «Старовера» с «Техником» сильно увял.

– Да!

– Встречай голодающую, кормилец! – весело попросила трубка.

Женя нажал кнопку открывания дверей, включил свет в коридоре, подождал, пока с лестницы донесется шелест прибывшего лифта, открыл дверь.

Катя вышла из разошедшихся створок, извиваясь и пританцовывая, время от время начиная кружиться, после чего вышагивая дальше, в такт неведомой музыке, звучавшей у нее в наушниках. Так и миновала своего «кормильца» – изобразив перед ним плечами «цыганочку». Похоже, она находилась в состоянии полного восторга.

Леонтьев выдернул у нее из левого уха наушник и поинтересовался:

– Что-нибудь не так?

– Бухгалтер, ты скучный импотент! – заявила в ответ девушка. – У тебя даже на шее не повиснешь от радости! Хоть бы для приличия сделал вид, что я тебе немножечко нравлюсь.

– Немножечко? – уточнил Женя и согласно кивнул: – Немножечко нравишься. Верхняя губа с левой стороны вроде как

ничего.

– Ну и дурак, – беззлобно проронила Катя, наклонив голову набок. – А я, между прочим, все знаю.

– Что?

– Все! Что, откуда и почему. Знаю, где искать убрус и где взять списки твоей школы. Знаю, откуда растут ноги у твоей школы и когда, куда и откуда она бегала. Я знаю все-е-е-е!!! – И Катя, вскинув руки, закружилась на цыпочках.

– Ну так рассказывай.

– Так просто рассказывай? И все? – остановившись, вскинула она брови.

– А ты хочешь, чтобы я перед тобой на колени вставал?

– Ну, не знаю-ю… – вытянула губы в трубочку девушка. – Слушай, а почему ты считаешь, бухгалтер, что «крыша и еда» означают только кровать и макароны с тушенкой? Хочу в ресторан!

– А у тебя от хотелок ничего не треснет?

– Подожди! – вскинула она палец. – Слушай и запоминай. Твой Басарга и вправду оказался ключом ко всем замкам. В учетной книге Поместного приказа отмечено, что поместье его на Ваге находилось возле монастыря нашего. А во всех двинских и карельских землях после выбитого им помилования он, понятно, уважением пользовался. И почти все вешки, что ты сам заметил и мы вместе вычислили, с ним связаны. И иезуиты те монастыри выбивали, которые как-то с ним связаны, и интернат твой к кольским землям всегда льнул и сейчас там же лежит. Помнишь, ты удивлялся странному письму мичмана, что в несуществующем монастыре лечился? Там Басаргино поместье бывшее. Видимо, после иезуитской атаки школе пришлось там под гражданский объект маскироваться.

– И что мне это дает?

– А то… – опять затанцевала Катерина. – После того как запретили иезуитов, школа вышла из подполья. Я нашла монастырь, разгромленный иезуитами и восстановленный после их изгнания. А это уже девятнадцатый век, а не шестнадцатый или семнадцатый. Дикая куча открытых документов, газетных подшивок и мемуаров. Единственный монастырь из всех. Причем восстановил его человек, о котором слагали легенды, за которым следили репортеры, и вся его жизнь вообще под лупой проходила… Имея такой хвост, даже крот слепой все до последней крошки найдет.

– Что за монастырь?

– И что за человек? – Девушка закинула-таки руки ему за шею и кокетливо склонила набок голову: – Так в какой ресторан мы

сегодня идем?

Заговорщики

– Он ведь даже не епископ! Даже не епископ! Иерархи все многие годами себя церкви посвящали, всю судьбу, все силы и здоровье положили на служение Господу! С самых низов пробивались. Из иноков в келари, из келарей в игумены, из игуменов в архидьяконы, из архидьяконов в архимандриты… Иным жизни не хватает все ступени служения пройти, до архиепископов подняться! Здесь же, по прихоти царской, из игуменов безвестных он сразу в митрополиты запрыгнул! Где это видано? Как он себя в служении Господнем показал? Где? Чем выделился, чем веру утверждал?..

Новгородский епископ причитал не то что долго – бесконечно. И в этот раз явно отдал сильное предпочтение вину перед молитвами. К угощению же и вовсе прикладывался один только Басарга. Белорыбица, щука с шафраном, заливное из судачьих щечек. Постное все, понятно, – однако вкусное.

Обиду архиепископа Пимена подьячий отлично понимал. По старшинству, по всем правилам местничества и канонам церкви митрополитом должен был стать он. Старше стоял только архиепископ Герман – но того Иоанн не утвердил. Впрочем, что Пимен? Сейчас, вестимо, все архиереи в печали или возмущении напивались по своим трапезным, проклиная всеми известными словами безвестного выскочку, по царской прихоти внезапно оказавшегося над ними.

Служить всю жизнь церкви, честно зарабатывая день за днем почет и уважение, медленно поднимаясь по трудным ступеням мест, и вдруг в одночасье – ничтожный священник с морского острова становится над тобой старшим. Тут любой аскет или отшельник и тот бы запил!

Схрустев несколько жареных пескарей, подьячий запил их вином и продолжил выслушивать стенания обманутого в ожиданиях старика. Ничего не поделаешь – епископ Пимен и с вооружением Важской обители ему подсобил, и за Мирославу перед царем заступился. Нужно уметь быть благодарным.

Андрей Басманов сидел напротив, расстегнув опушенный бобровым мехом кафтан с шелковыми шнурками застежек вместо пуговиц. Снизу была атласная рубаха, тоже расстегнутая. С шеи свисал крупный золотой крестик. Опричник тоже пребывал в глубокой задумчивости, которую пытался прояснить кубками вина, что бывалый воин глотал один за другим. Но вместо ясности глаза его только сильнее соловели.

– Не люб мне Филипп, – сказал Басарга, поняв, что никакого

разговора не будет и что позвал его к себе новгородский епископ лишь в порыве отчаяния, не имея никаких планов. Выпить подьячий был не против, но нужно и меру знать. Собеседники захмелели, а падать головой на стол в гостях боярину Леонтьеву не хотелось. – Не люб. Посему, коли чем помочь супротив него надобно будет, сказывайте. Подсоблю.

– А ведь тебя государь слушает! – внезапно вскинул голову Басманов. – Эк ты Германа сковырнул… Сковырни и Филиппа, а?

– Я уж попытался. Но удобен больно новый митрополит Иоанну. Не зря он его из такой дали притащил.

– Но ведь ты мо-ожешь… – с пьяной жалостливостью попросил опричник. – А поехали завтра в слободу? Ты там к Иоанну явишься – и скинешь!

– Дочь моя духовная у царицы в наперсницах! – внезапно поднял голову новгородский епископ. – Ее тоже испросить надобно! Постой, постой, – засуетился Пимен. – Я ей грамоту отпишу…

– Не нужно, – поднимаясь, ответил подьячий. – На словах передам.

– Едем! – решительно поднялся Андрей Басманов и тут же завалился мимо скамьи. Хорошо хоть, она рядом со стеной стояла – не упал, просто сел обратно, немного наискось: – Завтра же едем!

– Поезжайте, – согласился Басарга. – В Александровской слободе и встретимся. Мне же завтра нельзя, в Поместный приказ наведаться нужно обязательно. Но я верховой, я вас догоню.

Неделя у подьячего выдалась тяжелая. Сперва братчина с друзьями. Потом веселье с друзьями по поводу царской милости. Сегодня вот – печаль епископская по поводу хиротонисации игумена Филиппа в митрополиты московские. А завтра – Басарга с побратимами собрался жалованные грамоты на уделы новые получать. И по такому случаю, само собой, без гулянки крепкой не обойтись.

Боярин Леонтьев размашисто перекрестился, мысленно моля Господа о здравии.

– Истинно так, – согласно пробормотал Пимен и тоже перекрестил свою длинную седую бороду.

Басарга счел это ответом Всевышнего и немного расслабился.

* * *

В следующий раз все они встретились уже в епископских палатах Троице-Сергиевого монастыря[31], в трех часах пути от

Александровской слободы. Басарга пришел сюда поздно вечером, один, оставив друзей и холопа на постоялом дворе, и ощущал себя самым настоящим заговорщиком. Впервые в жизни своей поступал он не в согласии с волей государя, а вопреки ей – хотя и на благо русского царства.

Андрей Басманов был уже здесь, с надеждой спросив:

– Ну как?!

– Сказывал я, что Филипп опричников душегубами обзывает, – отчитался подьячий. – Но Иоанн токмо отмахнулся с усмешкой. Молвил, что «пустое это все». Полагает, митрополит так злобу епископскую тешит.

– А еще что? – Архиепископ Пимен, в полном облачении, с белым клобуком на голове мерно расхаживал от стены к стене возле скромно накрытого на этот раз стола. Токмо малина, мед и яблоки. Правда, кувшин с вином все же был, и Басарга налил себе полный кубок. Ему просто хотелось пить.

– Не слушает. Его наконец-то донимать перестали с его обителью самовольной, вот и радуется. Токмо-токмо дух перевел после прежних попреков. Нет, святой отец, ныне его супротив Филиппа не подвигнуть. Да и простыми попреками не обойтись. Надобно вину найти куда более тяжкую.

– Мздоимство! – вскинул голову Андрей Басманов.

– О воровстве игумена соловецкого я государю не один год сказывал, – повернулся к нему Басарга. – И видишь, чем сие завершилось?

– Что же тогда?

– Государя супротив Филиппа не настроить, – уверенно произнес подьячий. – Ему ныне в митрополите все нравится. А вот если самого Филиппа… Коли митрополит начнет Иоанна упреками изводить по примеру архиереев прочих, терпение царя кончится быстро. А еще лучше, коли не просто попрекнет мелочами всякими, а серьезно вмешается. Такого царь не простит.

– Кто настраивать будет? – остановился Пимен. – На Филиппа-выскочку все епископы с презрением смотрят. И он, знамо, тоже никому не верит.

– Тут я не советчик, – развел руками Басарга. – И не помощник. Иоанн повелел мне опять на Студеное море возвертаться. С податями там о прошлую зиму беда приключилась. Ныне надобно менять все, сборщиков царских назначать, распределять, какая волость куда и сколько платить должна, недоимки пересчитывать, новые книги учетные заверять. Надолго сие. Коли при дворе появляться стану, то на денек-другой. Однако же супротив Филиппа завсегда на меня

положиться сможете…

Он поклонился и ушел.

* * *

И снова зажурчала вода под носом струга, унося опричника и его побратимов в далекие двинские земли. Два дня по Волге, полдня по Шексне. Волок, Сухона, три дня вниз по течению – и вот она, Двина!

– Просторы-то какие! – мечтательно произнес Илья Булданин, сидя на носу со свешенными вниз, к воде, босыми ногами. – Сколько земли! Сколько леса! Сплошное богатство!

– Богатства много, людей мало, – ответил ему Басарга, сидящий на борту. – А пахоты еще меньше. Так что вы на хлеб и репу с капустой не очень-то рассчитывайте. Больше на садки и тони упор делайте.

– Так людей и подвезти сюда можно, – ответил Тимофей Заболоцкий. – У меня вон, в старом наделе, чуть не на головах друг у друга сидят!

– Сюда сколько ни привези, все едино мало, – рассмеялся подьячий. – Ты по сторонам-то посмотри!

– Да уж, по деревне в час, – согласился Софоний. – Дома-то, смотрю, у всех крепкие, не халупы.

– Давеча датчанина возил, он чуть умом от вольготности нашей не тронулся, – припомнил Басарга. – Что до смердов переселенных, так все едино рыбу есть вкуснее, поташ и смола доходу поболее хлеба приносят, а земля – песок.

– А ты откель столько про наши уделы знаешь? – заинтересовался Тимофей.

– А вы еще не догадались? – Софоний, растянувшись на крыше каюты, закинул руки за голову. – Государь сотворил ровно то, о чем я вам сказывал. Токмо не снес головы наши, а на край земли откатил. И жалованные грамоты его нам заместо топора. От наделов сих до города ближайшего ден пять пути. А от городов стольных – так и вовсе с полмесяца, да на перекладных, да по крепкому зимнику. Летом же, полагаю, и вовсе не выбраться. Что скажешь, Басарга? Верно мыслю?

– Струги, вам, друзья, покупать надобно, – посоветовал подьячий. – Без них и вправду в иной сезон, кроме зимы, не выбраться. Зато на лодке куда быстрее, нежели верхом, путешествовать можно.

– Нет, постой, – перебил его Тимофей. – Ты так и не сказал, откель про землю, про пашню на уделах наших знаешь?

– Так ведь государь не просто так уделы нам всем нарезал, – ответил Басарга. – Они все напротив моего нынешнего, на другом берегу Двины. Нешто я земли своей не знаю? Песок там, други. Сильно не запашешься, соха провалится. Да и вода вся в дожди вниз сразу уходит, словно в решето.

– Постойте, – встрепенувшись, перебрался с носа ближе к корме Илья Булданин. – Так выходит, у нас у всех теперь уделы бок о бок будут?

– Да, – кивнул подьячий.

– И мы хоть на службе, хоть по домам все едино вместе останемся?

– Да.

– Так ведь это здорово, побратимы! – вскинул он руки. – И где наша братчина?

– В Москве… – отозвался сверху Софоний.

– Нет, други! Братчина – это мы!

Еще больше бояре повеселели, когда наконец-то увидели свои поместья вживую. Десятки верст земли, широкие полноводные реки, густые нехоженые леса, где толстенные многовековые деревья стоят вплотную друг к другу, сплетаясь корнями и кронами. Деревень каждому досталось всего по три-четыре, по пятку дворов в каждой, – но помещики уже вовсю строили планы переселить часть семей из прежних мест, сманить у соседей, выкупить из числа пленных литовцев или ляхов, благо смердов во время каждого набега уводили от врага сотнями.

Басарга усмехался, но помалкивал: он все это проходил несколько лет назад. Богатые здешние земли, щедрые. Да токмо вот обитателей срединных земель отчего-то пугают. Не уходят сюда крестьяне, как ни мани. Родная пашенка им хоть и мала, да привычна. Да и полонянина купить не так-то просто. Их много, пока ненадобны. А как нужда появилась, глядишь – а по всему порубежью уже давно мир установился. Однако одно его побратимы решили верно: строиться надобно; печи класть, пока тепло. Дабы потом было куда семьи привозить.

Строителей найти можно было только в Ваге – туда боярин Леонтьев побратимов и отвез, там и оставил. У артельщиков здешних у всех свои лодки имеются – и приедут, и заказчика отвезут. Ему же надобно в Холмогоры ехать, подати на сборщика переводить. Служба.

На только что тесном, как крынка с огурцами, струге стало вольготно и даже пусто. У Басарги появилась мысль завернуть к себе и взять в поездку несколько холопов. Посмотреть, чему научиться успели, пока он весь в хлопотах по делам царским носится, погонять в схватках с палками вместо оружия, самому

размяться…

Однако рассудок тут же взял верх: дела податные свободных часов на баловство не оставят, а платить за постой лишних ртов тоже не резон.

На Мирона-ветрогона[32] подьячий добрался до Холмогор, остановившись на уже знакомом постоялом дворе, денек отдохнул – поев горячего и попарившись в бане, а с утра пошел в съезжую избу разбираться с их росписями и отчетами.

День прошел как день, обыденно, но когда Басарга вышел из избы на вечернюю улицу, следом за ним от забора отделились несколько угрюмого вида мужиков. Боярин заметил их сразу: уж столько раз его бить и резать пытались за последние годы, осторожность в кровь и плоть впиталась. Однако вида не подал: подумаешь, четыре смерда, ничего, кроме ножей, на поясе не имеющих? Где обобрать попытаются – там всех четверых и положит. Подьячий даже отвернул с широкой улицы вправо в переулок, дабы сечей и кровью прочих горожан не пугать. Душегубам, понятно, переулок темный тоже удобнее – тут кинуться и должны.

Однако мужики, наоборот, отстали, и Басарга, попетляв с четверть часа между неогороженными дворами, распугивая кур, невольно дразня собак и ругая себя за излишнюю мнительность, выбрался обратно на широкую приречную улицу.

Смерды были здесь. Но теперь уже не четверо, а десятка полтора. Они откровенно пялились на опричника, переговариваясь:

– Этот? Да он, точно он! Как тебя видел. Вестимо, он, не первый раз приезжает…

Басарга ускорил шаг – мужики следом. С ближайших переулков подтягивались еще горожане, и толпа быстро выросла до полусотни чем-то недовольных холмогорцев. Боярин, поглядывая в стороны, высмотрел две близко стоящие поленницы, напротив них остановился, повернулся навстречу толпе и спросил:

– Чего вам надобно, люд холмогорский?

– Бей нехристя!!! – завизжал кто-то бабьим голосом, и мужики всей толпой ринулись вперед.

– Да что б вам… – Басарга выхватил саблю, рубанул воздух перед собой. Смерды отпрянули, стали охватывать полукругом. Боярин попятился, еще раз взмахнув саблей, отступил в просвет между поленницами, прикрывая спину.

– Бей его, бей! – подзуживало уже несколько голосов. Толпа качнулась вперед, отпрянула, снова попыталась дотянуться, но режущая воздух шелестящая сталь отпугивала смердов. Но тут

кто-то догадался: – На вилы его! В вилы!

По спине опричника пополз неприятный холодок.

– Бунтовать вздумали?! – рыкнул он, нарисовал клинком «мельницу», пошел вперед. Толпа отпрянула, обтекла, попыталась зайти сзади – и Басарга поспешил отступить обратно в укрытие.

Больше всего боярин сейчас мечтал о щите: большом и круглом, из легкого тополя. Увы, на поясе имелся только косарь. И если толпа догадается кидать в него поленья – забьют моментально, от них саблей не отмахнешься. К счастью, холмогорцы предпочли деревенское оружие – толпа пропустила вперед несколько тощих, как на подбор, смердов, выставивших деревянные вилы с остро заточенными кончиками.

– Сдохни, нехристь! – Мужики ринулись вперед, все разом.

И именно так, сразу все, сдвинул вилы влево от себя Басарга, обратным движением рубанул по лицам. Достать, понятно, не достал, но отпугнул, двое со страху даже вилы бросили. Боярин с готовностью подхватил ближние, вскинул выше, ударил концом рукояти в горло одного «вильщика», пригрозил саблей другому, парировал удар третьего, угостил тычком в колено – и тот, завыв, повалился. Смерды позорно бежали, дав ему небольшую передышку, но по ту сторону улицы вовсю раскачивался забор. Как понял подьячий – двинцы выдергивали из земли колья.

– Вот проклятье… – Басарга отбросил уже попользованые вилы и поднял другие, потяжелее.

– Бей нехристя!!! – Собравшись в толпу и громко вопя для храбрости, холмогорские мужики ринулись на него, пихаясь из-за тесноты локтями и мешая друг другу. Опричник резко выдохнул, выставив вперед клинок и рукоять вил, встретил первые колья крестом, саданул оголовьем сабли по чьим-то пальцам, толкнул рукоять кончиком в висок, откачнулся вправо. Колья, сразу несколько штук, ударили в землю, он попытался в ответ рубануть по животам – но пропустил невесть откуда удар в глаз, откачнулся, махнул саблей наугад, скользнул влево, отбил еще удар колом в голову, но пропустил по плечу, опять откачнулся – уже невольно. Получилось удачно: кол разметал край поленницы, а Басарга ответным взмахом вил расплющил мужику нос, ткнул в солнечное сплетение другого.

Толпа опять отпрянула, зашевелилась, выпуская новых бойцов, снова ринулась вперед – и опричник снова начал отмахиваться и уворачиваться от кольев, иногда удачно, иногда не очень, а время от времени даже проводя ответные тычки и удары. Увы, только вилами – сабля не доставала.

– А-а-а!!!

Басарга поднял голову на крик, но сделать ничего не успел.

Прыгнувший с поленницы паренек упал ему на голову, закрывая лицо и опрокидывая на спину. Опричник нахаленка отшвырнул, откатился, потеряв и саблю, и вилы, получил удары в живот и по плечу. В ответ, ступней под колено, сбил кого-то с ног, попытался вскочить сам – но два жестоких, до посыпавшихся из глаз искр, удара снова скинули его на землю, и смерды начали было пинать его ногами.

– А ну, прочь! – Сверху мелькнуло тело, всей массой врезаясь в холмогорцев, вынуждая их отступить. – Назад!

Басарга, пользуясь мгновением безопасности, вскочил, подхватил с земли кол. Мельком глянул на спасителя:

– Потап?

– Бей нехристей!

Опричник прижался спиной к спине своего недавнего подследственного, перехватил кол двумя руками:

– Ну, подходи, у кого голова лишняя!

Горожане, убедившись в ловкости и мастерстве подьячего, не спешили.

– За что хоть бьют, боярин?

– Понятия не имею!

– За что бьете, православные?! – громко спросил варзужец.

– Этот нехристь московский игумена соловецкого, Филиппа нашего, на казнь к царю увез!

– Чего? – Басарга на миг замер, потом бросил кол и заорал: – Да вы чего, ополумели, православные?! Какая казнь?! Царь Филиппа вашего митрополитом поставил!

– Куда-куда поставил? – переспросили передние холмогорцы, не спеша, однако, бить безоружного.

– В митрополиты!

– Когда? Куда?

– Ну-ка, Потап, подсоби… – Опричник забрался на поленницу и оттуда закричал: – Слушай меня, люд православный! Вот, крест видите? – Он вытянул из-под рубашки нательный крестик и поцеловал его, потом осенил себя крестным знамением: – Вот, на кресте перед вами клянусь, ровно месяц тому назад государь наш Иоанн Васильевич игумена соловецкого митрополитом всей церкви православной поставил! Вот прямо сейчас он есть митрополит!!! И над Москвой, и над вами митрополит!

– А-а-а!!! Любо Филиппу-игумену! – загудела, завыла, подобно урагану, толпа. – Любо государю Иоанну! Любо боярину!!!

Поняв, что бить его больше не будут, опричник спустился с поленницы – толпа качнулась к жертве, сграбастала десятками рук, втащила в себя, швырнула вверх:

– Любо! Любо боярину! Любо Филиппу! – Рядом кидали в воздух и вовсе невинного Потапа Рябуна. – Любо государю! Любо Филиппу!

Натешившись с добычей, толпа понесла их по улице к постоялому двору, затащила в кабак. Вскоре в тесноте и веселье на столе появились несколько бочонков хмельного – всего подряд, что только было в погребе:

– Выпей, боярин! – наперебой предлагали двинцы. – Не держи зла! За Филиппа выпей!

– За Иоанна, – упрямо отвечал Басарга. Но его, похоже, никто не слушал.

С улицы послышался колокольный перезвон: город праздновал великое событие, и веселье скоро утекло из кабака наружу. Здесь стало поспокойнее, и опричник, приходя в себя, выпил подряд два ковша меда, отер губы, кивнул рыбаку:

– Благодарствую, Рябун. Ты мне сегодня живот сохранил.

– Долг платежом красен, боярин. Ты нас у царя отмолил, я тебя выручил.

– Это верно, – поморщился опричник и зачерпнул еще меда. – Так как вы там живете? Штраф выплатили?

– Эка ты хватанул, боярин! Тысячу семьсот рублей! Весь край по миру пойдет, пока наскребем деньжищи-то такие!

– Да ладно, не прибедняйся, – покачал головой боярин. – Я же вас лучше вас самих знаю. У вас десятина в четыреста пятьдесят рублей исчисляется. Выходит, штраф – это меньше половины дохода за один год. Тяжко, понимаю. Но не разор.

– От такого наказания все, кто не приписан, отъехать поспешили. Кому охота половину денег отдавать? А коли дворов меньше втрое, то и платить… – Рыбак вздохнул. – Тебе бы, боярин, к лекарю ныне. Бо до завтра сам себя ужо не узнаешь. Хотя ты лучше сиди. Я схожу, призову.

– Холопа моего покличь! Пусть сходит, саблю поищет! Может, не пропала еще…

До съезжей избы опричник добрел только через день. И вид имел такой, что староста охнул от испуга:

– Что же это с тобой, боярин?!

– А то ты не знаешь… – с трудом шевеля распухшими и запекшимися губами, ответил Басарга. – Вот как я решил. У меня возле монастыря Архангельского дом есть. Бумаги и книги все собери да туда отправь. Там разберу. Коли просители али жалобщики появятся, тоже туда отсылай. Чего-то не любы мне более Холмогоры. Слишком буйно веселитесь.

Саблю опричника двиняне так и не нашли.

* * *

С хлопотами по разделению податей из Холмогор на волостных сборщиков Басарга просидел на Студеном море до Рождества. Работа его на сем не завершилась – но подьячий наконец-то смог позволить себе небольшой отдых и прокатиться в Москву. И пред государем отчитаться, и людям о себе напомнить.

К путешествиям он привык – почитай, половину службы в дороге провел, – а потому, вместо обыденных для путников полутора месяцев, домчался до Александровской слободы всего за три недели. Опричного двора здесь не оказалось – только с полсотни бояр сторожевую службу несли. Подьячего это известие только порадовало: свой дом в Москве ему был куда более по сердцу, нежели мыканье в «царском монастыре» в поисках ночлега. Еще два дня скачки – и Басарга наконец-то толкнул калитку своего подворья.

Здесь было ухоженно и опрятно: двор вычищен, а сугроб свален за баней, у задней стороны, поленница полная, чердак над хлевом плотно забит сеном. Порядок боярина не удивил – он уже привык, что в его доме постоянно кто-то крутится. То княжна Шуйская служанку пришлет прибрать и за порядком проследить, то побратимы приедут. Он, как старший братчины, их по обычаю привечать должен. А когда Басарги нет – то и сами «привечаются». Софоний же, почитай, чуть не постоянно у него обитает. Посему опричника удивил не столько порядок, сколько то, что дом оказался пустым и тихим. Хорошо хоть – не вымороженным.

– Затопи сперва, Тришка! – приказал боярин Леонтьев. – Опосля лошадей вычистишь.

Расстегивая петли налатника, Басарга поднялся наверх, на второй этаж, который, по негласным правилам, был его личными покоями. Расстегнул пояс, непривычно легкий без сабли, положил на сундук. С удивлением заметил на нем письмо. Очень странное: не скрученное в свиток с привешенной на веревочке печатью, а плоское – сложенный втрое лист, посередине залитый сургучом, в котором был вдавлен оттиск скачущего на испуганном коне немецкого рыцаря в доспехах. На лицевой стороне опрятной витиеватой вязью было начертано:

«Подьячему Монастырского приказа боярину Басарге Леонтьеву, сыну Семенову».

Удивленно хмыкнув, он сломал печать, развернул письмо.

«Храбрый боярин Басарга! – таким же красивым почерком было написано внутри. – Служба твоя честна и

самоотверженна, достойна наград и уважения. Такие храбрые витязи, как ты, Басарга, служить должны достойному господину, умеющему ценить преданность и награждать старания. Господину, чья знатность и происхождение не вызывают сомнений, а родовитость позволяет склонять пред ним голову без унижения. Ты же, по воле несчастливых обстоятельств, стал слугой отпрыска худородного, роду плебейского, с Рюриковичами ничем не связанного племени. Ибо ведомо всем, что великий князь Василий Третий Иванович бесплоден был, и за двадцать лет брака жена его Соломония ни разу от Василия не понесла, и жена Елена за четыре года не понесла. А откель у нее плод после того взялся, так о том князь Овчина-Телепнев[33] всем сказывал без стеснения. Тебе ли, воин храбрый и достойный, служить байстрюку безродному, в грехе зачатому, в бесстыдстве воспитанному? Я, король Сигизмунд Август, тебя к службе своей призываю, и токмо за согласие твое готов землями наградить по Луге и Нарове, на прежнее усердие надеясь…»

Сказать, что Басарга похолодел – не значило ничего. Он просто заиндевел, словно пойманный на воровстве немец, залитый в наказание у проруби ледяной водой. За одно только чтение посланий подобных можно легко на кол угодить. А уже если повторить хоть слово – так и кол райским местом окажется.

Не дочитывая подметное письмо до конца, подьячий сбежал вниз, отшвырнул холопа подальше в угол, распахнул дверцу печи, кинул послание в огонь, дождался, пока сгорит, после чего разворошил пепел кочергой, истребляя всякие следы заползшей в дом мерзости. Облегченно перевел дух, вытер испарину со лба.

– Кто же его принести сюда мог, в дом подбросить? – покосился он на Тришку-Платошку, и тот сразу мотнул головой:

– Не я!

– Понимаю, что не ты… – Опричник подкинул в топку еще несколько поленьев поверх разворошенного пепла. Чтобы уж наверняка…

На самом деле, принести мог кто угодно и без всякой задней мысли. Коли посланец приличного вида письмо господину передает – то почему и не принять? Подьячего дома нет – оставили в покоях. Это и Горюшка могла сделать, и холоп любого из побратимов. Да и из друзей неладного никто бы не заподозрил. Посему лучше ничего не искать, не выслеживать. Лучше пусть забудут все про конверт, словно его и не было.

– Топи, топи лучше! – потребовал Басарга. – Не май месяц на улице. Что-то зябко мне ныне…

А мысли крутились вокруг того, почему именно ему подкинули это убийственное послание? Понятно, что ныне он не боярский сын безвестный, право имеет в любой час к государю Иоанну Васильевичу входить, на боярскую думу зван бывал… Да токмо все едино – худородный, при дворе всего пару раз в год появляется, в думе тоже гость, а не боярин. Для боярских детей что Рюриковичи, что Телепневы – знать, которой служить не зазорно. И влияния у простого подьячего немного. Почему ему Сигизмунд письмо прислал? Почему не князьям, не боярам знатным?

Или…

Или им тоже таковые письма отправлены?

Басарга снова похолодел до кончиков пальцев. Ему, худородному, телепневское происхождение Иоанна никакой обиды не чинило. Однако же князья Салтыковы, Челяднины, Горчаковы, Можайские, Волконские, Шаховские… Они за место за столом выше друг друга насмерть грызться готовы, в монастыри уходят, дыбу терпят, от полков ратных прямо в битвах отказываются, царские приглашения рвут. А уж узнать, что не Рюриковичу, а Телепневу всем родом служат, – тут и верно, изменить могут с легкостью. Ибо родовитость Сигизмунда сомнения не вызывает, а вот Ивана Васильевича…

Подьячий начал понимать, почему государь столь трепетно отнесся к известию о существовании старшего брата. Коли брат есть – стало быть, отец не бесплоден!

Вот только брат старший в монастыре родился, вдали от глаз людских, после того, как Соломония из мужниной постели, в которой двадцать лет зачать не могла, в иной город уехала. А посему, кто отец…

– Беда… – вслух пробормотал Басарга, скинул налатник, сапоги и пошел к себе вверх по лестнице. – Так и до смуты недалеко.

– Ты что же раздеваешься, боярин? – крикнул ему вслед ничего не понимающий холоп. – Холодно, простудишься!

Подьячий не ответил. Не услышал. Да и холода вокруг больше не замечал – нутряной лед сильнее морозил.

В Кремль он помчался с рассветом – но государя в покоях не застал.

– В Разбойном приказе он, – ответил охраняющий двери рында. – Сыск ведет. Не первую неделю все дни там проводит. Можешь и не ждать, боярин. Домой ступай, молись, чтобы тебя не коснулось.

Басарга совету не последовал – от царского дворца помчался в Китай-город, к темнице. Рыкнул на стрельцов у входа, внутри показал грамоту с отписью о своей работе, раскланялся с князем Вяземским и прорвался-таки в пыточный подвал, в котором, подсвеченный несколькими факелами, висел на дыбе какой-то мускулистый мужчина. Кат методично охаживал его кнутом, писец на краю стола от безделья грыз гусиное перо, двое опричников, которых подьячий знал только в лицо, сидели за столом. Иоанн же, вопреки обычаю, бродил за спиной сидящих слуг, понуря голову. И одет был ныне не в монашескую мантию, а в длинную бордовую рубаху, перехваченную на поясе наборным янтарным поясом. Короткая острая бородка шевелилась, словно живя своею собственной жизнью, пальцы сложенных за спиною рук тоже непрестанно сгибались и разгибались.

– Здрав будь, государь, – поклонился подьячий. – Приехал со Студеного моря с отчетом. Полагаю перед отбытием волю твою узнать. Верно ли дело веду? Не надобно ли изменить чего?

– А-а, Басарга… – уперся в него невидящим взглядом Иоанн. – Не до тебя ныне, видишь, подьячий. В разумность твою верю, поступай на свое усмотрение.

– Нешто случилось что, государь? – сунул за пазуху непринятую грамоту Басарга Леонтьев.

– Федоров-Челяднин, паскуда, предал! – зло ответил царь. – Обещался с сотоварищи ставку мою походную окружить, опричников перебить, меня головою Сигизмунду польскому выдать. И ведь чего предал? От обиды, мыслишь, али чести родовой? Нет, за золото и поместья новые на иудство пошел! Хорошо, у меня при дворе польском доброжелателей много. Рядную грамоту, что он и князья иные с королем составили, для меня выкрали, упредили. Там и про награды, и про измену – все в подробностях написано. А ныне и сами подтверждают!

– Так, на бумаге в измене и поклялись? – не поверил своим ушам подьячий.

– Не постыдились, – подтвердил Иоанн. – Сигизмунд, ратных сил не имея, подлостью меня одолеть пытается. Князьям и боярам письма подметные рассылает, к подданству своему склоняет, к измене… Тебе подкидывали?

– Подкидывали, государь, – признался Басарга. – Токмо сжег я его сразу, показать не могу.

– Князь Вяземский посланника заловил, что оные доставил, – оглянулся в сторону дыбы царь. – Больше не привезет.

Подьячий Леонтьев мысленно перекрестился с немалым облегчением. Коли посланника поймали, стало быть, и адресаты все известны. Скрой он получение письма – попал бы под

подозрение.

– Многим подкинули? – с нежданной хрипотцой спросил он.

– Да почитай что всем! – Иоанн подступил к столу, взял лист бумаги. Отобрав перо у писца, начертал несколько строк, протянул Басарге: – Ступай, служи. Дела решай на свое усмотрение.

На бумаге было распоряжение в Казенный приказ выдать боярину Басарге Леонтьеву десять рублей на расходы.

– Благодарствую, государь, – поклонился опричник. Нежданные десять рублей оказались ему очень даже к месту. За такие деньжищи не простенький клинок за три рубля купить можно, а настоящий булат от лучших угличских или ярославских мастеров. И еще на личину к шлему останется[34].

Однако больше всего сейчас его интересовало другое. Царицы в Александровской слободе не было – значит, она со свитой здесь. Понятно, что на женскую половину дворца постороннего мужчину не пустят – но к службе церковной государыня выходить должна. Там ее кравчей показаться и можно… По времени Басарга аккурат попадал к Божественной литургии, в народе обычно прозываемой обедней. И если Иоанн, очевидно, из стен Разбойного приказа выйти не сможет, то у супруги его времени свободного должно быть хоть отбавляй.

Перезвон колоколов заставил боярина поторопиться, но… Храмов в Кремле было несколько, и в какой именно направится свита – поди угадай. Большинство бояр и слуг, как заметил Басарга, устремлялись к Благовещенскому собору, о чем-то на ходу переговариваясь. Опричник пошел вслед за всеми, не без труда протиснулся в распахнутые, несмотря на мороз, двери. Многим служивым и прихожанкам попасть внутрь и вовсе не удалось.

– Митрополит Филипп проповедовать будет, митрополит… – краем уха услышал Басарга.

Теперь стало ясно, отчего столько люда в одном месте собралось. Похоже, соловецкий игумен и москвичам головы успел заморочить. Бежали на его голос, ровно зачарованные.

Служба уже началась, но за головами впереди стоящих боярин ничего не видел и не слышал и только крестился время от времени, следуя не столько канону, сколько примеру окружающих. Внезапно толпа заколыхалась, немного подалась вперед, тут же откачнулась – свободного места перед алтарем, конечно же, не было.

– В тяжкую годину живем мы, дети мои! – прокатился под сводами церкви зычный, хорошо поставленный голос невидимого митрополита. – Воинство бесовское души христианские смущает,

надеясь смуту в державу православную внести! Поднять брата на брата и отца на сына, отринуть прихожан от лика Христова и низвергнуть в ересь латинянскую! Отец лжи ложью же и воюет! Гордыню разжигает в сердцах боярских, на измену толкает, на грех Иудин! И из той гордыни вы, дети мои, к отцу лжи склоняетесь и измену сию покрываете! На то ли собрались вы, отцы и братия, чтобы молчать, страшась вымолвить истину? Никакой сан мира сего не избавит нас от мук вечных, если преступим заповедь Христову и забудем наш долг пещись о благочестии благоверного царя, о мире и благоденствии православного христианства! Откройте души свои Богу и истине! Сплотитесь пред ликом диаволовым под дланью помазанника Божьего, нам в защиту и процветание свыше дарованного! Помолимся вместе за долгие лета государя нашего Иоанна Васильевича и делами своими за сие долголетие вступимся!

Проповедь закончилась, сменившись новым богослужением – за здравие правителя всея Руси. Разумеется, подьячий отстоял ее до конца, молясь со всеобщим воодушевлением, но вот когда он вышел на свет, прочие храмы стояли уже тихими. Там все закончилось намного раньше, и, если царица со свитой в них и была, боярин Леонтьев свою возможность упустил.

– Басарга! Подьячий! – Из Благовещенского собора вышел Андрей Басманов с еще несколькими опричниками. Одеты они были ныне не в рясы, а в кафтаны и ферязи, а потому внимания не привлекали. – Рад видеть! Ты здесь на время или насовсем?

Боярин дружески обнял Басаргу, пошел рядом.

– На время, – признался Леонтьев. – Серебро получу, прикуплю кое-что по службе и в дорогу обратную отправлюсь. В Поморье дел столько, жизни не хватит со всеми управиться.

– Ну, а у нас видишь, как сложилось? – кивнул себе за спину опричник. – Опять все враздрай.

– Что? – не понял Басарга. – Неужели это вы?..

– Нет, Боже упаси! – выпучил глаза Басманов. – То Сигизмунд письма мечет. Я вот тоже получил, Иоанну отнес. Тот в ярости едва рати исполчать не начал. Однако же остыл, пока указ готовил. Лично захотел ответ настрочить, да все недосуг… – Боярин огляделся. – Не стоит о сем прилюдно беседовать. Пойдем к Пимену. Ты, кстати, сына моего помнишь, Федора? – Опричник указал на круглолицего, безусого еще и безбородого боярина в белом кафтане с песцовой оторочкой и белой же тафье.

– Как же, помню… Возмужал.

– О прошлом годе с татарами у Рязани дрался. Бился храбро, весь доспех изъязвлен после сечи оказался.

– Отбились?

– Знамо, отбились! Когда степнякам в сечах супротив кованой рати устоять удавалось?..

Так, за разговорами, они дошли до новгородского подворья, поднялись в уже знакомые Басарге палаты, где собралось несколько епископов и бояр. Стол для гостей был накрыт скромный – пастила, инжир, халва. Однако же и к этому угощению никто не прикасался.

– Ты уже знаешь, Андрей? – встретил опричника архиепископ Пимен.

– Да, отче. – Басманов поцеловал его руку и прошел дальше, положил руки на стену, в которой проходили печные каналы. – Был на проповеди.

– С приездом, боярин Басарга. – Священник перекрестил подьячего, протянул руку для поцелуя. – Давно не виделись.

– Увы, я ненадолго. Мыслю, через неделю назад отъезжать.

– Как же сие случилось? – спросил один из епископов, сидевший опершись на посох.

– Когда Филипп к государю пришел, – вступил в разговор Федор Басманов, – и в жестокости обличать его попытался, Иоанн ему просто список урядный показал, что лазутчики польские прислали. Потом несколько листов допросных. Филипп их почитал, ушел… Остальное вы ведаете.

Басарга понял, что никаких писем заговорщики не писали и измены не устраивали. Просто воспользовались случаем, указав митрополиту на излишнюю жестокость царя. А ведь долг первосвятителя – вступаться за страдающих. Правда, в отличие от него, иерархи не знали, что у соловецкого настоятеля вместо сердца – шестеренка. Документы прочитал, достоверность просчитал – правильное решение принял. Не душой, разумом. А по разуму – заступаться за изменников нельзя, их изводить надобно, истреблять каленым железом.

Скрипнула дверь – и Басарга едва не подпрыгнул от неожиданности! В палаты вошла княжна Мирослава Шуйская, в скромной горностаевой шубейке и надетой поверх пухового платка бобровой остроконечной шапке, скользнула по комнате взглядом, лишь на миг задержавшемся на подьячем, склонилась перед Пименом:

– Благослови, отче… – Получив благословение, она прошла к высокому окну, села под ним. – Несколько раз я царице про Филиппа сказывала, однако же у черкески сей токмо охота на уме. Крестилась недавно, канонов не знает, до архиереев наших ей дела нет. Полагаю, ни слова от нее Иоанн не услышал. Неинтересно ей сие.

– Нешто никак нам к выскочке сему не подобраться? – в

сердцах ударил посохом об пол один из епископов.

– Не понимаю я, бояре, – в этот раз взгляд княжны уперся точнехонько в лицо Басарги, и от слабой улыбки у подьячего быстрее застучало сердце. – Отчего у вас на государе свет клином сошелся? Пошто с Иоанном Филиппа рассорить желаете? Уговор у них с царем. Рядная грамота. Не станет царь его трогать, даже если обозлится. Честен он. И слово свое завсегда блюдет. Митрополит же и вовсе, коли чем и обмолвится, так токмо Иоанну в защиту и оправдание.

– Что же нам, княжна, смириться с тем, чтобы выскочка никчемный над нами хозяином сидел? – забеспокоились епископы. – Наше служение Господу небрежением своим пороча? Эвон, за все время служения своего митрополит незваный чего и сделал, так токмо книги всякие в обитель соловецкую отослал да две мельницы книгоделательные на Яузе затеял! На богомерзких досках псалтыри и жития печатать хочет. Хотя, знамо, коли книги не от руки, с молитвой и по благословению написаны, то и проку от них никакого.

– Супротив митрополита таковое оружие использовать надобно, что от царской воли не зависит. – Мирослава не отрываясь смотрела подьячему в лицо, и того быстро охватывал нестерпимый жар.

– О чем ты сказываешь, княжна? – удивился Андрей Басманов. – Все мы рабы помазанника Божьего…

– Не все, – перебила его Мирослава. – Священники токмо суду церковному подвластны, а суд – Церковному собору.

– Верно сказано, дочь моя! – поднялся архиепископ Пимен. – Даже митрополит на суд церковный никак влиять не может. Собор, и только Собор!

– Разве собор посмеет перечить царю, помазаннику Божьему? – спросил Федор Басманов.

– Иоанн с Филиппом урядную грамоту подписал, что в дела Церкви никак вмешиваться не станет, – еще раз напомнила княжна Шуйская. – А он клятв не нарушает.

– Верно, – обрадовались епископы. – Суд под нами, а митрополит ниже суда числится. Токмо в чем его обвинить можно? Вроде как никогда ни в чем…

– В колдовстве, – сказал со своего места Басарга. Все повернулись к нему, и боярин поднялся. – Десять лет назад Соловецкие острова нищей пустыней были с несколькими отшельниками. Ныне богатством и многолюдством Сергиеву посаду мало уступают. Разве сие, да еще так быстро, без колдовства сотворить можно было?

– Искусу отшельников подверг! – моментально сделал вывод

один из епископов.

– В иных обителях монахи душу веригами, воздержанием, столпничеством, умерщвлением плоти спасают, – продолжил Басарга, – я повидал многие. У Филиппа же стол завсегда от яств ломился. Казну монастырскую, богатую на удивление, не на храмы и часовни он тратил, не на обустройство купелей и воздвижение крестов, а на пробитие каналов, строительство мастерских и садков, литейный двор и прочее баловство, никак Божьему помыслу не помогающее.

– И книгоделательную мастерскую поставил! – припомнил епископ с посохом. – Я так полагаю, решением священного Собора комиссию надобно создать да сыск провести по деяниям игумена Филиппа в обители Соловецкой. Я самолично готов в сие путешествие отправиться и вызнать все в точности!

– Я тоже согласен! – подал голос еще один архиерей из другого конца комнаты.

– Простите, святые отцы, – поднялась княжна Шуйская. – Однако же на службе я. Государыня после отдыха дневного проснется скоро, и я должна рядом быть… Пока ко сну перед вечерней не отойдет… – Судя по быстрому взгляду, последние слова предназначались Басарге. – На сносях она ныне. Тяжело матушке нашей…

– Да пребудет с тобою милость Господня, дочь моя, и да пребудет царица в здравии, – перекрестил ее Пимен.

Мирослава вышла – Басарга сел. Решил, что слишком быстрый уход вслед за княжной может вызвать подозрения.

– Стало быть, так и решим. На острова Соловецкие отправятся епископ суздальский Пафнутий и архимандрит Феодосий, – произнес архиепископ Пимен. – Полагаю, братья мои во Христе, помощников себе вы сами подыщете?

– Подыщем, отче, – заверили архиереи.

О согласии Церковного собора никто из них, похоже, не беспокоился. Да и зачем, если среди православных иерархов у северного выскочки ни единого доброжелателя не имелось? Все, что пойдет во вред митрополиту, они утвердят с радостью…

* * *

Дом был тих и жарко натоплен. Отпущенный отдыхать Тришка-Платошка затаился где-то наверху, и перед распахнутой дверцей печи Басарга сидел в одиночестве, глядя на пляшущие в топке желто-красные языки пламени. На столе рядом с ним стоял высокий басурманский кувшин из покрытого чеканкой и эмалью

серебра, два золотых кубка, а еще миски с ягодными левашами, яблочной пастилой, апельсиновым тестом. К кислому немецкому вину русские сласти были в самый раз: и вкус оттеняют, и живот не отягощают, и сытные, ровно мясо.

Когда скрипнула дверь, он не оглянулся, сделав вид, что ничего не услышал. Вскоре по щекам его скользнули мягкие, но до ужаса холодные ладошки и коварно поползли вниз, под ворот рубахи. Басарга мужественно стерпел, позволяя любимой отогреться, и был награжден поцелуями в веки, нос и губы.

– Жуть, какой холод на улице, – прошептала княжна. – Вся одежда заледенела.

Мирослава Шуйская обогнула скамью и встала перед ним, протягивая ладони к печи. Подьячий сразу поверил в нестерпимую холодность одежды – поскольку всю ее, без исключения, гостья скинула. Отставив вино, он торопливо разделся, подступил к женщине сзади, прижавшись всем телом, зарывшись лицом в мягкие волнистые волосы, пахнущие полынью и ладаном, скользнул пальцами по ее бокам, бедрам, пробрался дальше вперед, по животу поднявшись до весомых грудей, принял их в ладони, легонько сжал.

Княжна откинула голову назад и прошептала:

– Господи, как же я по тебе соскучилась!

Басарга дернулся вперед, пытаясь поймать губами ее губы – но от толчка царицына кравчая потеряла равновесие, качнулась вперед, уперлась ладонями в печь. Ладони боярина скользнули по ее спине – и плотский жар взял над обоими верх, погружая в пучину все дозволяющей страсти.

Через полчаса они вернулись в мир, опустившись на скамью возле стола. Басарга сидел перед открытой дверцей, а Мирослава лежала, положив голову ему на колени и заглядывая в глаза:

– Почему тебя так долго не было?! – требовательно спросила она.

– Служба. Далеко, – пожал боярин плечами. – Жила бы ты на Ваге, каждую неделю навещал бы. А сюда путь почти в месяц.

– Нет, – улыбнулась княжна. – Когда ты соскучишься, в тебе страсти больше. На Ваге ты ко мне привык…

– Я люблю тебя, ненаглядная моя. Как можно к тебе привыкнуть?

– Я чувствовала. – Она подняла руку, подергала его за бороду и попросила: – Налей вина. В горле пересохло.

Басарга налил – но пить лежа оказалось неудобно, женщина села, сделала несколько глотков, спросила:

– Чем вам не угодил этот несчастный митрополит? Пошто взъелись на бедолагу? Вроде как ничем всех прочих не хуже?

Подьячий прикусил губу, не зная, что ответить. Рассказать, какие мерзости тот отпускал про Мирославу Шуйскую? Но ведь, пересказанные, они не станут менее обидными и княжну оскорбят. Другого же правдоподобного повода для ненависти он так быстро, с ходу, придумать не мог.

– Ладно, синклит церковный окрысился, – продолжала размышлять вслух кравчая, – он их всех скопом подсидеть ухитрился. Но Басманов с сотоварищи, ты? Вам-то что до епископских свар?

– Есть у меня к Филиппу счеты… Личные… – кратко признался Басарга.

– А Басманов с опричниками?

– Не знаю, – неуверенно ответил подьячий. – Вроде как всегда выступал, чтобы царь с митрополитом заодно были…

– Вот они сейчас и заодно!

– Ты ведь тоже супротив Филиппа, – напомнил ей подьячий.

– Я не «против», я «за». За поручителя своего, что перед Иоанном меня покрывает. Тут, хочешь али нет, мне его слушаться приходится.

– Может, и Басманов чем-то ему обязан?

– Знать бы, чем? – покачала она головой. – Ох, не нравится он мне, любый. Недобрые мысли чую. Высоко худородный вознесся. Как бы бед гордыней не наворотил.

– Я тоже худородный, – напомнил любимой Басарга.

– Ты душой чист. Мне за тебя сам Господь поручился.

– Это как? – опешил подьячий.

– А вот так. – Она чмокнула его в губы, засмеялась и взяла за руку: – Пошли спать.

Так, сцепив пальцы, они и поднялись на второй этаж, вошли в опочивальню – и Мирослава задохнулась от восторга:

– Кошма! На весь пол! Ты запомнил?! Кошма!

Она нырнула вниз, распласталась, тут же откатилась в сторону, вытянулась на спине:

– Ой-ой, Басарга, какая она колючая! Ты меня на ней ни за что не удержишь!

– А вот удержу! – Боярин опустился сверху, крепко прижал ее ладони к полу и нашел губами губы…

* * *

Несколько сладких ночей – а потом снова ждали Басаргу жесткое седло и дорога… дорога.

Земли на севере малолюдные, а концы дальние. Поездки для

назначения на места сборщиков податей, представление их народу, пересчеты остатков в земских избах занимали по нескольку недель каждая – и весна пришла почти незаметно для подьячего. После ледохода в Холмогоры добралась, наконец, комиссия для сыска по делам игумена Филиппа. Боярин Леонтьев, как подьячий Монастырского приказа, самолично перевез их на остров, передал им все свои старые отписки об утаивании настоятелем доходов от податей – но принять участие в сыске не мог, своих дел хватало. Только изредка, проплывая возле Кемской волости, он заворачивал в обитель узнать, как там идут дела.

Сыск двигался успешно. Многие иноки, как выяснилось, Филиппа недолюбливали. Сразу девять монахов дали показания, что от молитв, отшельничества и столпничества настоятель отвлекал их на работы. Несколько пещер, в которых старцы дневали в молитвах, а спали в гробах, он просто снес, поставив на тех местах теплые и просторные рубленые скиты, – языческие капища, наоборот, не трогал, оставив на местах все каменные лабиринты, оставшиеся с бесовских времен. Казну тратил на мастерские и инструмент, лишь малые крохи выделяя на строительство храмов. Оные же лишний раз указывали на его гордыню, имея размеры просто немыслимые, ненужные. Монахи его сей гордыней попрекали – но Филипп все равно строил все большим, ровно всю страну к себе намеревался пригласить.

Новый соловецкий игумен Паисий поначалу шабаши и колдовские обряды Филиппа отрицал, но когда архимандрит Феодосий пригрозил отправить его за ложь в Андронников монастырь, томиться в заточении, а за покаяние, наоборот, посулив прощение и чин епископа, – признался во всем, показав даже, где прежний настоятель диавола призывал, где бесам поклонялся, где с голыми ведьмами на шабаше содомским грехом занимался.

Каким образом можно совершить содомский грех с бабой, пусть и продавшей душу нечистому, архиереи не поняли – даже Басаргу о сем спросили. Однако же, по размышлении, решили оставить показания как есть. Раз содомский грех был – должен отвечать.

За два месяца отчет о следствии наконец-то был составлен полностью – и Басарга по своей обязанности прибыл за ним на специально нанятом ушкуе. Иерархи желали доставить в Москву, на суд, всех девятерых монахов, давших показания, и самого игумена Паисия. К опричнику на струг столько народа поместиться никак не могло.

День, когда холмогорский ушкуй встал у соловецкого

рыбного причала, выдался ветреным и дождливым. Может быть, поэтому игумена Паисия никто из его братии или трудников провожать не пришел. Темными тенями скользнули с берега на причал монахи, поднялись по сходням на борт и словно провалились в приоткрытую крышку трюма.

Мест в каютах на всех не хватало, и потому для пассажиров корабельщики поставили в трюме столы, сколотили скамьи и повесили гамаки. Комиссия Церковного собора задержалась на добрый час, а когда пришла, Басарга стал свидетелем нежданного безумства…

Семеро священников – двое архиереев, игумен и помощники, спустившись на причал, повернулись, отвешивая прощальные поклоны в сторону Преображенского собора. И тут вдруг один из святых отцов громко выдохнул:

– Красота какая! Вот оно, величие веры и подвижничества христианского… Что же мы делаем, братья мои? Гордыню свою тешим, за успехи ближнему своему мстим! За что караем? За чудо Господнее! За то, что из пустыни обитель могучая и богатая выросла! Сами сего сотворить неспособны, иным же мстим! Лжем, душою кривим, к лжесвидетельству склоняем, напраслину возводим. И все отчего?! Месть и гордыня! В аду нам всем гореть! В аду, в аду! Слуги мы диавола, отцу лжи всем синклитом поклонились!

К несчастному тут же кинулись остальные священники, принялись его утешать и уговаривать. Спустя несколько мгновений бунтарь обмяк, и остальные внесли его на ушкуй, упредив стоящего у сходен Басаргу:

– Епископ Пафнутий сомлел. Надо бы в постель его скорее. И воды… Жарко ныне, вот и сомлел.

– На корме каюта, – указал боярин Леонтьев. – Постели нет, но сундуки тюфяком закрыты и застелены.

Священники, с мокрых ряс которых текли струи воды, неуклюже двинулись в указанную сторону, а Басарга всмотрелся в сторону собора, столь странно пошутившего с архиереем. Однако ничего особенного ни в шпиле, ни в куполах по сторонам не заметил. Даже крест повернулся к нему боком и казался обычным золоченым шестом.

– Отваливай, – приказал корабельщикам подьячий.

Поморцы втащили влажные сходни на борт, скинули причальные концы с быков, оттолкнулись, и высокое двухмачтовое судно вскоре растворилось в серых косых струях, оставшись наедине с морем.

Басарга сошел с ушкуя в Кеми. Дальше комиссия святого Собора отправилась сама. Подьячий же намеревался вернуться к

Архангельскому монастырю, собрать документы и отчеты. Он тоже закончил свою работу – но вернуться хотел по Двине, завернув к себе в поместье. Времени до распутицы хватало. Можно, наконец, хоть пару недель провести в своей усадьбе, выпить с друзьями, узнать об их успехах, похвастаться своими. Может, и им в столице что-то понадобится. Тогда еще и попутчики в дорогу найдутся…

* * *

Государь принял подьячего милостиво, за труды похвалил, отписку же смотреть не стал, отложив вместе с прочими бумагами на сундук под окном, встал перед ним, положил ладонь на слюду, словно проверяя – намокнет или нет?

– Поливает, – тихо сказал он. – Все дождь и дождь, словно оплакивает небо кого-то. Ты как добрался, Басарга? На дорогах, поди, распутица.

– Грязь – не распутица, государь, – весело ответил подьячий. – Лошади в ней не тонут. Даже и удобно. Смерды на дороги носа не кажут, посему свободно везде. Скакать куда быстрее получается.

– Значит, дороги размокшей не боишься? – оглянулся на него Иоанн. – То хорошо. В Москву поезжай. Неладное там что-то творится. Андрюшка Басманов кипу ябед всяких на митрополита приволок, читать уговаривал. Я повелел сжечь. Не наше дело сварами епископскими заниматься. Ныне, доносят, Собор собирается, и опять по поводу кляуз сих… Нешто Андрюшка им все отдал? Епископ Пафнутий встречи просил. Я полагал, опять за монастырь корить станет, увещевать прежний порядок в опричные земли вернуть. Он сказывает, супротив Филиппа заговор иерархи православные составили и скинуть хотят. Завидуют, гордыней страдают, за обиду мстят, что из худородства его в первосвятители вознес…

Царь надолго замолчал, оглаживая слюду ладонью. Опять покачал головой:

– Плачет…

– Так что прикажешь, государь?

– Ничего приказать не могу! – повернулся к Басарге Леонтьеву Иоанн. – Нет у меня такой власти – святому Собору приказывать. На кресте святом поклялся в дела Церкви православной не вмешиваться! Однако же ты, подьячий приказа Монастырского, на том Соборе и суде затеянном по долгу службы пребывать должен! Езжай. Сиди, внимай, следи. Разбирайся. Мне

обо всем в точности отписывай. Коли нужда какая возникнет, сообщай немедля. Тебе, как себе, верю! Не подведи. Жду вестей. Ступай.

За дверьми передней комнаты Басаргу тут же перехватил Андрей Басманов, ухватил под локоть:

– Ну что там, друже? Как?

– Даже и не знаю. Словно в печали Иоанн. Нешто случилось что?

– Опять у царицы дитя во младенчестве преставилось, – пояснил опричник. – О Филиппе что-нибудь сказывал?

– Ты зачем ему отписку комиссии приносил? – остановился Басарга. – Сколько раз говорил: не будет Иоанн против игумена соловецкого ничего делать. Раньше не карал, а ныне тем паче не тронет.

– У епископа суздальского рассудок, не иначе, помутился, – виновато пожал плечами Басманов. – Не желает то самое обвинение подписывать, каковое сам же и составлял! О чуде небесном сказывает, что в пустыни соловецкой случилось. Казанского архиепископа Германа уже уговорил с Филиппом смириться, поклониться как первосвятителю. Ныне другим кланяется. Ссылается, что чудо лицезрел. Вот я и попытался… Иначе как на суд без подписи?

– То не наша забота. О сем пусть архиепископ Пимен заботится.

– Архимандрит подписал…

– Государь сказал, что клятвы целовальной не нарушит и вмешиваться в дела церковные не станет. Чем суд закончится, отсюда следить будет. А я ему о том сообщать… – Басарга похлопал ладонью по груди опричника: – Считай, этой опасности для нас нет. Все, я поскакал!

* * *

Церковный суд уважаемых архиереев над северным выскочкой состоялся в древнем Успенском соборе Московского Кремля. Для сего действа тут были поставлены в большом количестве крытые коврами скамьи, принесены в большом количестве большие напольные подсвечники. Когда почти полторы сотни больших восковых свечей будут зажжены – внутри станет светло, словно днем.

Первыми сюда пришли боярин Басарга Леонтьев и архиепископ Пимен – похоже, горя одинаковым желанием поскорее избавиться от ненавистного митрополита.

– Получится, отче? – спросил подьячий, увидев молящегося у образов новгородского священника.

– Отчего бы нет, сын мой? – ответил Пимен. – Заступников и доброжелателей у него не видно, серебро из обители монастырской он и вправду на баловство всякое тратил, а не на храмы или утварь церковную. Иноков сытостью искушал, пустыни скитами застраивал, умерщвлению плоти препятствовал. После сего и в прямое колдовство поверить недолго.

– Басманов сказывал, епископ Пафнутий обвинение подписать отказался.

– И что из того? Я подписал и Герман. Пафнутий же в свою епархию отправлен, пусть там за здравие митрополита молится. – Новгородский епископ зловеще усмехнулся: – Мы ведь здоровью Филиппову вредить не намерены. Помолись. Помолись, сын мой, рядом со мною за успешное завершение дела нашего. Прямо и не верится, что ныне покончить удастся с помехой столь нежданной и несуразной.

Вскоре стали съезжаться и архиереи. Ради такого торжественного случая были они не в обычных рясах, а в парчовых фелонях, расшитых серебром и золотом, в белых, синих, зеленых архиерейских мантиях, подбитых дорогим мехом. На головах у них возвышались не скуфьи и даже не камилавки, а драгоценные митры с золотыми крестами на макушках, образами святых апостолов из финифти по сторонам и россыпями самоцветов между этими миниатюрными иконами. И все, конечно же, опирались на посохи, словно собрались в дальнюю дорогу.

Каждый из архиереев знал свое место и занимал его согласно старшинству: кто шел на первые скамьи, кто садился на задние, кто-то пристраивался с краю, а кто-то торжественно располагался в центре. Басарга остался стоять, а потому смог находиться довольно близко к столу в центре. На стоячие места никто из иереев не претендовал, а потому подьячий оказался вне борьбы за старшинство.

Когда храм наполнился, откуда-то с левой стороны появился митрополит Филипп. Тоже в мантии с шитьем, с жезлом в руке. Вот только на голове его была не митра, а белый клобук, хотя и украшенный золотым распятием. В этот раз никто из архиереев не встал и своего главу никак не поприветствовал. Все злорадно ждали продолжения.

– Знаешь ли ты, брат наш во Христе, пошто позвали мы тебя ныне в сей Божий храм? Прочитал ли ты обвинение, тебе предъявленное, имеешь ли что сказать в свое оправдание? – поднялся, опершись на посох, архиепископ Пимен.

– Ложь все сие, извет и напраслина! – громко ответил

Филипп. – Вижу в сих обвинениях лишь зависть, обиды мирские, гордыню позорную! Сплотились вы, слуги Господа, не ради служения Всевышнему, а ради войны земной супротив того, кто государю милее в первосвятителях оказался, нежели любой из вас. Вижу, не найти ныне правды средь иереев православных. Но не просился я на сие место и нисколько за него не держусь! Лучше мне принять безвинно мучение и смерть, нежели быть митрополитом при таких мучительствах и беззакониях! Я творю тебе угодное, архиепископ Пимен. Вот мой жезл, белый клобук, мантия. Я более не митрополит!

Филипп стал снимать с себя святительское облачение.

– Не жезла и мантии ждем мы от тебя, несчастный, а смирения и покаяния! – грозно ударил посохом в пол новгородский епископ. – Не за покровительство царское тебя здесь судим, а за разврат и колдовство, к коему ты склонность показал, за отпадение от веры христовой!

– Посох митрополита тебе отдам, Пимен, но душу мою не трожь! – вытянул обвинительный перст Филипп. Ныне, верно, уже не митрополит, а просто священник. – Ни разу не преступал я законов и заветов христианских, и каяться мне не в чем!

– А вот сие, несчастный нераскаявшийся отступник, мы сейчас прилюдно и уясним! – так же зло ответил ему новгородский епископ. – Вот архимандрит Феодосий поведать нам желает, что он в Соловецкой обители нынешним летом углядел…

Подьячий Леонтьев, расслабившись, привалился к стене. Исход суда был окончательно предрешен. И даже не тем, что все архиереи были против северного выскочки, а тем, что он сдался. С первого же мгновения смирился с поражением, даже не подумав вступить в борьбу. А ведь мог. Если быть честным, почти все обвинения надуманы. За воровство царем он прощен, мастерские и садки ради дохода монастырского сделаны, а что кормил братию хорошо – так трапезная во всех монастырях есть самое главное здание: самое большое, помпезное, основательное, роскошное. Басарга по обителям поездил, насмотрелся. Везде и всюду трапезная монастырская завсегда главный храм своею основательностью затмевает.

Однако Филипп – сдался. Интересно, почему? Может, надеялся обратно к Студеному морю вернуться, к милым своему сердцу литейным дворам, верфям и кирпичным заводикам?

Напрасные мечты. Сброшенный с вершины горы камень на середине склона уже не остановится. Не для того Церковный собор низвергал его из святительства, чтобы потом оставить на почетной, хотя и низкой, должности. Иереям он был нужен в виде

еретика и отступника, чтобы вытереть об него ноги, замуровать в келье, вытравить само имя из памяти людской. Чтобы знали на будущее любые выскочки, каково это местнические правила нарушать и поперек архиереев к вершинам церковной власти прорываться.

Подьячий Монастырского приказа стоял, наполовину погрузившись в свои мысли, наполовину прислушиваясь к ходу суда. Полдня архимандрит Феодосий рассказывал о том, как впустую была растрачена огромная казна обители: на каналы и мельницы, на причалы и кузни. И это в то время, как церквей всего две, а послушникам и трудникам приходится ютиться в деревянных бараках. Затем на допрос вызвали первых монахов, коих Филипп отверг от повседневных молитв.

Уйти Басарга не мог – ведь государь потребовал от него подробного отчета. Вечером нужно было составить отписку и отправить с холопом на почтовых лошадях. Почтовые быстрее всего. Три-четыре часа – и письмо будет уже в Александровской слободе, у Иоанна в руках.

Первый день суда закончился допросом двух монахов, второй был потрачен с утра до вечера на жалобы еще семерых, третий начался рассказом последних двоих о том, как Филипп изживал в них веру христианскую, а ближе к вечеру – покаянием игумена Паисия, какового Филипп понуждал принимать участие в его колдовских забавах…

Тем же вечером в Боровицкие ворота Кремля влетела кавалькада из полутора сотен черных всадников, в рясах и с оружием. Опричники быстро рассеялись по главной московской крепости, возглавив караулы у ворот, перекрыв все проулки, встав по десятку у каждого храма и монастыря. Однако более ничего не предпринимали.

В этот раз Басарга, понимая, чего от него ждут, никаких записок уже не писал, пришел с докладом лично.

– Что? – Во дворце царь скинул влажную рясу и встретил подьячего в думной палате в сапогах, шароварах и вельветовом поддоспешнике с меховым воротом: высокий, широкоплечий, статный, уверенный в себе. Такой, каким Басарга увидел его впервые, на поле битвы возле Казани.

– Он не кается, государь, – кратко описал ситуацию Басарга. – Однако же обвинения серьезны. Об иных я и сам тебе сказывал, другие токмо церковная комиссия определила. В канонах христианских я не силен, однако же многие игумен Филипп нарушал. Про иные арихиереи сказывают, что это уже чуть ли и не колдовство.

– Что же это он сдался-то сразу? – Похоже, первые слова

Филипа на суде вызвали у Иоанна те же мысли, что и у подьячего. – Не оправдывается, на несуразности в дознании не указывает? Коли в силах своих не уверен, мог бы у меня помощи испросить. Я бы вступился.

– Ты поклялся не вмешиваться в дела Церкви, государь.

– Да помню я, помню, – передернул плечами Иоанн. – Видишь, и не подхожу даже близко ни к собору Успенскому, ни к монастырю Чудову.

– Суд церковный всех свидетелей ныне опросил, – закончил отчет боярин Леонтьев, – завтра совещаться станет. Мыслю, завтра же мы и приговор узнаем.

– Надеюсь, разума и совести у арихиереев больше, чем зависти, – ответил Иоанн. – Хорошо, ступай. Завтра, как все решится, сразу ко мне!

Разум и совесть у епископов и архимандритов действительно имелись, а потому в Успенском соборе больше чем на полдня возник яростный спор. Но не по поводу того, виновен ли инок Филипп в ереси и растрате, а о том, включать ли в приговор обвинение в колдовстве и содомии? Колдовство для низвергнутого митрополита означало костер без каких-либо оговорок или шансов на помилование. Содомия – лишний позор.

Вскоре после полудня церковный суд все же пришел к единодушному мнению, что эти, самые серьезные, обвинения беспочвенны – и исключило их из приговора. Ересь же и растраты влекли лишь к покаянию… После этого писарям осталось лишь составить приговор: митрополит Филипп низвергался из сана и направлялся на вечное заключение в тверской Отроч-Успенский монастырь.

Провозглашения судебного решения Басарга ждать не стал: отправился во дворец, поднялся в покои государя. Иоанн находился в домовой церкви – одетый, как было и накануне, по-походному. Вот только поддоспешник на этот раз на нем другой оказался, стеганый и крытый сверху лазурным атласом. Появление подьячего заставило царя прервать молитву, подняться. Произносить он ничего не стал, только посмотрел с вопрошанием.

– Пожизненное заключение, – кратко ответил Басарга.

– Вот, стало быть, каковы святители в царствии моем! – сжал кулак Иоанн и шумно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. – А ну-ка, пойдем…

– Ты на кресте клялся не вмешиваться, государь! – крикнул в спину стремительно промчавшегося мимо Иоанна подьячий.

– Я в том Филиппу клялся! – рявкнул царь. – Нет митрополита – нет клятвы!

От крыльца дворца кремлевского до Успенского храма всего двести сажен. Иоанн, не созывая свиты, не седлая коней, не закладывая кареты, пробежал это расстояние в несколько минут. Иерархи еще не разошлись, обсуждая, кого выдвинуть в местоблюстители, Филипп стоял у стола, на котором покачивался пергаментный свиток с приговором – похоже, его только-только закончили читать, Пимен, вскинув подбородок и опершись на посох, гордо возвышался перед ним…

В эту сцену торжества правосудия и ворвался Иоанн, с ходу ухватив новгородского архиепископа за бороду и рывком опустив его голову вниз, к самому столу:

– Ты чего это делаешь, паршивец?! Ты как смеешь руку на моего митрополита подымать?! Пошел вон отсюда! Уметайся из города, и чтобы более я тебя в Москве не видел! Еще раз на Филиппа голос возвысишь, самого из сана низвергну и на кобыле драной женю![35] А вы? – повернулся царь к остальным архиереям. – Вы, никак, обезумели – супротив первосвятителя своего бунтовать.

– Приговор соборный тебе не подвластен, государь, – попытался возмутиться архимандрит Феодосий. Не тебе Церковь подчиняется, а единственно Вседержителю небесному…

– Я здесь царь и Бог! – рявкнул Иоанн, с силой жахнув кулаком по столу. – Я Господом поставлен державу русскую и веру православную в крепости сохранять! И не вам, шептальщики храмовые, мне перечить! Я избрал митрополитом святителя Филиппа, и он над вами отныне и впредь стоять будет!

– Не желаю пребывать в окружении ненавистников, государь, – неожиданно ответил правителю всея Руси бывший соловецкий игумен. – Как же я Богу служить стану и веру православную укреплять, коли все слуги мои, небесами данные, от ненависти ко мне исходят? Не желаю быть митрополитом средь хулителей и завистников. Отпусти…

– Кто здесь ненавистник? Укажи! – обвел иерархов тяжелым взглядом царь, и епископы с архимандритами в ужасе попятились.

– Нешто всех разом снять можешь, государь? – слабо усмехнулся Филипп. – Не проще ли одного отпустить, нежели супротив всей Церкви бороться?

Иоанн задумался, взял со стола митрополичий посох, взвесил в руке, еще раз обвел архиереев темными от гнева глазами и приказал:

– Подите все прочь! Желаю с первосвятителем вашим наедине побеседовать.

Басарга, хочешь не хочешь, вышел вслед со всеми и беседы

царя с бывшим настоятелем соловецким не слышал. О чем договорились Иоанн с Филиппом – так и осталось навеки тайной их двоих, однако уже на следующий день после своего низложения по приговору Церковного собора, последний, спокойный и уверенный в себе, в полном митрополичьем облачении служил Божественную литургию в Архангельском соборе Московского Кремля.

Вечером же домой к Басарге явились Андрей Басманов с сыном и еще несколько опричников.

– Сегодня хоть не помешал? – с усмешкой поинтересовался боярин. – А то, может, с нами погулять пойдем? Выпьем где, девкам московским подолы позадираем?

– Поздно уже под подолы заглядывать, темно на улице, – ответил подьячий. – Заходите, вина хлебного выпьем, огурцами хрусткими закусим. Приучили меня поморы к хлебному вину, иного порой и не хочется. А коли проголодались, велю холопу буженины из погреба принести, да рыба там еще есть копченая.

– Вино хлебное? – заинтересовался Басманов. – Это то, которым голландцы торгуют?

– Чего там голландцы? Свое не хуже, – ответил Басарга. – Сейчас Тришке велю непочатый бочонок принести…

– И буженины, – запросил Федор.

Опричники заходили, скидывали зипуны и кафтаны, располагались за столом у хорошо натопленной печи.

– Слыхал, друже? – усевшись напротив подьячего, поинтересовался Андрей Басманов. – Пимен съехал, Феодосий съехал, Герман съехал, Игнатий съехал, Онуфрий тоже… Половина синклита церковного по епархиям своим разбежалась, ровно их тут никогда и не было.

– У Иоанна кулак тяжелый. А топор у палача его того пуще, – ответил Басарга.

– И что делать теперь станем, друже? Смиримся? – Опричник огляделся. – Ты, вижу, в удел свой прятаться не спешишь. Хотя Иоанн тебя за службу похвалил и отдохнуть дозволил.

– Пока не знаю, – пожал плечами подьячий. – У меня вроде как приговор судебный на руках. Как слуга государев к исполнению должен применить.

– Какой приговор?! – встрепенулся Андрей Басманов.

– Обожди…

Басарга поднялся наверх в свои покои, отомкнул замок сундука, достал из него свиток, подобранный с пола после того, как царь буйствовал, стуча по столу и смахивая с него бумаги, спустился и протянул опричнику. Старший Басманов схватил его, жадно прочитал.

– Подписи есть, печать в наличии. – Подьячий взялся за ковшик, зачерпнул вина. – Все честь по чести. Осталось в жизнь претворить.

– Иоанн же приговор Собора отменил! – взял из рук отца свиток Федор.

– Нет у государя права церковные решения отменять, сколько раз уже сказывали, – напомнил ему родитель. – Церковь православная токмо греческому патриарху подотчетна, и никому более.

– А как же тогда Иоанн суд разогнал?

– Силой, – ответил Басарга. – Однако же силой не значит еще, что по закону. По закону и обычаю Церковный собор любого священника карать может, со мнением самодержца не считаясь. Своевольство допустил царь наш Иоанн Васильевич, как это ни печально. Посему, бояре, решить нам надобно, как поступать станем. Либо закон соблюдать, рискуя гнев государя на себя обрушить, али закон попрать, царской воле следуя.

– А ты как полагаешь, друже? – тоже потянулся к вину старший Басманов.

– Никак. Меня за Филиппа уже били, и знаю я, что одному его не взять. Прихожане вступятся. Надобно хотя бы два десятка людей служивых, дабы горожан сдержать, да сани приготовить, дабы схватить, в возок и в Тверь, пока никто не спохватился и не отбил. Там настоятелю монастырскому сдать, и пусть сидит. Приговор есть. Пока его церковный же суд не отменит, любой игумен соблюдать его обязан в точности. Не станет же государь ратью монастырь в державе своей осаждать, дабы опального иерарха вызволить и в митрополиты вернуть? Тут уж точно весь люд православный в смятение придет и ни един священник такого святителя признать не пожелает.

– Разумно сказываешь, – кивнул Андрей Басманов. – И собрать три десятка людей служивых, нам преданных, нетрудно. Вот токмо, чтобы повязать митрополита, нам поперва Успенский монастырь осаждать придется. Так просто к Филиппу оружных людей не пустят.

– Зачем штурмовать? Он же сам из сих стен каждый день на службы церковные выходит. Взять прямо после молебна, приговор огласить, в колодки и на возок, пока никто не спохватился.

– И кто рискнет приговор прилюдно огласить? – задумчиво пригладил бороду Андрей Басманов. – Государь того, мыслю, не пожалует.

– Давай я, отец! – потянувшись, выхватил грамоту из рук одного из опричников Федор. – Государь меня любит, привечает. При суде меня не было, воли его я не слышал. Завсегда

отговориться незнанием могу и тем, что по закону поступил, приговор утвержденный исполнял. Погневается и перестанет.

– Коли спросит, сказывай, от архимандрита Феодосия свиток сей получил! – тут же посоветовал старший Басманов. – Ты тогда чист и невинен окажешься, а про Феодосия всем ведомо, что митрополиту он ненавистник. Коли и отречется, не поверят.

– Тогда и вовсе с рук сойдет, – широко улыбнулся Федор.

– А кто в Тверь митрополита повезет? – посмотрел Басарге в глаза Басманов. – Мы при царе дворня, нам без воли его не отлучиться.

– Зато я, пока опять не вызвали, свободен, – не стал увиливать боярин Леонтьев. – Отвезу и сдам тамошнему настоятелю из рук в руки, с приговором вместе. И будет с того мига с Филиппом нашим покончено.

– Когда сделаем? – встрепенулся Федор. – Завтра?

– До завтра не успеем, – покачал головой его отец. – Люди нужны, возок крытый, припасы в дорогу. Послезавтра давай. Как мыслишь, Басарга?

– Решено, – кивнул подьячий. – Послезавтра.

* * *

В день архистратига Михаила, восьмого ноября тысяча пятьсот шестьдесят восьмого года, на четвертый день после своего низложения церковным судом, митрополит Филипп, при большом стечении народа, служил в Успенском храме Божественную литургию. Государь Иоанн Васильевич явился на нее в дорогом царском облачении: в московской шубе, в шитой золотом шапке с крестом, в дорогой ферязи. Прежде у царя случались с митрополитом размолвки, когда он являлся в церковь в самовольно присвоенном игуменском облачении, – но ныне, после миновавшей грозы, правитель всея Руси дразнить первосвятителя понапрасну не хотел. За что и был вознагражден отеческим благословением, добрым словом и пожеланием многих сил на служение православной державе.

После сего успокоенный Иоанн в сопровождении также по-мирски одетой свиты ушел, митрополит же остался раздавать благословения остальным прихожанам, не жалея ни для кого особого слова и особого пожелания. Храм потихоньку пустел, когда вдруг в него ворвались три десятка воинов в стеганках и толстых войлочных поддоспешниках – что сами по себе могли служить легкими доспехами, – с саблями на поясе, а у иных – и в руках.

– Держи его! – азартно крикнул Федор Басманов, указывая в сторону митрополита. – Держи самозванца!

Несколько воинов сцапали растерявшегося священника, быстро содрали с него митрополичье облачение – в то время как младший Басманов, прогуливаясь рядом, громогласно зачитывал развернутый список:

– Синклит русской православной митрополии, изучив известия достоверные о ереси митрополита Филиппа в бытность его игуменом обители Спасо-Преображенской на островах Соловецких, постановил… Раба Божьего Филиппа со святейшества низложить! В наказание за растрату серебра монастырского, за нарушение канонов христианских, за склонение иноков иных к ереси богопротивной приговорить инока Филиппа к вечному заключению… – Где именно, Федор благоразумно говорить не стал, дабы не подсказать сторонникам святителя, куда кидаться в погоню, где искать низверженного митрополита. Свернув свиток, он лишь скомандовал: – Приговор исполнить… Немедленно!

Филиппа, из богатых риз сунутого в нищенское рубище, скрутили, быстро вытащили на улицу, сунули в крытую толстым войлоком кибитку. Воины поднялись в седла, кучер на облучке дернул вожжами:

– Н-но, пошла! – И возок, стремглав промчавшись по дубовой брусчатке, вылетел из Кремля через Фроловские ворота.

Три десятка всадников сопровождали кибитку до Рыбных ворот и далее, до Котловой слободы, где на россохе кибитка повернула налево, объезжая столицу слободскими проселками, в то время как воины поскакали дальше, пристроившись за похожей на первую татарской крытой повозкой.

– Коли погоня будет, за ними помчатся, – слегка приподняв полог, выглянул наружу Басарга. – Пока спохватятся, пока соберутся… Нет, теперь нас уже никому не найти.

– Опять ты, боярин? – спросил его лежащий на выстилающей пол соломе Филипп. – Что же ты за… За наказание Божье? Что ты в меня вцепился, ровно клещ в овцу?

– Язык у тебя, инок, как помело. Отрезать очень хочется. Ты ведь теперь инок, да? – рассмеялся он. – Теперь все, больше никого бесчестить не сможешь. Теперь тебя до самого гроба никто, кроме стен каменных, не услышит. Сунут в монастыре в мешок кирпичный без окон, и все. Жив ты, мертв – более уже никакой разницы.

– И откуда в тебе столько ненависти, боярин? Не пойму… – с горечью выдохнул Филипп и закрыл глаза.

Первые три дня пути ни Басарга, ни его узник носу из

кибитки не высовывали. Даже по нужде – и то каждый раз с тракта сворачивали и в лесу, подальше от глаз людских, дело свое творили. На четвертый день возок свернул к воротам клинского Успенского монастыря[36].

– Подьячий Монастырского приказа Басарга Леонтьев, – постучав в калитку, представился боярин и показал приговор: – Везу в Тверь инока осужденного. Переночевать пустите, хочу поспать спокойно, побега не опасаясь.

Ворота отворились, кибитка заехала на двор.

– Келью мне отведите отдельную, – потребовал боярин от подошедшего инока. – Общую с этим… Хочу, чтобы на глазах у меня оставался. Мало ли что? Поесть туда прямо принесите. Отлучаться не стану.

– Экий ты старательный, служивый, – покачал головой монах, но перечить не стал.

Вскоре низложенный митрополит и Басарга оказались в одной общей комнате, шириной всего пяти шагов и с десяток в длину. Кроме узкого топчана и иконы Богоматери в углу здесь ничего не было. Хотя, понятно, истинному иноку от жизни ничего более и не надо. Вскоре послушник принес две миски с гречей, кувшин с сытой.

– Держи, сквернослов! – сунул пленнику одну из мисок Басрага, перекусил, запил чуть сладковатой от подмешанного меда водой. – Вот это я понимаю, обитель. Еда простая и скромная, не для чревоугодия, а для поддержания сил. Не то что у тебя, сквернослов.

– Скорей бы уж ты меня отвез, боярин! – не выдержал Филипп. – Уж лучше мешок каменный, нежели причитания твои.

– Ой ли, сквернослов? А кому ты в мешке мерзости про княжон знатных рассказывать станешь?

– Да кто ты такой, чтобы попрекать меня, боярин?! – внезапно вскочил, не выдержав, бывший митрополит. – Я побасенку сказывал про девицу одну – ты меня сим уже лет пять попрекаешь. Ты же и вовсе в грехе с кравчей царской живешь, плотскому греху потакая! Нешто, мыслишь, не знает того никто? Нешто, мыслишь, не прознавал я, что за богохульник мерзкий меня домоганиями гнусными достает?! Я лишь словом обмолвился, как Господь кравчьим местом от уродки откупился, ты же…

– Ах ты, тварь гнусная!!! – Басарга вскочил, замахиваясь кулаком на распустившего язык инока…

И замер, увидев его остекленевший взгляд.

– Кравчая… кравчая… кравчая… – растерянно бормотал он и вдруг схватился за голову: – А-а-а! Я старый дурак! Я старый

безумный дурак! Кравчая! Так это ты, ты! Господь послал ей тебя! При мне молила она Господа о любви чистой, о витязе с открытой душой и искренним чувством! При мне поклоны клала и подарки оставляла! Так значит, Господь послал ей тебя?!

Филипп попятился чуть ли не в ужасе, развернулся, упал на колени перед образом и принялся истово креститься, кладя земные поклоны:

– Грех на мне, Господи! Грех сомнения! Грех отречения! И сказал ты апостолу: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня…» «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько». Прости меня, Господи! Со смирением принимаю кару твою! По грехам и награда! Я усомнился, Господи! И слал ты мне знаки свои, и не видел я их в гордыне своей, и не каялся, а гнев в душе растил. Прости меня, Господи, ибо грешен я!..

Басарга поначалу даже испугался… Но, к счастью, дальше его пленник молился уже молча, просто крестясь и кладя поклоны, и опричник немного успокоился.

Низверженный митрополит молился всю ночь. Басарга, ворочаясь и просыпаясь, слышал его бормотание и тяжелое дыхание. А когда на рассвете подьячий поднялся – Филипп, повернувшись, опустился на колени уже перед ним, поймал его за руку:

– Прости меня, боярин, ибо я грешен.

– Ты чего? – Басарга попытался высвободить ладонь, но старый инок держал его крепко:

– Твоя рука есть длань Господа! Просила девица честная себе искренней любви – и Господь дал ей любовь! Я же усомнился в силе Господа и смеялся над надеждой ее. И тогда Господь явил мне тебя – того, кто послан был девице в ответ на ее молитву. Но не принял я знака Господнего, не признал силы его и отрицал тебя. Год за годом посылал мне тебя Господь, и год за годом отрекался я от веры в силу его! Апостол трижды отрекался от Иисуса, я же творил сие многими летами! Может ли быть митрополитом тот, кто не верит в Господа нашего? Может ли быть первосвятителем тот, кто усомнился в силе Его? Ты, боярин, есть длань Господня. Ты явил мне силу его, и ты низвергнул меня за сомнение в вере христовой. Посему у тебя, боярин, милости и прощения прошу… Прости мне грех мой и сомнение, посланник Господа, очисти душу мою. На твою милость лишь полагаюсь.

От искреннего покаяния старца по спине Басарги Леонтьева пробежал холодок, и, повинуясь внутреннему порыву, он положил свободную руку Филиппу на голову:

– Нет во мне обиды на тебя, святитель. Успокой свою душу, раб Божий. Ты прощен.

– Благодарю тебя, Господи, – искренне поцеловал его руку Филипп. – Благодарю.

Оставшийся путь они проехали в полном спокойствии. Ненависть Басарги к Филиппу испарилась, словно ее никогда и не было, сам же низложенный святитель пребывал в глубоких раздумьях и молитвах и особого пригляда не требовал.

На дворе Отроч-Успенской обители подьячий передал приговор и своего пленника настоятелю, остановился перед Филиппом:

– Прощай, игумен. Надеюсь, еще не так плохо судьба твоя сложится, как сейчас может показаться.

– Со смирением принимаю кару сию заслуженную, боярин, – низко поклонился святитель. – Будь благословен, посланец небесный, в себе и в детях своих. Раскаяние мое искреннее княжне передай. Ибо виновен.

– Нет на тебе более никакой вины, – уверенно сказал Басарга. – Ты прощен. Живи спокойно.

Поклонившись, он вышел из обители, оставив возок с сидящими на козлах басмановскими опричниками, побежал к съезжей избе, возле которой обычно в городах и ставятся ямы, взял почтовых лошадей и, не жалея ни себя, ни скакунов, помчался в Москву.

Известного при дворе царского любимца допустили к Иоанну сразу, хотя в посольской палате и шло какое-то заседание с земскими боярами. Однако Басарге Леонтьеву сейчас было все равно. Он подошел к трону и упал перед ним на колени:

– Секи мою голову непутевую, государь. Виноват.

– Что с тобою, слуга мой верный? – ласково спросил его с высоты своего трона Иоанн.

– Не слуга, а изменник! – Басарга поднял лицо и уверенно посмотрел царю прямо в глаза. – Секи! Ибо я тебя предал!

notes

Примечания

1

В XVI–XVIII вв. хоругвью называлось подразделение в польско-литовской армии.

2

Умбон – выступ на щите, прикрывающий вырез для руки над рукоятью. Обычно делался в виде железной чашки, но нередко являлся украшением и даже оружием, когда к нему крепился прямой обоюдоострый клинок.

3

Шестопер – разновидность палицы, навершие которой собрано из толстых железных пластин. Оружие столь древнее, что даже в Средние века уже было по большей части церемониальным.

4

Данный факт авторским вымыслом не является. Согласно описи Царского архива XVI века и архива Посольского приказа 1614 года под ред. С.О. Шмидта (М., 1960. С. 23.), Иван Грозный действительно истребовал и лично изучил все архивы, связанные с делом Соломонии.

Дарственные сохранились.

Имеется в виду храм великомученика Георгия Победоносца.

7

Эту рубашку, расшитую жемчугом, ныне можно увидеть в исторической экспозиции суздальского музея, рядом с ней – крышка от гробницы. Ложное захоронение сына великой княгини Соломонии было вскрыто в 1934 году и авторским вымыслом не является.

8

Об отправке старшего брата Ивана IV в Крым говорят и записи западных дипломатов, и народные предания, нарекающие спасшегося царевича Кудеяром.

9

Александровская слобода как новая столица основана великим князем Василием III в 1505 году и изначально строилась с размахом и роскошью как резиденция правителей, за что получила прозвище «русский Версаль» (хотя Версаль на полтора века младше). Иоанн не начинал строительство с нуля, а лишь воспользовался отцовским заделом.

10

В Каргополь.

11

Успенский собор Костромского кремля построен в середине XVI века и стал первым каменным зданием города.

12

Говоря о XVI веке, следует помнить, что термин «изба» означал тогда не только тип строения, но и название административного органа.

13

Чать (четь) – размер пашни примерно в полгектара.

14

Сегодня понятие «черной соли» успело обрасти мифами, но изначально это была просто неочищенная соль первичной выработки.

15

Груманы, промысловики – с XIV–XV веков русские Поморья начали обживать остров Грумант (ныне – Шпицберген), куда уходили на китобойный промысел. Соответственно, моряки-китобои и получили прозвище «груманы». Промысловики – это те, кто промышляет (пушного зверя, морского и т. д.), а вовсе не владельцы фабрик и заводов.

Сейчас трудно такое представить, но пленных и арестантов даже выводили на рынки городов, чтобы они могли просить подаяние себе на пропитание.

17

Сретенье – 15 февраля.

18

Шуба московская – поскольку шуба боярина подчеркивала его знатность и богатство, то для присутственных мест у многих имелись специальные «представительские» шубы из особо ценных мехов, дорогих тканей, украшенные золотом и драгоценными камнями сверх всякой меры, тяжелые и неподъемные. Они получили наименование «московских» и ради гонору носились даже летом, в любую жару.

19

Личное участие царя в суде над поморскими крестьянами также не является авторским вымыслом. Все подробности и суда, и всей истории «Басаргина правежа» известны из уникального документа: «*Отписи боярина Леонтьева крестьянам Сумской волости от 28 ноября 1569 г. о получении причитавшейся с них доли в выплате двинского иска, боярских пошлин и прогонов*». Причем само наличие такой отписи хорошо демонстрирует отношение царской опричнины к крестьянам. В них видели не быдло, которое можно пороть и грабить, а образованных и уважаемых членов общества, заслуживающих от властей подробного отчета.

20

Скуфья – матерчатая остроконечная шапочка, повседневный головной убор священника.

21

Во всяком случае, так утверждали иноземные дипломаты.

Именно так (судя по сохранившейся правке) и создавался «Лицевой свод».

23

Спасо-Преображенский собор (1558–1566), уникальной двустолпной конструкции, 47 метров в высоту, был построен по проекту игумена Филиппа и надолго оставался самым большим и высоким храмом России. Кстати, построенная чуть ранее им же по своему проекту одностолпная Успенская трапезная тоже уникальна по архитектуре и тоже рекордсмен по размерам – 500 квадратных метров.

24

Различные должности в монастыре. Келарь ведает продуктами, благочинный следит за дисциплиной, ризничий – за храмовым имуществом. Казначей ведет приходно-расходные книги.

25

«Лествица» – «Скрижали духовные» преподобного Иоанна Лествичника. Неизвестно почему, но на Соловках эта книга была наиболее популярна и сохранилась во множестве экземпляров.

Эта клятва широко известна, однако случаев наказаний за ее нарушение не отмечено. Причем по приказу Ивана Грозного опричники жили в Александровской слободе со своими семьями.

27

Холодник (он же летник) – разновидность шубы из тонкой ткани и без подкладки. Носился в теплую погоду.

28

Чудов монастырь (Московского Кремля) – основан в 1358 году на месте ордынского подворья, снесен в 1929 г. «Царский» монастырь: резиденция патриархов, место крещения царских детей, пострижения царских родственников и Гришки Отрепьева.

29

Письменное соглашение между Иваном Грозным и митрополитом Филиппом об отделении Церкви от государства стало первым в истории и, пожалуй, единственным, которое соблюдалось обеими сторонами.

30

Поместный приказ занимался учетом поместий и вотчин. Сегодня его архив является частью московского архива министерства юстиции.

31

Лаврой монастырь стал только в 1742 году.

32

Мирон-ветрогон – 21 августа.

33

Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский – публичный фаворит великой княгини Елены Глинской, матери Ивана Грозного. В подметном письме не упомянут младший брат Грозного Юрий (1532–1563), который был «*без ума и без памяти и бессловесен*» и потому в истории остался практически незамеченным.

34

Десять рублей XVI века – это две избы крестьянские, или семь коров, или три крепких породистых скакуна, или десяток неприхотливых крестьянских лошадок. Годовое жалованье служивого человека начиналось от 3 рублей в год, а возок огурцов стоил три копейки.

35

По утверждению померанца Альберта Шлихтинга, прожившего семь лет в русском плену, это обещание Иоанн исполнил в точности.

Упразднен в 1761 году.